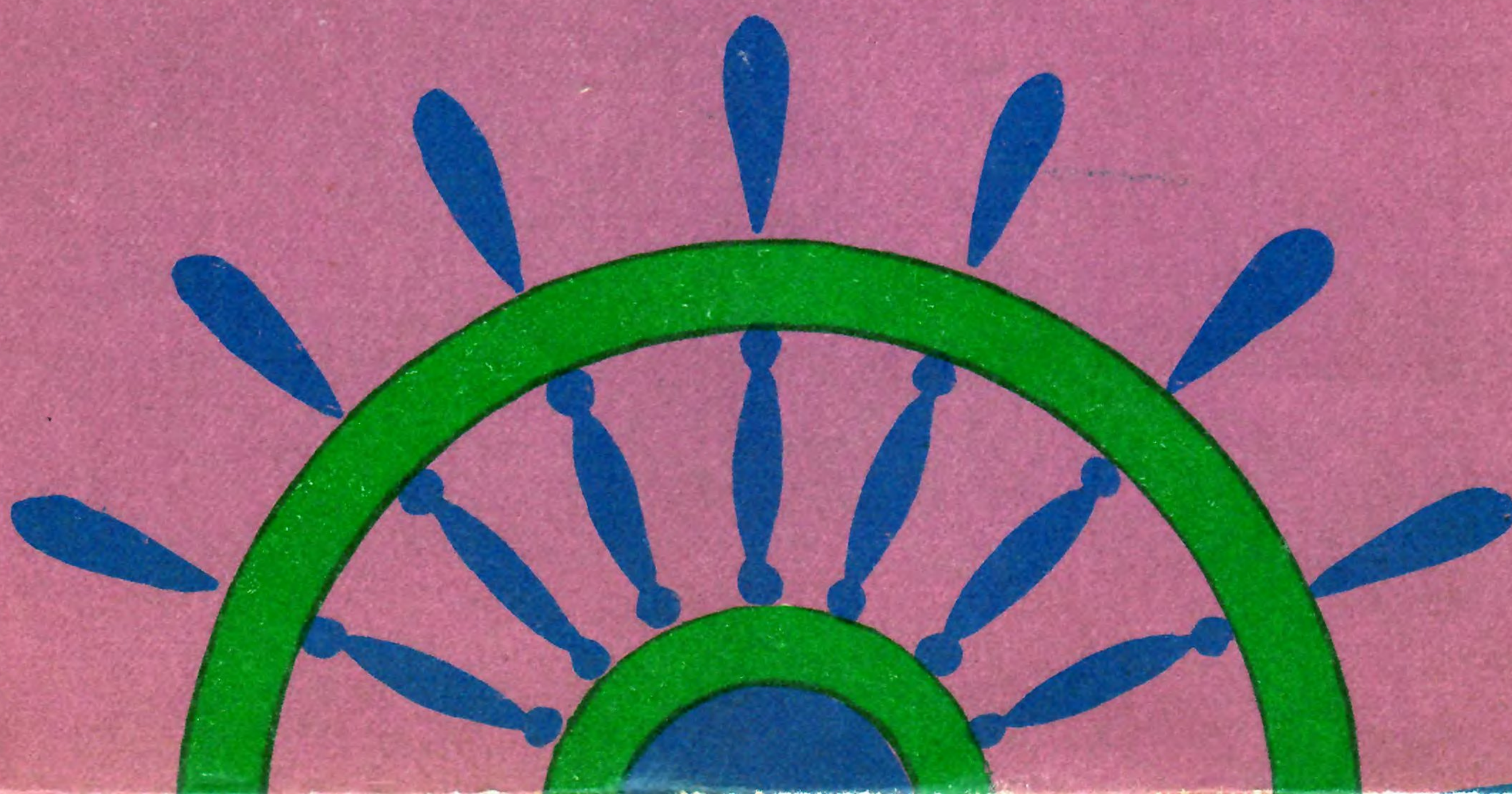


*Г.Башкирова*

# ЛИЦОМ КЛИЩУ



ИЗДАТЕЛЬСТВО „ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“





*Г.Башкирова*

# ЛИЦОМ К ЛИЦУ

...

**МОСКВА  
„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“  
1976**

## Научно-художественная литература

Эта книга о тайнах человеческого общения, о том, как мы осознаем себя и других людей, в какие мы смотримся зеркала, чтобы разглядеть собственное отражение, к чему и к кому обращаемся мы, чтобы понять, как устроен наш внутренний мир, какие «модели» поведения приходится нам «проигрывать» в те годы, когда мы растем, учимся, дружим, ссоримся, страдаем от первых поражений, радуемся первым успехам.

Если вас интересуют проблемы, связанные с загадками нашей психики, рекомендуем прочесть первую книгу Галины Башкировой «Наедине с собой», вышедшую в издательстве «Молодая гвардия», отмеченную конкурсной премией и получившую широкое признание читателей.

*Рисунки В. Карабут*  
*Оформление В. Терещенко*

Б  $\frac{70803-316}{M101(03)76}$  450—76

~~~~~

Как утверждает Александр Дюма, мерку с Портоса снимали несколько необычным способом. Способом мсье Мольера. Портос стоял у зеркала, и подмастерья королевского портного под руководством Мольера снимали мерку... с отражения.

В зеркале Мольера отражался не один Портос. «Видите ли, дорогой мой Портос,— замечает д'Артаньян,— из наших известных портных не кто иной, как Мольер, лучше всех одевает наших баронов, наших графов и наших маркизов... в точности по их мерке».

Не одни только бароны, графы и маркизы отражены в этом зеркале. Нет человека, который, заглянув в зеркало литературы, не заглянул бы в себя. Этим она и необходима, литература. И наука, которая изучает человека,— психология — естественно, не может пройти мимо его отражения в зеркале литературы.

В книге, которая сейчас перед вами, немало так называемых литературных примеров. Они составляют неотъемлемую ее часть. Может даже показаться, что это книга о книгах. На самом деле это книга о людях, о нас с вами, о том, почему мы ведем себя так, а не иначе, о том, как пишет сама Г. Башкирова в своей первой книге «Наедине с собой», почему в одних и тех же обстоятельствах разные люди поступают иногда одинаково, а, казалось бы, одинаковые — по-разному.



Заметьте, в границах нашей с вами культуры, Печорин реальнее, чем сосед по лестничной клетке, с которым вы здороваетесь едва ли не каждое утро. И это не потому что сосед человек неинтересный. В сущности, интересен каждый человек. И каждый человек глубок. Но с Печориным мы знакомы лучше. Его увидел и создал великий писатель. Мы видим его в самые различные — мучительные, прекрасные, удивительно напряженные — моменты его жизни, мы видим его изнутри. И видим мир его глазами.

Естественно любой полноценный художественный образ представляет значительный интерес не только с литературно-критической или философской, но и с психологической точки зрения. Я видел «Героя нашего времени», исписанного на полях не очень еще устоявшимся почерком. Ученик восьмого класса пытался понять, почему один из его друзей относится к нему, как Печорин к Грушницкому. «Разве я такой?» — спрашивал он себя. Он пытался понять других и себя. Он пытался самостоятельно разобраться в насущных для него проблемах человеческой психологии. Он уже решал вопросы, которые каждый всю жизнь решает для себя. И книга ему помогла.

Конечно, «Герой нашего времени» — классика, явление в чем-то исключительное в мировой литературе. Но есть книги, которые все читают с увлечением, хотя они не кажутся исключительными по глубине. «Три мушкетера», «Остров сокровищ», романы Вальтера Скотта... Глубинно оправдан интерес к ним. Это настоящая литература. Недаром они так много значат для юных читателей. И когда автор вспоминает свои первые впечатления от «Острова сокровищ», он будит подобные воспоминания в каждом. Для одних это давние воспоминания, для других — не очень. Но это те воспоминания, которые делают нас людьми.

Книга Галины Башкировой обращена к читателю молодому. Автор доверяет ему, считает его человеком мыслящим, ищущим. Наверное, это так и есть. Большинство читателей именно таковы. И все же я не сказал бы, что книга Башкировой читается легко. Чтение ее требует извест-



ного напряжения, хотя внешне это разговор свободный, ненавязчивый.

...Я мысленно спорил с автором, соглашался и не соглашался. Будете это делать и вы. Это хорошо. Только такие книги и нужны.

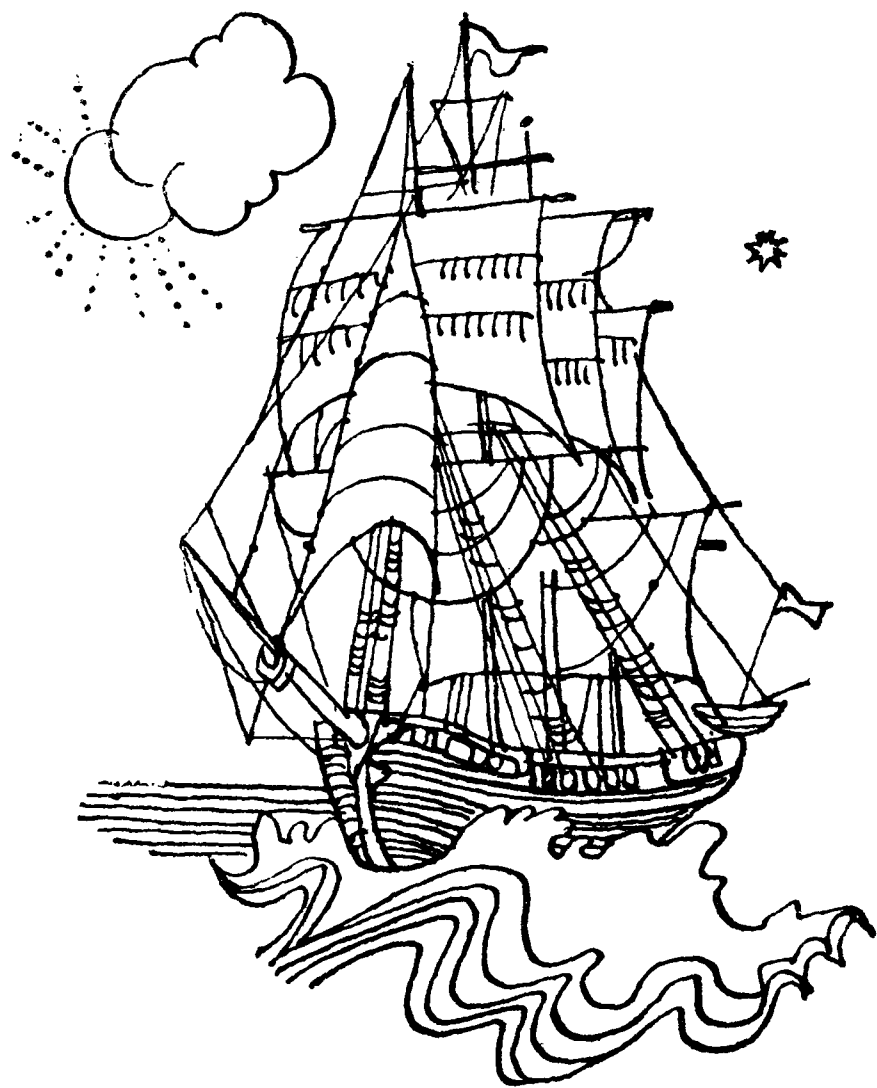
Понимание возникает только в диалоге. Это важнейший принцип диалектики.

Но одна мысль часто возникает на ее страницах. Потребовались многие тысячелетия для того, чтобы наш предок стал человеком. Стать человеком было трудно, но еще труднее оставаться человеком, быть таким, каким человек может и должен быть. Остаться человеком — это труд, труд над собой, преобразование себя.

Об этом и о многом другом заставляет задуматься книга, которая называется «Лицом к лицу» и которую стоит внимательно прочитать.

**Доктор философских наук,  
профессор А. Б р у д н ы й**





---

## ГЛАВА ПЕРВАЯ,

*где рассказывается, казалось бы, о кораблекрушениях и пиратах, о приключениях на море и злоключениях на суше, об одноногом Сильвере и могучем Одиссее, но на самом деле незаметным образом сообщается о том, что за наука социальная психология, что означает термин „малая группа“, почему в каждой группе выдвигаются формальные и неформальные лидеры и—самое главное—каким таинственным образом писатель, если он настоящий писатель, хорошо знаком с теми законами человеческой психологии, к которым только-только подступают науки о человеке.*



**«Остров  
сокровищ» —  
лидеры  
и специалисты**

«Я прибыл сюда, чтобы командовать этим кораблем, мистер Хендс... Впредь до следующего распоряжения считайте меня своим капитаном...» Дул попутный бриз, корабль неся, как птица, мелькали берега».

«Я прибыл сюда... командовать этим кораблем... Считайте меня своим капитаном...» — повторяю я шепотом. Сейчас я — Джим Хокинс, юнга с «Испаньолы». Я сижу на окровавленной палубе рядом с раненым боцманом Израэлем Хендсом, и мертвец О'Брайен в красном колпаке скалит мне зубы из темноты. Остров сокровищ проплывает мимо нас. Почему-то он засажен березами и смахивает на остров в середине пруда Измайловского парка культуры.

Настольная лампа спрятана под одеялом, на ней большой стеклянный колпак. Колпак мешает, он может упасть и разбиться. Под одеялом душно, переворачивать страницы трудно: надо следить, чтобы не образовались щели, иначе меня поймают.

Мне давно пора спать. Мне двенадцать лет. Я шестой раз читаю «Остров сокровищ».

— Это неблагогородно, это низко, ты мне лжешь, — входит бабушка и отнимает растрепанного Стивенсона.

От этих слов «неблагогородно, низко, лжешь» меня охватывает привычное раздражение: кроме бабушки, я их не слышала ни от кого — ни от родителей, ни от учителей, ни от ребят. Я их не слышала нигде и никогда — ни во дворе, ни в школе, только в книгах читала.

То ли в силу их книжности, то ли в силу их беспомощности слова эти действуют острее любого наказания. Мне хочется навсегда сбежать в XVIII век, стать юнгой, стать Сильвером, стать кем угодно, хоть скучным капитаном Смоллеттом.

\* \* \*

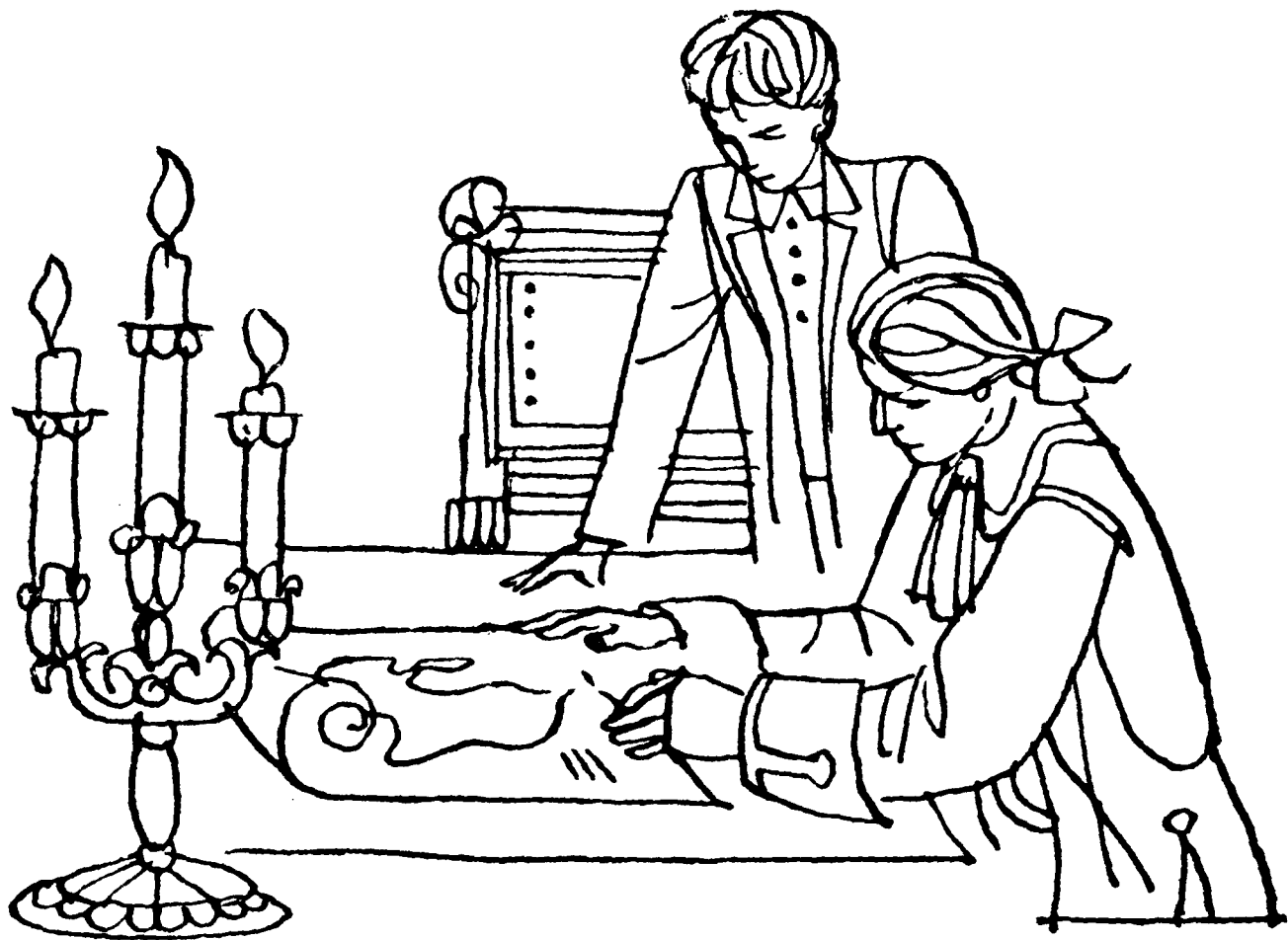
И вот теперь, спустя много лет, я пытаюсь разобраться в том, какая же магия заключена в этой книге. (Страшно признаться, с тех пор я читала ее еще раз десять.)<sup>1</sup>

Я разбираю героев Стивенсона и так и эдак. Наступает однажды минута, когда я совершаю бесспорное кощунство, рассматриваю их поведение с точки зрения современной науки — социальной психологии. Тут меня поджидает несколь-

---

<sup>1</sup> Подробнее о жизни Стивенсона — Р. Олдингтон. Стивенсон. Портрет бунтаря. М., изд-во «Молодая гвардия», ЖЗЛ, 1973. К. Андреев. Искатели приключений. М., изд-во «Детская литература», 1969.





ко любопытных открытий. Я обнаруживаю, что Стивенсон — прекрасный знаток этой сравнительно недавно родившейся науки, хотя, разумеется, он о ней и понятия не имел. Стивенсон знает, что такое коллектив и по каким законам он живет. Стивенсон знает, что группе людей, работающей в сложных условиях (Крайний Север, корабль в море, геологическая партия), необходим настоящий руководитель. Без настоящего вожака, лидера, утверждает социальная психология, невозможно слаженное действие ни одного коллектива, даже коллектива обычной лодки-восьмерки, участвующей в соревнованиях.

В романе Стивенсона прослеживается четкая иерархия вождей, лидеров. Бедняжка «Испаньола» вовсе не спортивная лодка. У нее ответственное задание — она отправляется на поиски сокровищ. Команда ее только-только набрана. Лидеры ее еще не определились. Хозяин шхуны — сквайр Трелони. Но ему хочется быть при этом еще и лидером, то есть давать руководящие указания, выносить авторитетные суждения: деньги-то платит он, вполне естественное желание. Но Трелони болтлив, беспечен, недалёковиден. Это из-за него начинаются все неприятности на корабле. Довольно скоро ему приходится добровольно отказаться от роли лидера. Нет, он не годится в вожаки, он и сам это понимает.

Гораздо сложнее обстоят дела с капитаном «Испаньолы» Смоллеттом. С первого же момента угрюмый, педантичный капитан не нравится решительно всем — и пиратам, и непира-



там. «Капитан — невыносимый человек, я воспылал к нему горячей ненавистью», — записывает Джим в свой дневник. Вполне возможно, что если бы «Испаньоле» не пришлось пройти через бунт, испытание осады крепости, обстрел ее пиратами из пушки, когда капитан Смоллетт отважно запретил спускать флаг, а именно в него, как в мишень, целились пираты, вполне возможно, что Смоллетт для Джима, да и для всех остальных так и остался бы суховатым, знающим, педантичным человеком (даже флаг и множество других необходимых вещей не забыл он припрятать в карман, когда пришлось срочно покидать «Испаньолу», — в этой детали, казалось бы, он весь).

И рядом со Смоллеттом Сильвер — ловкий, обаятельный, полный жизни. Капитан Смоллетт, да разве он капитан! Он сухарь, специалист. Сильвер — вот капитан, прирожденный вожак!

Развивается действие. Раскрывается Сильвер по прозвищу Долговязый Джон. Вот он действительно лидер, но лидер, порожденный миром пиратской палубы, где можно все. Критики мягко пеняли Стивенсону, что он недостаточно ясно продемонстрировал свое отношение к Сильверу. Напротив, Стивенсон определил его вполне четко: жизнь ампутировала у Сильвера не только ногу, но и совесть.

Сильвер принадлежит к числу тех, для кого понятие чести вообще не существует, кто готов сто раз предать и продать своих товарищей, лишь бы сохранить себе жизнь. Когда ветер доносит крики трех (всего трех оставшихся в живых пиратов, брошенных Сильвером на произвол судьбы), он услужливо комментирует эти крики доктору Ливси:

«— Все пьяны, сэр.

Тот резко возражает:

— А может быть, они больны и бредят.

— Правильно, сэр, но нам с вами это вполне безразлично.

— Я полагаю, вы вряд ли претендуете на то, чтобы я считал вас сердечным, благородным человеком... я знаю, мои чувства покажутся вам несколько странными. Но если бы я был действительно уверен в том, что они больны и в бреду, я, даже рискуя своей жизнью, отправился бы к ним, чтобы оказать врачебную помощь.

— Прошу прощения, сэр, вы сделали бы большую ошибку, потеряли бы свою драгоценную жизнь, только и всего».

Блистательный Сильвер, внушавший ужас своей огромной властью над корабельной командой, оказывается жалок. И мальчишка Джим, очутившись среди банды перепившихся пиратов, жалеет Сильвера, такого блистательного и талантливого. В минуты опасности Джим, сам себе начальник и сам



себе капитан, чувствует себя нравственно неизмеримо выше его: «...Сердце у меня сжималось от жалости, когда я думал, какими опасностями он окружен и какая позорная смерть ожидает его».

Смена капитанов, вожаков продолжается.

Неформальный лидер (есть такой термин в социальной психологии), то есть лидер, не назначенный сверху, а выдвинутый самим коллективом, летит с пьедестала. (В книге, как при замедленной съемке в кино, явственно виден этот страшный полет.)

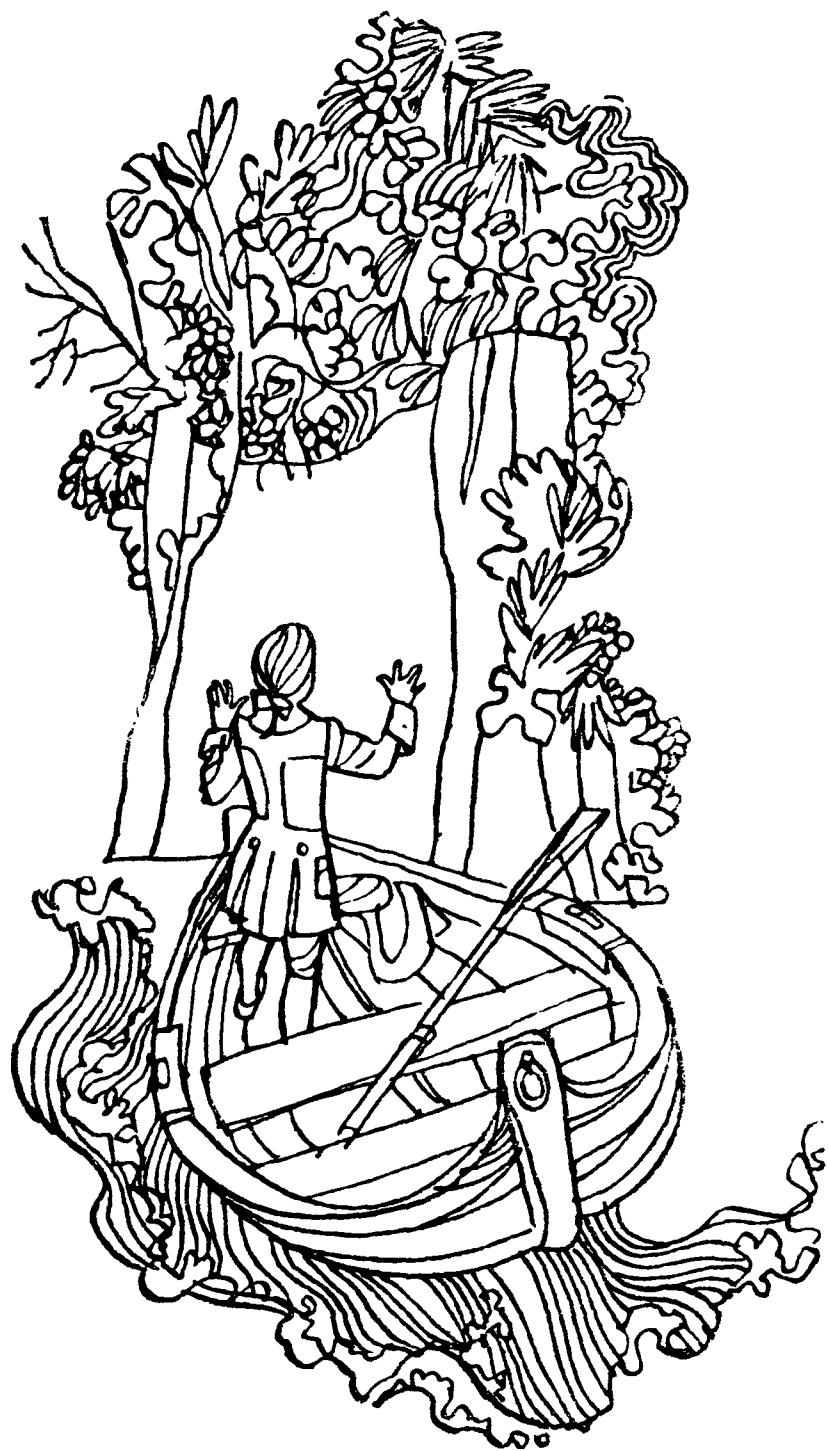
И тут выясняется любопытная вещь, опять-таки отмеченная наукой социальной психологией как будто бы совсем недавно. Оказывается, мощь неформального лидера определяется существованием лидера формального. В самом деле, на кого-то всегда хочется свалить все плохое. Все плохое списывается на лидера формального. Все хорошее, таким образом, достается другому лидеру — неформальному.

Капитан Смоллетт заставляет команду делать то, что делать ей совсем не нравится (не за тем шайка опустившихся пиратов вышла в море): соблюдать дисциплину, выполнять приказы. Сильвер только обещает, причем то, что нравится: вот взбунтуемся, вот захватим сокровища, погуляем как следует.

Роли распределены, «Испаньола» несется на всех парусах, всем хорошо и весело.

И вот уже виден берег заветного острова, вот уже можно прыгнуть в шлюпку, схватить лопату, бежать, копать... Ах, как это все прекрасно! Наконец-то Сильверу достается реальная власть.

И в ту же секунду начинается чертовщина: его никто не слушает, ему не доверяют. Очень скоро ему посылают «черную метку».





В чем же тут фокус? Фокус очень прост. Сильвер утратил статус неформального лидера, ему приходится приказывать, без этого не обойтись, а вот это-то его друзьям-пиратам ни к чему.

Проходит совсем немного времени. Истинным лидером становится доктор Ливси. Это он, холодноватый, сдержанный человек, не претендующий на власть, оказывается ведущим. Это он принимает основные решения. Это он объединяет оба мира — пиратов и непиратов. Это он, ни на минуту не приспособиваясь ни к одному из этих миров, выполняет свой долг так, как он его понимает: «Его обращение с пиратами оказывало на них сильное влияние. Они вели себя с ним, будто ничего не случилось, будто он по-прежнему корабельный врач и они по-прежнему старательные и преданные матросы... Они выслушивали его советы с такой кротостью, словно были питомцами благотворительной школы, а не разбойниками». Доктор Ливси не скрывает своего к ним отношения: «С тех пор как я стал врачом у бандитов, или, вернее, тюремным врачом... я считаю своим долгом сохранить вас для петли в целости».

Что же узнает о лидерах и капитанах юнга Джим Хокинс?

Он узнает довольно неожиданные вещи. Не Сильверу с его обаянием и ловкостью, а занудливому Смоллетту и сдержанному доктору Ливси (оба — порождение упорядоченного мира, где царит благопристойность и точное знание, где у всех людей непременно должны быть профессии) отдает свое сердце Джим Хокинс.

Стивенсон без единого намека на воспитательный нажим разрешает парадокс, столь трудный для всякого мальчишки в четырнадцать лет, когда бы этот мальчишка ни жил, в середине XVIII века, как герои Стивенсона, или в конце XX столетия.

\* \* \*

...Нас всех с раннего детства учат: необходимо быть специалистами, капитанами Смоллеттами, докторами Ливси. Нас учат не пропускать уроки в школе, не грубить учителям, не читать по ночам книжки, спрятавши лампу под одеяло. Нам же хочется всего наоборот, нам хочется стать вождем, нам хочется испытать судьбу, как это сделал Джим Хокинс.

Но нас ведь не ждет в порту Бристоля шхуна «Испаньола». И вот вместо «Испаньолы» (Джиму чудовищно, неслыханно повезло даже для вполне авантюрного, полного приключений XVIII века) книжка под одеялом, вместо далеких стран и поисков сокровищ... что? Улица, на которой стоит мой



дом. Улица, куда выходишь погулять, сделав или не сделав уроки.

Кто из нас не подпирал стены родного дома в долгих и порой не таких уж значительных разговорах с друзьями, кто из нас часами не фланировал по родной улице — ни для чего, просто так!

Что это за наваждение — улица, что за особый вид пространства?

«Каждая улица откуда-то начинается и куда-то ведет», — сказал Честертон в одном из своих рассказов. Улица в детстве и юности действительно «ведет», сталкивая с разными людьми, событиями, обстоятельствами. Улица создает ощущение деятельности, движения, непредсказуемости.

Улица рождает события. События выдвигают своих капитанов и лидеров.

Доктор Ливси и одноногий Сильвер Роберта Льюиса Стивенсона на палубе корабля.

Тимур и Мишка Квакин Аркадия Гайдара на улицах подмосковного дачного поселка.

Между выдуманными героями двести лет, и каких лет! Но схема противоборства двух лидеров все та же.

На улице мы начинаем, пробуем себя. Книжные представления о героизме, романтике, подвиге проходят первую житейскую проверку на улице. Здесь мы вступаем с ребятами в самые разнообразные отношения. Кто-то всегда бежит за мячом, а кто-то по нему только соизволит ударять, кто-то крутит веревочку, а кто-то через нее прыгает. Кто-то всегда бьет, а кого-то всегда бьют. Кто-то, проводя на улице годы, прозревает вдруг, что дома, с книгой, с матерью, с отцом, ему интересней.

Улица как волна — накроет, а ты плыви, подныривай, борись, если не хочешь утонуть. Взаимоотношения с двором, с улицей, с ребятами в классе определяют так много! Не то, кем мы станем, а то *как*, какими путями пойдем дальше по жизни.

Улицы нашего детства чем-то сродни морю. Видимо, в этом секрет их притягательности. Они — наше первое серьезное испытание.

...У Стивенсона действие происходит не на улице — на настоящем море. Там, на море, на острове, начиненном скелетами, как булка изюмом, разбирает он столь болезненную для каждого из нас коллизию: выбор между образованием (Ливси, Смоллетт) и воспитанием на соблазнительных волнах стихии (Сильвер). Воспитанием палубой, двором, улицей, всем тем трудноуправляемым, что, обладая внешними атрибутами романтики, так часто причиняет непоправимый моральный





ущерб. Вот появляется на дворе (на палубе) сильный, бессовестный человек и пытается использовать других так, как это ему удобно.

Стоит всмотреться в него хорошенько — а вдруг у него и впрямь ампутирована совесть!

\* \* \*

...«Остров сокровищ» — классическое руководство по социальной психологии, куда более сильное, чем прославленные романы Жюль Верна с его благородными капитанами. И не потому, что в романах Жюль Верна нет пиратов. Приключений, работоторговцев, разбойников, кораблекрушений у Жюль Верна в избытке. А потому, что у героев Жюль Верна не возникает сомнений. Им все ясно. И Жюль Верн и его герои верят прежде всего в науку и научно-технический прогресс. Вопросы человеческих взаимоотношений волнуют их как-то меньше. Пятнадцатилетний капитан Дик Сэнд уже специалист в свои пятнадцать лет. Он уже знает, что «отчаяние — лишь временная дань слабости натуры человеческой».

И когда приходит конец невероятным испытаниям, сва-



лившимся на его детские плечи, капитан Дик Сэнд «принялся за учение с рвением человека, которого терзают угрызения совести; он не мог себе простить, что, по недостатку знаний, не сумел как следует справиться со своими обязанностями на корабле».

Когда приходит конец невероятным испытаниям, свалившимся на плечи юнги Джима Хокинса, за что принимается он? Мы не знаем, за что он принимается. Роберт Льюис Стивенсон не сообщает нам этого. Роберт Льюис Стивенсон разрешает нашему воображению плыть дальше, хотя «Испаньола» уже прибыла в пункт назначения Бристоль.

Одно мы узнаем достоверно: Джиму Хокинсу повезло — он рано разобрался: с капитанами дело обстоит далеко не просто.

**«Мне кажется,  
что я ветер»**

Есть и еще одна загадка или, если хотите, разгадка того, почему на читателя так снайперски действует повествование Стивенсона. Стивенсон использует очень древний механизм психологического воздействия на читателя, видимо самый древний в истории литературы.

С кораблекрушений, пиратов, необычайных приключений, великих испытаний начиналась литература<sup>1</sup>.

Она рассказывала о людях, выбившихся из привычного течения жизни.

Для того чтобы оценить возможности человека, надо было провести его сквозь испытания. Для того чтобы он прошел сквозь испытания, надо было поставить его в необычайные жизненные условия.

В обычной жизни что могло происходить с человеком? Да ничего особенного. Даже в древних Афинах с их бурной общественной жизнью жизнь эта со всеми ее институтами, обрядами и празднествами бурлила далеко не каждый день и далеко не для всех.

Была замкнутость быта, была жесткая предопределенность; был строгий регламент, что можно и чего нельзя. В гости, например, просто так, без приглашения, даже к соседям зайти было нельзя, хотя дома лепились один к одному, как ласточкины гнезда. Свободной афинянке пойти утром за покупками (согласитесь, все-таки какое-никакое развлечение)

---

<sup>1</sup> Подробнее об этом можно прочитать в работах известного советского литературоведа В. Б. Шкловского, в частности см. его «Повести о прозе», т. I. М., изд-во «Художественная литература», 1966.



тоже было нельзя: на рынок (так было принято) ходил глава семьи с двумя-тремя рабами. Хозяин торговался, спорил, выяснял цены, делал закупки, потом отправлял провизию домой с рабами, сам же оставался на рыночной площади, агоре, предаваться общественной жизни.

\* \* \*



...Помню бездонность недоумения, с которым рассматривала я картинку афинского рынка. Книжка с картинками из древнегреческой жизни попала мне в руки в последний военный год. В школу я еще не ходила, читать не умела, про Древнюю Грецию ничего не знала, зато опыт общения с рынками был у меня богатый. Зловещая толкучка в Москве на Преображенском рынке, барахолка на Тишинском — там все можно было обменять на все. Помню деревенский рынок в эвакуации. Мне пять лет, я меняю жемчужно-серые мамины туфли на масло. Стою, держу каждую за немыслимо хрупкий каблук. Мучительно стесняюсь, пытаюсь представить то, о чем ничего не знаю. Довойну.

Деревянные скособочившиеся павильоны, растоптанная грязь, телогрейки, костыли инвалидов.

А тут, на картинке, голубое небо, люди в диковинных одеждах, мрамор, колонны, дворцы — праздник.

Серые туфли, серые туфли...

И это у них — рынок?

Это у них — так?

От первой встречи с греками осталось ощущение чуда — на всю жизнь.

\* \* \*

Потом уже, спустя много лет, узнавала я о традиционной замкнутости древнегреческого дома.

Женщина там безвылазно сидела дома с маленькими детьми, с подросшими дочками. Из дома она выходила только на праздники и на похороны. Действие первых древнегреческих романов никогда не происходит внутри дома — только вовне. Если бы древний писатель вошел в дом, что бы он увидел, достойное рассказа? Внутри, в доме, ничего не происходило. Понадобилось еще две с лишним тысячи лет, чтобы в литера-





туре родились «Анна Каренина», «Братья Карамазовы», «Буденброкки», «Сага о Форсайтах».

...Оказалось, что страсти внутри дома могут сжечь сам дом и его обитателей.

Человек шел к себе очень длинным путем: он исходил весь мир, все дороги, прежде чем увидел необычное в себе, в собственной семье.

...Так и мы в детстве читаем про мушкетеров и пиратов, про джунгли и прерии; чем дальше от дома происходит действие книжки, тем интереснее. Лишь с возрастом возвращаемся мы в мир собственного дома.

Человек, скитающийся по дорогам, человек в пути, человек на море (одно из значений слова «море» в древнегреческом — «путь»), человек, предоставленный самому себе, — скорлупа обыденной жизни разрушена. Скиталец, горемыка, неудачливый купец и путешественник свободнее своих соотечественников, хотя он на каждом шагу подвергается опасностям, а они нет — естественная плата за свободу.

Корабли отправлялись в далекие плаванья, их всегда поджидала опасность. Чаше они доплывали до пункта назначения, чем не доплывали. Но первые литературные рассказы о мореплаваниях переполнены кораблекрушениями и морскими разбойниками. Без них нельзя. Без них невозможно. Без них неинтересно.

(Кстати, о чем бы вел рассказ Стивенсон, если бы на борту «Испаньолы» не появился Долговязый Джон Сильвер со своими пиратами? Вся история уместилась бы в один абзац глубоко вульгарного содержания: группа предприимчивых англичан отправляется на поиски сокровищ.)

Великие поэмы Гомера, они ведь тоже об этом.

Сколько ни восхищайся подвигами героев «Илиады», от простого факта не уйти: одно племя греков отправилось грабить другое.

Ахиллес, тот даже с некоторой гордостью признается, что занимался разбоем. Одиссей рассказывает о своих набегах, как о подвигах.

Сильно в Египет меня устремило желание; выбрав  
Смелых товарищей, я корабли изготовил; их девять  
Там мы оснастили новых; когда ж в корабли собралися





Бодрые спутники, целых шесть дней до отплытия все мы  
Там пировали; я много зарезал быков и баранов  
В жертву богам, на роскошное людям моим угощение;  
Но на седьмой день, покинувши Крит, мы в открытое море  
Вышли и с быстропопутным, пронзительнохладным Бореем  
Плыли, как будто по стрежню; и ничем ни один наш  
Не был корабль поврежден; нас, здоровых, веселых и бодрых,  
По морю мчали они, повинуюсь кормилу и ветру.  
Дней через пять мы к водам светлоструйным потока Египта  
Прибыли: в лоне потока легкоповоротные наши  
Все корабли утвердив, я велел, чтоб отборные люди  
Там, на морском берегу, сторожить их остались; другим же  
Дал приказание с ближних высот обозреть всю окрестность.  
Вдруг загорелось в них дикое буйство; они, обезумев,  
Грабить поля плодоносные жителей мирных Египта  
Бросились, начали жен похищать и детей малолетних,  
Зверски мужей убивая,— тревога до жителей града



Скоро достигла, и сильная ранней зарей собралася  
Рать; колесницами, пешими, яркими медью оружий  
Поле кругом закипело; Зевс, веселящийся громом,  
В жалкое бегство моих обратил, отразить ни единый  
Силы врага не поспел, и отовсюду нас смерть окружила;  
Многих тогда из товарищей медь умертвила, и многих  
Пленных насильственно в град увлекли на печальное рабство.

Самое привлекательное в рассказе Одиссея — простодушная наивность интонации. Он объясняет всю экспедицию просто: «Сильно в Египет меня устремило желание». Если перевести на язык наших нынешних представлений, получится: захотелось пограбить, построили корабли, погуляли всласть (вечная мечта всех пиратов!), выпили, закусили. Потом пять дней мчались по морю, прибыли в Египет и, едва осмотревшись, начали безудержную резню: «дикое буйство» загорелось в спутниках Одиссея. Ну, а дальше им не повезло, слишком увлеклись, прозевали момент, медь их настигла, некоторые даже в рабство умудрились попасть. Печально, конечно, но, как говорится, издержки производства.

...Можно сколько угодно изображать Одиссея морским разбойником — поэма дает для этого основания. Но можно ли забывать, что пиратство для того времени явление естественное, нормальное<sup>1</sup>, так было, это была древнейшая и наиболее распространенная форма торговли эгейских племен. Можно ли забывать и другое — моряками становились немногие, избранные, герои. Участь моряка современники считали поистине ужасной. Моряк отдавал себя во власть грозной стихии, перед которой был абсолютно беспомощен.

На каких кораблях дерзает Одиссей отправиться в это ужасное море? Это судно без палубы, с одним парусом, плавать на нем можно только при попутном ветре. Против ветра продвигаться невозможно. Если подует встречный ветер, нужно брать за весла. Пировать-то они накануне отплытия пировали, но если разобратся, то не от хорошей жизни: на корабль можно было взять с собой только лепешки и совсем немного воды. К мачте подвешивали овечью шкуру, за ночь она пропитывалась росой, утром, выжав ее, получали чашку воды. Приходилось почти ежедневно высаживаться на берег и подолгу бродить в чужой, незнакомой и, следовательно, опасной местности в поисках источника.

Вот она, реальная жизнь тогдашнего моряка. Ничего уди-

---

<sup>1</sup> Аргументированно объясняет это обстоятельство А. Боннар в своем труде «Греческая цивилизация», т. I. Издательство иностранной литературы, 1958.



вительного в том, что на долю его, как бы тщательно ни старался он увильнуть, доставалась избыточная порция приключений.

Одиссей, конечно, особая фигура. В нем концентрируются всяческие напасти. Он, как магнит, притягивает к себе приключения. Одиссей — авантюрист морей, он странствовал повсюду, он все испробовал и испытал. Одиссей, конечно, верит богам, но знает: они могут быть не только милосердны, но и коварны. Одиссей знает: полагаться следует только на самого себя. Выброшенный в море, он плывет два дня и две ночи, пока не добирается до берега. Он ведет с морем борьбу не на жизнь, а на смерть.



Одиссей хочет победить море. Он его страшится.

Ведь он вполне мог бы пожаловаться на море, как жаловался на него один мой знакомый мальчик: «Конечно, я его боюсь: оно такое большое, а я такой маленький».

Про Одиссея говорят — хитроумный. А он просто вынужден быть умным, иначе ему грозит гибель, и ум его сугубо практического свойства. Одиссей использует всех и вся: и богов, и людей, и бурдюк с вином. Он не может позволить себе роскошь бескорыстного познания мира: жизнь на каждом шагу заставляет его принимать решения, сооружать, по выражению греков, *machines*, чтобы избегать ловушек, расставленных богами и судьбой. «Великий механик» — один из главных эпитетов Одиссея в поэме.

Но прежде всего Одиссей — моряк, странник, полный изумления перед тайнами мироздания. Он наделен беспредельной любознательностью. Желание все увидеть и испробовать у него острее, чем у любого современного мальчишки. И это понятно: мир открывается перед ним молодой, как весенний лес, — ни пылинки старой мудрости еще не осело на листьях.

И тут Одиссей, трезвый, деятельный, осторожный, не в силах справиться ни со своей трезвостью, ни со своей осторожностью. Правда, как всякий здравомыслящий человек своего времени, Одиссей убежден, что природа полна не только чудес, но и чудовищ. Он страшится их и населяет окружающий мир своими страхами. Но еще больше, чем страхами, он населяет его своими замыслами и надеждами.



Одиссей — предок всех тех, кто, ломая устоявшийся быт, отважно пускается в путь, кому не сидится дома, словно ветер гонит его в дорогу. «Я слышу шорох листьев, и мне кажется, что я ветер» — это уже слова одного из героев драматурга второй половины XX века Макса Фриша<sup>1</sup>.

Насколько же притягательно шумел ветер странствий в молодом, еще не освоенном мире.

Мне кажется, что я ветер...

Шорох листьев, белая пена волн (откуда эта пена? откуда эти волны? куда летит ветер? откуда я?) звали людей в дорогу, звали открывать и расшифровывать этот мир — расшифровывать самих себя.

\* \* \*

...В мальчике Джиме Хокинсе очень много от нас, от нашей жажды необычайного. Но когда он начинает действовать, в нем просыпается тысячелетняя традиция поведения человека, встающего лицом к лицу с грозными обстоятельствами. В мальчике Джиме Хокинсе, благонамеренном английском мальчике, оживает частица вечного Одиссея, нашего общего предка.

В человеке, придумавшем этого мальчика, видимо, тоже жил дух Одиссея (иначе бы не родиться на свет этому литературному мальчику). Внук и сын строителей маяков, неутомимый путешественник, замечательный рассказчик, Стивенсон завещал вырезать на могильном камне строчки из своего стихотворения «Реквием»:

Вот что напишите в память обо мне:

Здесь он лежит, где хотел он лежать;

Домой вернулся моряк, домой вернулся он с моря

И охотник вернулся с холмов.

...Все увидеть, все испытать, умудренным вернуться домой, с моря, с холмов; умудренным прийти к концу жизни — это программа современного человека, личности, рожденной цивилизацией.

Лауреат международной Ленинской премии мира швейцарский ученый Андре Боннар, крупнейший знаток и исследователь Древней Греции, называет Одиссея человеком цивилизованным.

---

<sup>1</sup> Впрочем, приведенная цитата из пьесы швейцарского драматурга М. Фриша в общем контексте его творчества толкуется сложнее и многозначнее. См.: М. Фриш. Пьесы. М., изд-во «Искусство», 1970.



**«Быть собой — всегда и везде...»** Пират, разбойник, авантюрист... цивилизованный человек — странная логика слов. Но никуда от нее не деться. Когда пришло к людям осознание парадоксального факта, что в этой цепочке все

слова между собой почему-то связаны? Не так уж давно, века полтора назад. И первыми почувствовали эту глубинную связь поэты.

Ну, а потом?

...Мелкий дождь, потертый цилиндр, жидкий кофе. Каждый день все тот же маршрут: узкие улочки лондонского Сити, обшарпанные стены конторы, кабинет, пыльный, как стручок акации. Каждый день все те же мучительные мысли: как преуспеть. Преуспеть — то есть успеть вытравить в себе все человеческое. Успех — производная скорости избавления от человеческого. Ибо золото давно не символизирует ничего, кроме золота. Только для него есть место в подвалах банков и в помыслах людских: давно забыто, предано и продано то, что называлось прежде бессмертной человеческой душой.

Промокший клерк возвращается домой, греется у камина, поднимается в нетопленную спальню. Колпак на голове, грелка у ног, в руках книжка: несколько часов можно не вспоминать, что преуспеть — это успеть забыть, что у тебя есть сердце. О чем же читает наш диккенсовский клерк (может быть, он даже служит в конторе мистера Домби?)? Он читает о тех, кого давно нет, он читает о людях, которые тоже любили деньги, но не только их. Деньги существовали в придачу к другой, интересной жизни.

...Запах моря, запах свободы чувствуется острее, когда вырываешься к нему из душной комнаты.

Бедный клерк читает о далеких временах, когда у человека был шанс сбежать из жизни, накрытой туманом, как гигантским прессом. Он и сам бы рад сбежать, да некуда. Изменилось время.

Осталось только считать чужие деньги, осталось только читать чужие книги. А не сочинять книгу собственной судьбы.

Вряд ли он понимает, наш бедный клерк, что писатель, который как будто бы позволил се-





бе сочинять книгу собственной жизни<sup>1</sup>, позволил себе даже сбежать по-настоящему, как сделал это Стивенсон, уехав на острова Самоа<sup>2</sup>, — тоже никуда не сбежал.

Нельзя убежать от своего времени. Нельзя из него выпасть. Ни у кого в истории это пока не получалось. Ни у Шиллера с его «Разбойниками», ни у Байрона с «Корсаром», ни у нашего Пушкина с «Алеко».

Поэты болезненно ощущали наступление скучной буржуазности. В ответ рождалась легенда о благородном изгнаннике. Иллюзией личной независимости питали пожар своего сердца поэты. Романтические дрова еще не успели иссякнуть.

...Во времена Стивенсона все уже было ясно. Никаких иллюзий. Не хватало не только романтических — обыкновенных дров, чтобы обогреть сердца людей в громадных городах. Никаких иллюзий... Никаких? А как же вольнолюбивые пираты? Ведь они-то были! Их не придумали поэты! С пиратами все сложно, объяснял своим читателям Стивенсон: видите, какой непростой человек Сильвер!

Только в XX веке пришло трезвое понимание, что мир пиратской палубы — это особый мир. Только XX веку дано было трезво разобраться в таком сложном историческом явлении, как пиратство, в его социально-психологических истоках<sup>3</sup>.

\* \* \*

Мир пиратской палубы — особый мир. Его населяли подозрительные личности с серьгами в ушах, в ярких платках на голове, одетые кто во что горазд. На берегу, в пиратских городах, облачались они в шелка и бархат, сорили деньгами, дрались, играли в кости. А как они пьянствовали! Страшно подумать, какие здоровые это были люди! Как бурно, как непристойно умели они наслаждаться жизнью!

А потом добыча пропита, деньги растрачены, и снова в море в одних рубашках...

Они возвращались в море к малокомфортабельным, прямо скажем, условиям жизни, где угроза виселицы была так же естественна, как ожидание шторма: виселица и шторм относились к области непрогнозируемой стихии, естественным образом входили в жизнь.

---

<sup>1</sup> Об этом подробнее в книге Д. М. Урнова «Робинзон и Гулливер». М., изд-во «Наука», 1973.

<sup>2</sup> Ф. Стивенсон и Р. Л. Стивенсон. Жизнь на Самоа. М., изд-во «Мысль», 1969.

<sup>3</sup> Я. Маховский. История морского пиратства. М., изд-во «Наука», 1972.



Почему же пираты не оседали спокойно на берегу, накопив кругленькую сумму пиастров, тех самых заветных пиастров, о которых беспрерывно твердил попугай Сильвера Капитан Флинт?

Вот тут начинается главное.

Кем бы ни были в своей прошлой жизни эти люди, а среди пиратов встречались и бывшие студенты университетов (вспомним, наш Сильвер был школяром), и офицеры, и обыкновенные преступники, и дезертиры, уход в пираты означал не только страсть к наживе. Очень часто это было нечто большее. Это была форма социального протеста. Это был уход из общества, где все основано на несправедливости, где все подчинено закостеневшим, непробиваемо несправедливым законам. Становясь отщепенцами, пираты выпадали из сословной структуры общества, отказывались играть роли, предназначенные им от рождения.

...Каковы же психологические механизмы, на которых строились коллективы добровольных изгнанников? Это непременно должна была быть группа единомышленников. Прежде всего потому, что это группа, которую ежеминутно поджидает опасность. Опасность диктует закон: в коллективе нет места трусам. Слишком дорого обходится трусость всем остальным. Отсидеться за спинами товарищей невозможно. Капитан корабля действовал только с общего одобрения команды. И маршрут кораблю, и план операций утверждала команда. Команда могла прислать капитану «черную метку» — знак недоверия. Ведь должность капитана — выборная. Он занимает ее не по признаку происхождения или богатства. Каждый член команды — потенциальный капитан. Команда подчиняется человеку, который умнее всех остальных: любой член судовой команды отдает себе отчет в том, что первый по способностям и знаниям должен стоять на ведущем командном месте, иначе всем остальным будет плохо<sup>1</sup>.

В нашем рассказе нет идеализации.

Пираты не ангелы. Меньше всего ангелы. С древнейших времен, выражаясь старинным слогом, их трепетала вся Европа. Алчные, грубые, жестокие, садисты — всякие среди них попадались люди, во все эпохи. И во все эпохи они полностью оставались людьми своего времени.

Поборники справедливости хладнокровно убивали — без суда и следствия.

Свободолюбцы с энтузиазмом занимались работоторговлей.

---

<sup>1</sup> Здесь уместно снова отослать читателей к книге Я. Маховского.





Сторонники имущественного равенства отбирали у своих пленников решительно все, а корабли (с людьми!) топили.

Это столь обычный пиратский «почерк», что история, за редкими исключениями, эти случаи не собирала и не фиксировала.

«Пираты ночью наводнили страну и взяли в плен молодых девушек, женщин и других, числом более тридцати. Гегесипп и Антинапп, которые, сами находясь среди пленных, убедили начальника пиратов вернуть свобод-

ных людей и некоторых вольноотпущенников и рабов, предлагая себя в качестве гарантии и проявляя крайнее рвение, пытались помешать, чтобы кто-то из граждан и гражданок был распределен как часть добычи или продан, или испытал что-либо, недостойное их положения...»

Эту греческую надпись конца III — начала I века до н. э. цитирую я по книге А. Валлона «История рабства в античном мире». Высечена надпись в честь неведомых нам Гегесиппа и Антинаппа в благодарность за их мужество. Надпись сообщает: на этих граждан в знак признательности города были возложены венки<sup>1</sup>.

Пять веков прошло со времен подвигов Одиссея. Морской разбой перестал быть отправным пунктом торговли, он был даже объявлен вне закона. Но даже объявленный вне закона, он имел свой законный способ действия: с пиратами приходилось считаться. Свободный гражданин, проданный пиратами в рабство, становился рабом того, кто его выкупал. Этому третьему лицу он обязывался возместить сумму, заплаченную за свой выкуп: лукавое законодательство лицемерно делало вид, что пиратов с их торговыми операциями якобы вовсе и нет.

Пройдет еще век. Пираты по-прежнему будут терроризировать греческое и итальянское побережье. В плен к ним попадет едва ли не самый прославленный из пиратских узников — Гай Юлий Цезарь. Вторым самым знаменитым станет через шестнадцать веков Мигель Сервантес. Четырехлетнее пленение Сервантеса было далеко не таким лучезарным, на-

---

<sup>1</sup> Классический труд французского историка А. Валлона «История рабства в античном мире» (М., ОГИЗ — Госполитиздат, 1941) содержит немало примеров по интересующей нас теме.





полненным высокоинтеллектуальными занятиями, сочинением стихов и речей, как короткий отдых юного Гая из рода Юлиев на пиратском островке Фармакуза.

\* \* \*

Цезарь дал клятву, что непременно отомстит пиратам за тупоумие. Молодого римского патриция задевало отношение пиратов к его литературному таланту: он декламировал им свои стихи, в ответ они добродушно хохотали.

Клятву свою Цезарь выполнил, с малолетства выполнял он все, что задумывал: задумал стать Цезарем и стал им. Словом, оказавшись на свободе, он настиг пиратов на том самом островке Фармакуза. Потом по его личному приказу, несмотря на сопротивление местных властей (опасаясь пиратов, они страшились решительных мер), все 350 пиратов были казнены. 30 же из них, главарей, распяли на кресте. Цезарь явился на место казни и держал перед пиратами речь: теперь-то они вынуждены были по достоинству оценить все изысканные ее построения.



Он стоял перед ними, грязными оборванцами, красивый, надменный. Слегка покачивалось в такт словам хорошо тренированное тело. Сандалией отбивал он ритм фразы (ни одного случая не упустил он в деле подготовки к великому поприщу), почти извинялся Цезарь перед этим сбродом, бандой проходимцев, уроженцев бедных греческих островков. Было бы неприятно, если бы пираты сочли его жестоким человеком, он отдает им должное, они довольно сносно обращались с ним в плену, и потому в знак особого милосердия приказывает: сначала им подрежут горло, потом распнут.

История не сохранила нам ответной реакции пиратских капитанов на его речь. Может, они даже благодарили его. Может, даже растроганы были его добротой.

Известно одно: казнь Цезарь досмотрел до конца — с подрезанным горлом на кресте умирают быстрее, нежели с не подрезанным.

Сразу после окончания казни он отправился в столь досадно прерванное путешествие: он торопился учиться умению произносить речи — то есть умению властвовать над толпой, повелевать страстями, — говорить красивые слова о справедливости, благе народа, гуманизме власти.

Он торопился на остров Родос, в знаменитое училище риторики Аполлония.

...Слов нет, пираты были жестокими людьми, но вряд ли более жестокими, чем окружающий их мир.

\* \* \*

...Хорошо, а при чем здесь Одиссей?

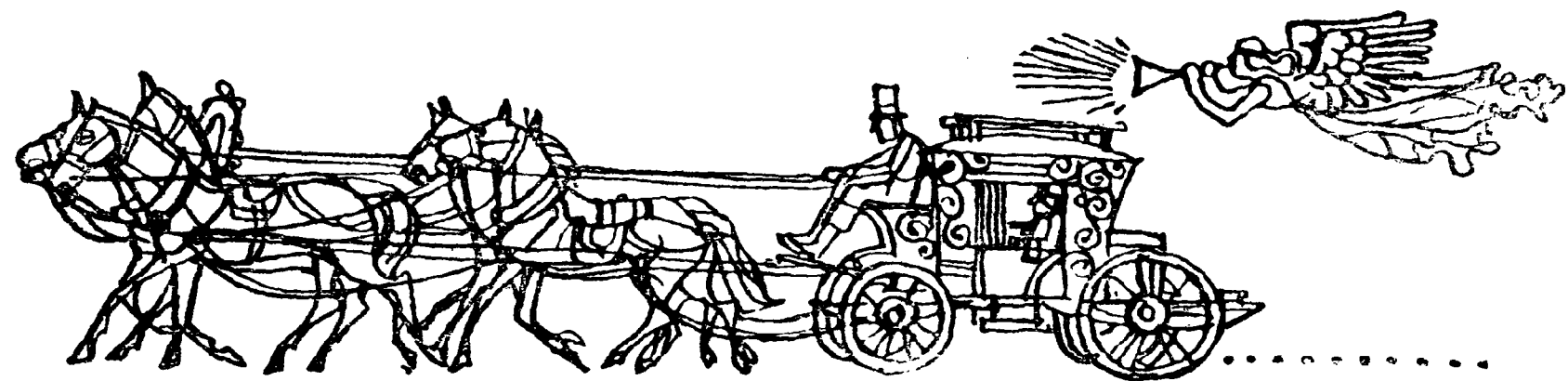
В чем ростки современной цивилизации? Почему, в самом деле, такой крупнейший авторитет, как Андрэ Боннар, называет Одиссея человеком цивилизованным?

Они были, эти ростки, они явственно пробивались в принципах организации, построенной на том, что от человека требовался не подневольный труд, а сознательная дисциплина. Ни один пиратский корабль не смог бы долго проплавать на иных организационных основаниях. Просто бандиты и грабители погибали довольно быстро.

«— Разве мало я видел больших кораблей, которые погибли попусту? Разве мало я видел таких молодцов, которых повесили сушиться на солнышке?.. Знаю я вашего брата. На-лакается рому — и на виселицу».

Это Сильвер предается воспоминаниям со своими друзьями, людьми Флинта. Они сидят на палубе, вечереет, костыль Сильвера прислонен к бочке из-под яблок, где, обмирая от страха, прячется мальчик Джим.





«— Всем известно, Джон, что ты краснобай знаменитый,— возразил ему Израэль.— Но ведь были другие, они... и сами кутили, и другим не мешали.

— Да,— сказал Сильвер.— А где они теперь? Такой был Пью — и умер в нищете, прося милостыню. И Флинт был такой — и умер от рома в Саванне. Да, это были приятные люди, веселые... Только где они теперь, вот вопрос!»

Оставим Сильвера рассуждать о прошлом, настоящем и будущем пиратства в ожидании, когда ему нацедят из припрятанного бочонка рома.

Пусть он глотнет из кувшина и прохрипит из своего любимого репертуара:

За ветер добычи, за ветер удачи!  
Чтоб зажили мы веселей и богаче!

Месяц уже взошел над морем, посеребрил крюйс-марс и вздувшийся фок-зейл. Пусть себе поет Сильвер, прихлебывая ром, пусть! Это его последние спокойные минуты. Вот-вот появится на горизонте земля. Вот-вот обрушатся на него всяческие напасти.

Оставим Сильвера, он для нас не авторитет. Не будем и слишком всерьез относиться к его словам о том, что каждый пират мечтал бы кончить свою жизнь членом парламента или, на худой конец, жить в тихом поместье и разъезжать в золоченой карете.

У простых пиратов почему-то так почти не получалось: доживать в тихих поместьях и разъезжать в золоченых каретах. И не потому, что не было денег. Денег было хоть отбавляй. С этими деньгами их поджидала жизнь, против которой они уже взбунтовались однажды. За деньги, как известно, на берегу можно купить все. Атмосферу братства и взаимовыручки нельзя было купить ни в одном углу земного шара ни за какие пиратские деньги.

Что стоили деньги по сравнению с возможностью ощущать себя свободным человеком?





Может быть, теперь становится объяснимой одна из странных причуд пиратов всех времен — детская страсть к нарядам?

Когда читаешь книжки про пиратов, смотришь про них кинофильмы, раздражает пестрота костюмов и лиц: мир этот кажется преувеличенным, театрализованным — придуманным.

И вот оказывается, никакой преувеличенности нет. Наоборот, есть даже некоторая «недоувеличенность».

Ибо вся эта театрализованная экзотика, вызывающая у нас недоверчивый смехок, — правда. Правда, потому что пираты испытывали острейшую психологическую потребность в шутовском карнавале.

Можно обрядиться в костюм капитана с потопленного корабля, надеть форму матроса с голландского клипера, можно щеголять испанским грандом или французским вельможей, можно превратиться в индийского раджу, можно изобрести свой собственный наряд...

В прежней жизни все было нельзя — теперь все можно! Можно! Можно!..

Можно  
астрой в глазах пестреться,  
можно  
ветром в росе свистеть,  
но в каких  
человеческих средствах  
быть собой —  
всегда и везде?..

(Н. А с е е в)

Человечьих средств быть собой в ту историческую эпоху не было.

Зато были костюмы.

Надевая, примеряя, сбрасывая с себя тот или иной наряд, человек перевоплощался, проигрывал все то, что могло с ним произойти, родись он на иной ступеньке социальной лестницы.

Забавный, нелепый, неудобный, смешной, костюм символизировал естественное человеческое право — быть самим собой.



**Сильвер  
опоздал  
родиться**

Быть собой... Что это означало в ту или иную историческую эпоху?

Стивенсоновский «Остров сокровищ» — совсем не веселая книжка. Ибо каждого из нас Стивенсон заставил задуматься над тем, почему же так получается? Почему сила, мощь, обаяние, талант пропадают втуне? Почему Сильвер со всеми своими талантами только повар? Почему он не капитан Смоллетт? А ведь Сильвер прирожденный капитан.

В том мире, о котором рассказывал Стивенсон, Сильвер по признаку рождения никогда бы не мог стать Смоллеттом. В тогдашней социальной структуре общества не было места для капитанов Сильверов. Потенциальные капитаны Сильверы уходили в пираты, превращались в поваров. А уж дальше...

«Поживешь среди дегтя — невольно запачкаешься», — объяснил как-то Сильвер.

Жизнь ампутировала у него не только ногу, но и совесть.

Как воплощается человек в том мире, в котором ему суждено жить?

Этот вопрос, по-видимому, мучил Стивенсона. Почему такой одаренный — и пират, негодяй, убийца?

Вслед за Федором Михайловичем Достоевским, под прямым его влиянием Стивенсон во всем своем творчестве, не только в «Острове сокровищ», поднял проблему так называемой «интересной порочности». «Интересный» порочный человек Сильвер, который нравится, несмотря ни на что, больше, чем все остальные персонажи. Даже доктор Ливси утверждал, что Сильвер замечательный человек. Так и сказал: Сильверу, дескать, удалось нас обмануть, потому что он замечательный человек.

И в конце радиопостановки по мотивам «Острова сокровищ» приглушенно, стыдливо звучит не мажорная мелодия справедливых победителей, а все тот же пиратский рев: «Пятнадцать человек на сундук мертвеца». «Интересная порочность» уходит, уплывает, и как жаль, что спектакль кончается. Пусть бы еще попели немножко!..

...Сам способ восприятия истории, способ видения мира — а видел Стивенсон сценами, картинами, где каждая деталь не просто на месте, она приоткрывает новый пласт зрительных впечатлений (это о Стивенсоне заметил Бертольд Брехт, великий мастер детали: «Неужели было кино до кино?») — сам способ видения мира наталкивал Стивенсона на грустные раздумья. Стивенсон глубоко ощущал неблагополучие окружающего мира. Из своего XIX века он с радостью убегал в век XVIII. Ему нравилось писать о пиратах. Ему казалось: он написал веселую книжку. Ему только казалось.



«Остров сокровищ» полон трагических эпизодов, и каждый раз при очередном чтении открываешь для себя все новые. Одна сцена описания двух мертвецов — О'Брайена и Израэля Хендса — чего стоит.

«Он упал с громким всплеском. Красный колпак слетел у него с головы и поплыл. Когда муть, поднятая падением трупа, улеглась, я отчетливо увидел их обоих: О'Брайена и Израэля. Они лежали рядом. Вода, двигаясь, покачивала их. О'Брайен, несмотря на свою молодость, был совершенно плешив. Он лежал, положив плешивую голову на колени своего убийцы. Быстрые рыбки проносились над ними».

Все переплелось, перепуталось, смешалось: плешивая голова убитого, как голова блудного сына, тянется к коленям убийцы, словно прося прощения — за что? За то, что убил? И оба плавно опускаются, «возносятся» вглубь, в пучину морскую. Сцена эта погружения в море, в глубину, на дно, бездонна по своей трагической многозначности.

Стивенсон же не помышлял ни о какой бездонности, ему хотелось написать веселую книжку. Ничего из этого не получилось: он всматривался в мир глазами человека XIX века, хорошо знакомого с конторами мистеров Домби.

\* \* \*

...Писатель живет в вымышленном мире, когда пишет «Войну и мир». И в настоящем, когда пишет «Не могу молчать». Эти миры соприкасаются, один без другого невозможен. В биографии писателя «Война и мир» и «Не могу молчать» пишутся через черточку. Но писатель в сердце своем живет еще в одном мире: он мечтает о мире, полном добра, самоотверженности и красоты.

Он знает: люди почему-то так устроены, что обязательно должны видеть «Остров сокровищ» впереди. Ничего с этим не поделаешь. Когда они до него доплывают, вот что получается. Получается плохо. Стивенсона это печалит. Печалит его и то, что в упорядоченном буржуазном мире нет места для индивидуальности капитана Сильвера. Под влиянием социальных условий самая яркая личность мельчает; время перелопачивает человека, сообщая ему ничтожные помыслы, ведя его по жизни далеко не лучшими путями.

Кем бы стал такой человек, как Сильвер, двумя веками позже, не в XVIII, а в XX веке? Не знаю. Ясно одно: он опоздал родиться. Двумя веками раньше он мог бы стать не просто удачливым капитаном пиратского судна — адмиралом королевского флота. Сильвер, с его характером, перенесенный в XVI век, чем не Френсис Дрейк, знаменитый пират, корсар,



к концу жизни адмирал ее величества королевы Великобритании Елизаветы?

Ум, железная хватка, беспощадность...

«Тут мы увидели на берегу мальчика, и испанца, и восемь лам, груженных серебром. Мы их убили, а серебро взяли<sup>1</sup>, — это из летописи кругосветного путешествия Дрейка. — На берегу спал испанец. Наша шлюпка подошла незаметно. Рядом с испанцем лежало тринадцать слитков серебра. Мы взяли слитки, а испанца трогать не стали». (Не проснулся, не помешал, потому и не тронули, проснулся бы — убили.)

Чем не Сильвер? Чем не беспощадность бандитов с «Испаньолы»!

«...Я человек добродушный, я джентльмен, однако я вижу, что дело серьезное. Долг прежде всего, ребята. И я голову — убить» — это голос все того же Сильвера. Все на той же палубе решает он судьбу экипажа «Испаньолы».

Все то же самое. Только масштаб операций другой: канули в далекое прошлое золотые корсарские времена. И потому не Сильвера — Френсиса Дрейка посвятила королева Елизавета в рыцари. Специально приехала из Лондона, оторвавшись от важных государственных дел. Приподняла юбки, поскользнулась, шагнула с зыбкой лесенки прямо на палубу, выпрямилась — усохшая, уродливая, деловитая. Прямо на палубе корабля, на которой в поисках сокровищ для себя и заодно для королевы волею судеб объехал он шар земной, ударом шпаги по плечу посвятила она его в рыцари. На пиратской палубе, спешно отмытой от крови — испанской, индейской и всякой другой, несущественной.

Как, наверно, завидовал бы Сильвер, будь он живым, не выдуманным человеком, сэру Френсису Дрейку за то, что тому повезло вовремя родиться.

Дрейку многие завидовали. Вполне вероятно (до нас даже дошли глухие намеки), что один из современников великого пирата, актер, сочинитель пьес и сонетов, глубоко несерьезный человек, по имени Вильям Шекспир, тоже ему искренне завидовал. Еще бы! Открытия и заслуги Дрейка были слишком очевидны. Ими кормились сотни тысяч людей, может, восемьсот тысяч, может, миллион. А сколько людей смотрели его, Шекспира, пьесы? Да и как смотрели! Приходили в театр «Глобус», плевались, свистели, дрались, кидались тухлыми яйцами. Каждый день жди скандала. И это слава? И это признание соотечественников?

И вот заметка в газете «Известия».

---

<sup>1</sup> Цитирую по книге: И. М о ж е й к о, Л. С е д о в, В. Т ю р и н. С крестом и мушкетом. М., изд-во «Наука», 1966.





Только Шекспиром, разработкой того, что завещал он человечеству, в университетах, театрах, на радио и в кино занято восемьсот тысяч человек! Для восьмисот тысяч человек Шекспир — профессия. За Шекспира им платят зарплату.

...Пытаюсь представить себе выражение лица сэра Френсиса Дрейка. Пытаюсь вообразить себе, как в перерыве между двумя стычками с испанскими галионами какой-нибудь пленный га-

дальщик и предсказатель рассказывает ему о том, что произойдет через четыреста лет с миром, который Дрейк столь успешно «осваивает». Видимо, Дрейк, не раздумывая, вздернул бы на нее предсказателя жалкого будущего.

Ну, а Сильвер? Вот кто бы, я думаю, с большим злорадством отнесся к столь поразительному факту: люди кормят почти миллион бездельников с единственной целью, чтобы они во всех тонкостях изучили жизнь еще одного, давно умершего бездельника, еще и проходимца к тому же, которого, скорее всего, вовсе не было. Отложив в сторону вместе с костылем текущие интриги, Сильвер с удовольствием порассуждал бы о превратностях судьбы, о том, что никогда не угадаешь, на что надо ставить: кто бы подумал — на сочинение пьесок. Заметка в газете «Известия» утешила бы нашего Сильвера. Нет, не он один — Дрейк тоже проиграл свою жизненную ставку.

\* \* \*

Если медленно-медленно проплыть по страницам «Острова сокровищ», как ненасытные акулы, всплывают вопросы.

Кто остается на сите истории? Кто остается в памяти людской? И как остается? Что такое имя, биография, историческая бронза?

Свое место в памяти людей занял Дрейк и его головорезы. Свое место занял в ней человек выдуманный — Сильвер и его пираты: такова власть писательской фантазии над нашей душой.

Стивенсон воскресил для нас давно ушедший мир, заставил нас ощутить свою сопричастность к нему.

Мир Стивенсона воскрешал душевные состояния, безы-



мянные, неназываемые, но всеобщие, пережитые десятками поколений. Видимо, любому человеку в его саморазвитии непременно надо их пройти.

А между тем писал Стивенсон свой «Остров сокровищ» только для пасынка. Вместе с ним он рисовал карту пиратского острова и придумывал, что будет дальше, и не знал, что будет.

Потом книга вышла, люди всех возрастов дрались из-за нее у прилавков, оттесняя главных ее читателей — мальчишек. Потом начались бесчисленные ее издания и переиздания. До сих пор «Остров сокровищ» не так просто купить даже в букинистических магазинах.

Мир Стивенсона, выражаясь современным научным языком, обладает высокой моделирующей силой. В него так хочется поиграть!

Только ли в него?





---

## ГЛАВА ВТОРАЯ,

*где рассказывается о трех мушкетерах, а также о том, что означает в социальной психологии термин „референтная группа“, что такое межличностные связи, по каким причинам возникает так называемый „сенсорный голод“ и где автор проводит одну совсем простенькую анкету, из которой вытекает множество выводов не только о нашем восприятии и оценке самих себя и окружающих, но и о том историческом времени, в котором живут разные поколения людей*



## Игры отменяются

В течение нескольких лет это было проклятием моей жизни, регулярным и неотвратимым. Каждый раз повторялось одно и то же.

— Сочинение пришел писать, — объявлял Лешка. — Мама просила вас помочь.

Взрослые обитатели нашего дома немедленно набрасывались на Лешку с вопросами. О школе, учителях, уроках. Лешка вяло бормотал что-то себе под нос, потом, улучив момент, когда насыщенные общением взрослые разбредались, осторожно вытаскивал с полки том Дюма и направлялся в мою комнату. Там он пристраивал свои кеды поудобнее на кушетке, укладывался, раскрывал книжку... Раскрывалась она сразу на нужной странице, читал Лешка всегда одно и то же: приезд д'Артаньяна в Париж, скачку за подвесками, завтрак на бастионе в Ларошели. Сначала было слышно, как Лешка шевелит губами, потом раздавалось сопение — следствие до сих пор не вырезанных гланд. Потом Лешка начинал покрикивать, чем неосторожно привлекал внимание мальчика дошкольного возраста. Мальчик благоговейно просовывал голову в комнату, наблюдал за Лешкой долго, громко объявлял:

— А Лешка не учится, Лешка книжку читает!

— Митька, приколыщик, иди сюда!

— Читаешь «Трех мушкетеров», — соображал Митя.

А дальше... Дальше доставались мушкетерские плащи, расшитые разноцветными крышками из-под кефира и ряженки, появлялись самодельные деревянные шпаги и новейшие пластмассовые забрала. За закрытой дверью что-то крошилось, летело, ломалось. Существовать в квартире становилось невыносимо. Работать тем более. Я порывалась вмешаться, домашние останавливали: литературная игра развивает воображение.

Развитие воображения обрывалось, едва раздавался звонок в дверь: за Лешей приходили мама или бабушка. Мама или бабушка благодарили за помощь, попутно обсуждая на кухне рецепты консервирования овощей и фруктов.

Лешка улучал момент:

— Мама, можно, я возьму с собой «Трех мушкетеров»?

— Нет, — вспыхивала мама, — нельзя!

Мои домашние опускали глаза: Лешкина мать не признавала необходимости развития воображения.

— Я понимаю — в пятом классе, ну в шестом. Но ты уже в седьмом! Посмотри на себя, ты их перерос!

— Конечно, перерос. — Я встревала в разговор, жалеючи Лешку. — Ваш Лешка акселерат, а мушкетеры, совсем как мы





с вами,— обыкновенные люди. Даже в их доспехи Лешка не влезет: и питание у мушкетеров было хуже, и родители о них меньше заботились.

Лешка радостно хохотал. Лешкина мать испепеляла меня презрением (очередное сочинение уже было написано — так она, бедняжка, надеялась, меня можно было временно испепелить) и уводила своего персонального мушкетера доделывать уроки.

И все-таки мушкетерам ~~не~~ суждено было уцелеть. Лешке их просто запретили: родители его сочли, что пора ковать Лешкино будущее. В совместном разговоре (меня в него вовлекли вследствие тесного квартирного соседства) вырабатывалась стратегия поведения. Бесславное Лешкино будущее его мать тесно связывала с печальным его настоящим.

— Мальчик выпал из своего возраста. Он инфантилен, он собирает солдатиков, он дружит с малышами. А мушкетеры? Это что за занятие? Мушкетеры — символ катастрофического отрыва нашего Леши от школьной жизни.

Лешкина мама печально подергала носом, поправляя очки.

— Мушкетеры — симптом того, что Леша упущен. Нет, он не поступит в институт, он погибнет. Его затолкают с его романтическими задатками.

От волнения Лешкина мама утратила обычное многословие и заговорила почти афоризмами:

— Он попадет в армию и обнаружит, что шпаг там нет, зато есть дисциплина. Дисциплину он не выдержит, это ясно. Нужны срочные меры!



— По борьбе с мушкетерами? — спросила я.

— Начинать, во всяком случае, следует именно с них. Дальше посмотрим.

— Хорошо бы разъяснить ему, — вставил Лешкин папа, — что ему предстоит жить и работать не при кардинале Ришелье, а в век научно-технической революции. — Лешкин папа тоже, видимо, подготовился к сегодняшнему вечеру. — Главное в возрастной категории Леши — накопление информации. Игры отменяются. Они заслоняют от Леши цель. Совместными усилиями мальчика нужно переориентировать.

Лешкин папа — научный работник, и потому он разговаривал с нами так, словно диктовал своим аспирантам планы диссертаций. Перебивать его было невозможно, возражать бессмысленно, он все давно распределил, каждому из нас он отвел свой участок работы. Мне, в силу моей профессии, надлежало «проведение с Лешей короткой конструктивной



беседы на литературные темы».

Иными словами, предстояло штудировать «Трех мушкетеров» — к беседе с Лешкой надо было готовиться.

## Пасьянсы

Итак, требовалось совсем немного: отлучить от мушкетеров одного непокладистого мальчишку. В процессе чтения выяснилось: мушкетерами придется заняться вплотную, слишком много сомнений, сопоставлений, выводов принесла с собой зачитанная до дыр, расхватанная по цитатам, виденная-перевиденная на экране книжка. Слишком много неожиданностей принесли с собой в XX век эти четыре крайне малосимпатичных персонажа.

В самом деле, при внимательном рассмотрении все четверо вызвали неодолимую неприязнь. Прежде всего раздра-



жал сам Дюма — своей легковесностью, безмятежно-небрежным отношением к историческим фактам, полным нарушением элементарной логики. Кардинал Ришелье, самый осторожный и коварный из героев Дюма, ведет себя абсолютно безрассудно исключительно по одной причине: он безнадежно влюблен в королеву. Его аргументация способна вызвать только ироническую усмешку: «Ришелье знал, что, победив Англию, он тем самым победит Бекингэма, что, восторжествовав над Англией, он восторжествует над Бекингэмом, и, наконец, что, унизив Англию в глазах Европы, он тем самым унизит Бекингэма в глазах королевы».

Даже д'Артаньян, далеко не самый умный из героев, зато самый трезвый из них, не всегда выдерживает историческую логику Дюма-отца. Он не возмущается, не иронизирует, куда уж там ему, но даже он в мушкетерской суматохе способен удивиться: «На каких неуловимых и тончайших нитях висят подчас судьба народа и жизнь множества людей». Остальные мушкетеры тоже изредка удивляются, явно выбиваясь из схемы Дюма, они спорят между собой, стоит ли ввязываться в очередную драку: трудно удержаться от яростных споров и напряженных размышлений, когда речь идет о собственной жизни и смерти.

«— Черт возьми,— воскликнул Портос,— но раз мы рискуем быть убитыми, я хотел бы, по крайней мере, знать, во имя чего!»

— Должен признаться,— сказал Арамис,— что я согласен с Портосом».

Когда речь заходит о жизни и смерти, герои перестают слушать своего создателя. Автору в этих случаях помогает только один человек, чье имя до поры до времени не хотелось бы называть. Именно его Дюма сделал носителем высокой и безрассудной чести.

«Стоит ли жизнь того, чтобы так много спрашивать?.. Я готов идти...»

Остальным приходится только присоединиться к этому меланхолически-героическому заявлению и дать согласие на скачку за алмазными подвесками в чужую враждебную страну ради спасения чести чужой королевы-испанки, враждебной по отношению к родной им Франции.

Но позвольте, в чем же здесь мушкетерская отвага, в чем мушкетерская честь? Это обыкновенное предательство чести в том понимании, которое разделяет XX век. Если бы кто-нибудь сейчас, в конце XX века, ставил перед собой и своими друзьями подобные благородные цели, его бы сочли психически ненормальным.

Но сколько бы ни сомневался д'Артаньян украдкой от сво-



их друзей и от самого Дюма (действовать-то приходится больше всего ему, есть от чего впасть в сомнение), Дюма непоколебим на страже своей схемы — он отлично знает: без нее повествование рассыпалось бы.

В том-то все и дело! Пусть Дюма сто тысяч раз заблуждался. Он и сам это отлично понимал. Его мало трогали собственные ошибки. «История — это вешалка, на которой я развешиваю сюжеты», — любил повторять Дюма. Он был человек веселый и легкий, легко относился к собственным сочинениям и к собственной литературной репутации. Он не скрывал, что на него работает целый концерн литераторов-невидимок.

Все это так. Но ведь он победитель! Никуда от этого не деться! Мы играем в его выдуманных героев больше ста лет подряд: нельзя играть в тех, кого не любишь. Он победил нас их характерами, занимательной интригой, жизнью, превращенной в бесконечное приключение.

Стоп! Давайте повнимательнее приглядимся к их характерам, интригам, приключениям. Взглянем на них с точки зрения трезвого мышления XX века.

Приключения — как трафарет, приложил к стенке и мажешь себе на здоровье, заранее известно, какой выйдет узор: обязательно кровь, обязательно чья-то смерть, обязательно конечная победа.

Интриги — на редкость малоинтересные, куда мушкетерам до Ришелье!

Характеры? Да они же просто не знали, чем заполнить свою жизнь! Откуда развиться масштабной личности при таком ничтожестве целей и замыслов?

Первый раз в жизни не летели — медленно переворачивались страницы. Накапливались карточки — свидетельства обвинений. Все до одной карточки работали против замечательно благородных мушкетеров.

Сижу, раскладываю пасьянсы из Атоса, Портоса, Арамиса, д'Артаньяна. Как ни раскладывай — все одно. Род повседневных занятий — одеваются, переодеваются, нашивают галуны на плащи, скрещивают шпаги: «Сударыни, не беспокойтесь, я только убью этого господина, вернусь и спою вам последний куплет».

Люди, как таковые, для них вообще не существуют.

В социальной психологии есть такое понятие «референтная группа», то есть группа людей, реальная или воображаемая, чьи взгляды, поведение рассматриваются человеком как система эталонов. Надо поступать и действовать так, чтобы твои поступки и действия вызывали одобрение со стороны членов твоей референтной, эталонной, группы.

Наши мушкетеры жили в сословном иерархическом мире,





наши мушкетеры — дворяне. Их должна была бы трогать собственная репутация только в глазах дворян — психология для XVII века естественная. Ничуть не бывало, им и на своего брата дворянина наплевать. Жизнь человеческая не ставится ими ни в грош. Референтная группа для них только рота мушкетеров. Но что за убожество «система ценностей» этой роты. «Небрежно одетые, подвыпившие, исцарапанные, мушкетеры шатались по кабакам... орали, покручивая усы, бряцая шпагами, из ножен с тысячью прибауток выхватывалась шпага. Случалось, их убивали, и они падали, убежденные, что будут оплаканы и отпущены, чаще же случалось, что убивали они, уверенные, что им не дадут сгнить в тюрьме».

Лидер этой довольно опасной в своей неуправляемости команды — капитан де Тревиль. Его обожают наши герои. Вот его представление о себе и своем назначении. «Де Тревиль был один из тех редких людей, что умеют повиноваться слепо и без рассуждений, как верные псы, отличаясь сообразительностью и крепкой хваткой».

Светоч разума, высокий образец для подражания, «капитан мушкетеров вызывал восхищение, страх и любовь — дру-



гими словами, достиг вершин счастья и удачи». Светоч разума советует своему юному протеже, нищему гасконцу, завоевать Париж: завязывайте полезные знакомства. Д'Артаньян и завязал: познакомился и подружился с тремя мушкетерами. Дружба немедленно принесла реальные плоды. Король Людовик XIII, капризный, слабохарактерный кретин, не без удовольствия подсчитывая результаты столь пылкой дружбы, мягко пеняет «своим» мушкетерам: «Как, это вы вчетвером за два дня вывели из строя семерых гвардейцев кардинала? Это много, чересчур много. Одного — еще куда ни шло, я не возражаю. Но семерых за два дня...»

Дорогие поклонники мушкетеров, перелистайте-ка Дюма! Вы с легкостью убедитесь: семь гвардейцев — напрасные жертвы. Скажите на милость, зачем их было убивать? Жили бы они себе и жили, как все тогда жили. А ведь заставили их драться и помирать наши славные мушкетеры! Чести своей и славы ради, ради своей неотмытой и невежественной референтной группы!

Больше того, для д'Артаньяна — это первые в жизни убийства. Первые! Убить человека, с маху переступить грань — оказывается, это очень легко. Никогда больше, ни разу на протяжении многотомного повествования не вспомнит он, как это произошло с ним впервые. Выхватил шпагу, убил, ну и что? Какие мелочи!

\* \* \*

...И вспомнился мне один эксперимент. Студент возраста д'Артаньяна рассматривает картинку: убитая женщина, мужчина стоит над ней, скрестив руки. Студента попросили рассказать любую историю по этой картинке. И он придумал.

«Два шпиона, он и она. Она проговорила. Им грозил провал. Ему приходится ее «убрать». Он ее убивает. Убил. Сейчас он стоит, смотрит на нее. Это его первое в жизни убийство».

До сих пор в рассказе все как будто в порядке: инфантильно-романтический юношеский сюжет. Но студент не обрывает свой рассказ. Он продолжает, хотя его никто не тянет за язык:

«Впоследствии ему еще придется много убивать. Он ни разу в жизни не вспомнит больше об этой женщине и первом своем убийстве. Но сейчас ему тяжело».

Экспериментаторы переглянулись. Все прекрасно, но какое место в рассказе отведено сомнениям, укорам совести, мыслям о ценности человеческой жизни? Студенту-испытуемому едва исполнилось 18 лет. Наверняка он никогда никого



в жизни физически не убьет. Но в нем уже складывается жестко-утилитарный тип личности. Он уже догадывается: с годами все проходит. И бывает не стыдно, страшно и жутко — бывает тягостно.

Мальчишка-студент живет в XX веке, когда ценность человеческой жизни представляется куда более очевидной, чем в далеком XVII, хотя и тогда уже жили люди, которые это понимали. Опасность не только в этом: д'Артаньян убивает открыто и открыто счастлив при этом. Мальчишка с подобной жизненной философией может при случае «замахнуться» исподтишка. И не ради своей эталонной группы — только ради себя. И не шпагой, а другими, бескровными способами. И радоваться будет исподтишка. И не вспомнит о своих тайных жертвах.

С испытуемым провели воспитательную работу, объяснили ему, что он такое сказал. Может быть, он и сам о себе этого не знает, это у него еще подсознательная, не реализовавшаяся установка, может быть, психологи не опоздали — вмешались вовремя. Может быть. Нам остается надеяться!

\* \* \*

Во времена мушкетеров психологов не существовало. Некому было вовремя подправить их жизненные установки.

И потому давайте разбираться в готовых характерах, прибегая к методам науки, которая им, к сожалению, еще не могла помочь...

Растасуем карточки по порядку.

Итак, их четверо. Итак, если мы обратимся к социометрическому методу исследования этой микрогруппы, то увидим...

Но сначала совсем немного о социометрии. Каждый участник маленькой группы — друзей, случайных попутчиков, сослуживцев, вынужденных соседей по купе в поезде, по скамейке дилижанса, по тесной каюте парусника, по каменному креслу в античном театре или ободранному стулу в современном крошечном студенческом театре — невольно оценивает своего случайного соседа или спутника и оценивается им тоже. Если складывается более или менее устойчивая группа, в ней со временем возникают взаимные симпатии и антипатии, определенные «шаблоны» восприятия друг друга.

Новейшие исследования показали, что, несмотря на обязательное появление лидера (об этом мы уже толковали), дальнейшее расслоение, «иерархия» группы происходит вовсе не всегда, оно не непременно условие для выживания и нормальной деятельности микрогруппы. Скажем, допустимо, чтобы А «командовал» над Б, тот в свою очередь — над С и Д, но



С и Д вполне могут преобладать над А. Все большее число зарубежных ученых, не говоря, разумеется, о советских, твердо отрицающих подобный чисто иерархический принцип построения общения между людьми, склоняется к тому, что здесь наука сталкивается со сложнейшими, мало изученными явлениями. И явления эти требуют совершенно новых антропологических, физиологических, математических процедур для анализа. Начинать приходится с каких-то очень простых вещей, но и относиться к ним надо просто, не приписывая полученным результатам глобальных выводов.

Одна из таких вещей — социометрия<sup>1</sup>. Американский психолог Дж. Морено «изобрел» ее для исследования межличностных отношений в малых группах. Мы не будем касаться его философских построений. Они сложны, запутанны и грозят увести нас слишком далеко от мушкетерской темы. Экспериментальная же его мысль проста и продуктивна. Морено опрашивал каждого человека в группе, что он думает о другом: с кем хотел бы дружить, вместе работать, кого предпочитает избегать. Всю полученную информацию он изображал в виде диаграммы — круга. Внутри этого круга располагались все члены группы с их «притяжениями и отталкиваниями».

Человек может нравиться одним, быть неприятен другим, глубоко безразличен третьим. В любой небольшой группе могут выделяться двое — диады: в диадах, как правило, действует ситуация выбора — двое заметили друг друга. Бывают триады, трое или симпатичны друг другу или один из них использует остальных двух в своих целях. Морено рассматривает и четверку, когда звезда главенствует над остальными.

Социометрический метод Морено, где для подсчетов приходится применять высшую математику, — только первые подступы к изучению законов жизни микрогруппы. Но этот метод, несмотря на свою примитивность, уже позволяет о многом догадываться и многое предсказать заранее: настроение, меру активности, распределение авторитетов внутри группы.

Мушкетерская дружба весьма любопытна с точки зрения социометрической методики. В их «межличностных связях» все вроде бы устойчиво и просто. Полное уважение друг к другу, полное согласие в основных занятиях. Все без конца играют в кости, все пьют в невероятном количестве с раннего утра до поздней ночи — анжуйское, бордоское, бургундское, — все рьяно добывают пистолы для достойного представительства всей четверки. Ни одному из них ни разу не приходит в голову обмануть другого тайно или явно.

---

<sup>1</sup> Дж. Морено. Социометрия. Экспериментальный метод и наука об обществе. М., изд-во «Иностранная литература», 1958.



Все у них разыгрывается, как в отлично налаженной шайке с ее круговой порукой: хорошо сделал друг или плохо — неважно. Прелесть шайки в том, что можно говорить и делать многое ради благоденствия всех ее членов.

Вроде бы полное равенство! Но приглядимся повнимательнее. Проведем социометрическое исследование. Женщины и девочки в подобных исследованиях отмечаются кружочками, мужчины и мальчики — треугольниками, стрелочки определяют сферы тяготения.

Д'Артаньян — мальчишка, ему едва исполнилось восемнадцать лет, но все стрелки как реальных передвижений по Парижу, так и маршруты логических решений стягиваются к нему.

Вот он едва объявился в Париже, а какие разумные мысли посещают эту юношески простодушную голову: «Его озабоченный ум деятельно заработал. Он пришел к заключению, что союз четырех молодых, смелых, изобретательных и решительных людей должен преследовать иную цель, кроме прогулок в полупьяном виде, занятий фехтованием и более или менее остроумных проделок.

К чему же клонит юный гасконец? А вот к чему: четыре кулака должны... пробить себе дорогу к намеченной цели, как бы отдалена она ни была или как бы крепко ни была защищена».

Дальше идет фраза, предсказывающая все, как будет: «Удивляло д'Артаньяна только то, что друзья его не додумались до этого давно... Он ломал себе голову в поисках путей, по которым должна быть направлена эта необыкновенная, четырежды увеличенная сила, с помощью которой — он в этом не сомневался — можно было, словно опираясь на рычаг Архимеда, перевернуть мир».

Значит, мотор нашей четверки — д'Артаньян. Средство, с помощью которого он надеется — лично для себя! — перевернуть мир, — дружба. Дружба, оказывается, всего лишь способ. А как же быть тогда с бескорыстием, непременным спутником — так принято считать — любой настоящей дружбы?

Пусть поклонники юного гасконца обвиняют меня в страстности и недоброжелательности, пусть! Я действую научным методом. Да здравствует Дж. Морено! Да здравствует Александр Дюма! Механику взаимоотношений и интересов внутри микрогруппы он осознавал ничуть не хуже основоположника социометрии.

Д'Артаньян движет действие, он побуждает, увлекает, завораживает. Это его ненавидит миледи, им восхищается Бекингэм, это его мечтает перетянуть к себе на службу Ришелье. Мы неусыпно следим за его возвышением до той минуты,



когда исполняется наконец его мечта «перевернуть мир»: умирающий от разрыва ядра новоиспеченный маршал Франции тянется к маршальскому жезлу.

Конечно, д'Артаньяна следовало убить именно так, на вершине славы, истребив его в открытом бою: с помощью интриги к нему не подступиться.

Но умирать, сжимая в скорчившейся руке маршальский жезл, тянуться, умирая, к пустому, призрачному знаку власти — в этом есть что-то глубоко жалкое.

Суетность и хвастливость физиологически торжествует в конце столь блистательной жизни...

\* \* \*

Хорошо, допустим, д'Артаньян не очень годится, скажете вы мне. Действительно, слишком меркантильный у него подход к жизни, к дружбе, к приключению. Зато есть в книге Атос, благородный и какой же жизненный персонаж! Жизнь, подчиненная только высоким принципам!

Давайте посмотрим, что несет подобное поведение близким людям. Давайте примерим этому насквозь благородному господину костюмы современных методов психологических и социологических исследований. Сначала — его положение в микрогруппе. Он не лидер, он не принимает решений, с видимым облегчением соглашаясь с мотором — д'Артаньяном. Он не оппозиционер, неизбежное лицо в маленьком коллективе, оттеняющее своей поверхностной оппозиционностью правильность всех решений. Зато он тот, без кого трудно обойтись, он та самая — в единственном числе! — эталонная группа, на которую беспрерывно оглядываются все остальные не в поисках точных путей принятия жизненно важных решений, нет, в поисках рисунка поведения среди других людей.

Атос — развернутая программа поведения, соотнесенная со строгим ритуалом. Мало того, он к тому же эталон так называемого «хорошего человека» в том смысле, в каком понимают «хорошесть» очень многие люди, взрослые и невзрослые, и в XVII, и в XIX, и в XX веках. Изысканная внешность, ироничный ум, всегда ровное расположение духа, вспышки душевного величия, редчайшее хладнокровие, разносторонняя образо-





ванность. Что еще надо? К тому же честность его безукоризненна. Правда, он игрок, играет несчастливо, но никогда не берет денег у своих друзей, хотя его кошелек для них всегда открыт. «Если он играл на честное слово, то на следующее утро, уже в шесть часов посылал будить своего кредитора, чтобы вручить ему требуемую сумму».

Благородно, не правда ли? А если бы вы дали кому-нибудь деньги в долг, вам было бы приятно, если бы вас подняли за это с постели в шесть часов утра?

А если у всей компании нет денег и Атос швыряет последнее в качестве чаевых, это удобно? А если он отдает кошелек с золотом не своим, а чужим слугам, это справедливо?

Все в восторге.

Всем — подсознательно — досадно.

Отдать последнее не из любви к ближнему, а чтобы не выглядеть смешным. Разве каждому из нас это не присуще в той или иной мере? Разве мало среди нас бродит подобных Атосов? Мучиться, давая шоферу такси на чай: сколько ни дашь, все мало, а не дать нельзя, нарушишь ритуал, будешь выглядеть в глазах человека, с которым столкнулся раз в жизни и разошелся навсегда, жалким провинциалом. Эффектно оставить последние деньги в ресторане, а потом до стипендии или зарплаты давиться пельменями...<sup>1</sup>

Перечитайте-ка все сцены, связанные с Атосом, только с этой точки зрения. Сквозь все многотомное повествование проходит чванливый лозунг, фраза, сказанная им, когда ему предложили стать лейтенантом мушкетеров, давно ставшая расхожей цитатой: «Слишком много для мушкетера Атоса; слишком мало для графа де Ла Фер».

Беда в том, что Атос ни то ни другое. Он выпал из своей основной социальной роли и не совсем по правилам играет новую.

Если бы не осмотрительность д'Артаньяна, на первых же страницах повествования нашим доблестным мушкетерам не сносить головы: Атос не удосуживается склоняться под ядрами. В шляпе с плюмажем разгуливает он там, где любой здравомыслящий человек — во все века! — проползет на брюхе.

Есть такое несколько наивное в своей прямолинейности, тем не менее очень точное по смыслу выражение: «А пошел бы ты с ним в разведку?» Так вот, доложу я вам, с мушкетером Атосом лично я в разведку бы не пошла: нас ухлопали бы не-

---

<sup>1</sup> О том, почему ритуалы необходимы в повседневной жизни, подробно рассказывается в статье Ю. С. Мартемьянова и Ю. А. Шрейдера «Ритуалы — самоценное поведение», сб. «Социология культуры», вып. 2. М., изд-во «Советская Россия», 1975.



медленно. Ухлопали бы из-за его копеечной бравады. Он принадлежит к числу тех так называемых «благородных», кому наплевать не только на собственную жизнь, но и на жизнь своих друзей. Из каждого его поступка выпирает только одно — боязнь показаться трусом, то есть тоже своего рода страх и неуверенность в себе. Он человек глубоко не свободный и своей несвободой связывающий свободу других людей.

(Поведение своих ближайших друзей, с кем мы пошли бы в разведку, и любимых литературных героев, с кем могли бы пойти, живи они на самом деле, стоит додумывать до конца: стоит знать, с кем ты имеешь дело — в жизни и в воображении.)

Нет, Атос малопривлекателен в роли мушкетера.

Граф де Ла Фер еще менее симпатичная личность: человек, способный поднять руку на женщину! Допустим, его честь была возмущена открытием королевской лилии на ее атласном невинном плече. Но вешать ее за это! Если этот факт его уязвил, пусть вешается сам, зачем же другими распоряжаться! Откуда ему было известно, что наказание справедливо — миледи в те годы была совсем девочкой. Талантливая, честолюбивая, динамичная натура, миледи имела все основания озлобиться после того, как ее случайно «недоказнил» благородный любящий муж. А вначале он и впрямь вел себя благородно! Женившись на бедной девушке, пренебрег сословной честью. Отдадим должное его незаурядной для XVII века гражданской смелости. Но простить заклеявленную воровку — нет, «слишком много для графа де Ла Фер»!

Я рассматриваю картинку в книжке: миледи болтается на дереве с нелепо вывернутыми руками. Мне грустно. Прощайте, мушкетер Атос, граф де Ла Фер! Я прощаюсь с вами, возможно, и потому, что я из второй половины XX века, слишком щедро он полит кровью, наш век, а уж казнить женщину без суда и следствия — это отвратительно!

...Вместо величественного в своем небрежении к жизни и смерти «эталона» — перед нами человек жестокий, несчастный и слабый.

Слабый еще по одной причине. Об истоках таких слабостей много спорят в современных науках о человеке. Какими бы ни были все остальные мушкетеры, у них есть свои цели, высокие или не очень — неважно, важно, что сами они меняются на протяжении повествования, о чем-то мечтают, куда-то стремятся.

Окостеневшим в своей гордыне оказывается один Атос. Только у него одного неизменно то, что психологи называют «мотивационной структурой личности».



О происхождении мотивов, о побудительных силах, «толкающих» человека по жизни, существует огромная литература. Много десятилетий, не прерываясь, идет среди ученых острая полемика. С конца прошлого века, со времен первых работ Зигмунда Фрейда, в психологии установилось прочное деление на мотивы сознательные и бессознательные. (В философии, древнейшей из наук, оно было отмечено гораздо раньше.) Человек может не осознавать, почему он поступает так, а не иначе. Он может обращать внимание на вещи несущественные, отказываясь видеть совершенно очевидное, грозное, живя так, как будто это очевидно грозное как бы и не существует. Он может делать больно близкому человеку, не догадываясь, что делает это преднамеренно. Он может быть свято убежден, что хочет одного, а на самом деле хочет-то он совсем другого. Задача психиатра, психолога, психоаналитика — в разговоре с пациентом выявить истинные мотивы его поведения и тем самым ему помочь.

Так или иначе, но человек неосознанно подготавливается, созревает до того или иного поступка, решения, выбора. Хорошо показал это в своих работах советский психолог Дмитрий Николаевич Узнадзе. Проведя большое количество экспериментов, он выдвинул гипотезу об установке — общей готовности личности к той или иной деятельности. Человек непрерывно что-то совершает, выражаясь научно, самореализуется. Но прежде чем самореализоваться, он «самоактуализируется» (термин, введенный в психологию американским исследователем Абрахамом Маслоу).

Самоактуализация — следствие сложнейшего переплетения и борьбы мотивов, столкновений человека с теми или иными обстоятельствами жизни.

Исследованием механизмов самоактуализации пристально занимаются ученые. И это понятно. Это основа основ личности. Это тот межевой знак, который разделяет отношение исследователей к человеку, к обществу, к законам, по которым общество развивается.

Ученые, по существу, спорят о двух моделях личности: модель равновесия, баланса — гомеостата, модель непрерывного устранения напряжения, как цели всякого поведения, и модель личности деятельной, жаждущей бесконечного становления, развития, совершенствования.

Непрерывное развитие, возникновение все новых желаний, стремлений, интересов, глубоко пристрастное отношение к внешнему миру — вот что такое вторая модель, вот что такое самоактуализация.



Можно ли изучать поведение наших мушкетеров с позиции этих двух противоборствующих моделей? Что касается гомеостата, то им, грубо говоря, на страницах «Трех мушкетеров» как будто бы и не пахнет. Что же касается идеи самоактуализации личности в ее конкретно-исторических условиях, то о ней, видимо, стоит поговорить в применении к характеру Атоса.

Прямо скажем, Атос — совсем не простой случай по части самоактуализации, дела с ней обстоят у него плоховато.

\* \* \*

Тут, пожалуй, следует сделать небольшое отступление. В наших психологических оценках легко впасть в ошибки социально-исторического свойства. Каждый век, каждая эпоха выдвигают свои мотивы, свои самоактуализации (что делать, приходится использовать это мудреное словечко). Психологические же структуры человека меняются очень медленно. Во все времена людям присущи чувства долга, совести, чести, гордости, мужества, красоты. Чувства, казалось бы, одни и те же, мы называем их одними словами, но каждый век наполняет их собственным содержанием. Меняются не наши чувства, меняются объекты приложения чувств, то, что имеет для нас особую важное значение — «система ценностей».

Предмет грез для дворянина XVII века — улыбка королевы, протянутая ею для поцелуя рука. Естественно, подобные ценности вызывают у нас только легкую усмешку. Вещи же глубоко серьезные, то, из-за чего люди шли на смерть, вопросы веры, вопрос о том, на каком языке читать молитвы, на латыни или по-французски, требуют от нас не понимания, нет — понять это можно, — особой сосредоточенности для «вчувствования».

То, что для людей XVII века естественные правила общения, — для нас унижение. Их и наши понятия о гордости и чести в сфере ритуала — диаметрально противоположны. Представьте, вас вызывает начальник к себе в кабинет: «Иван Петрович, вы прекрасно справились с заданием, вот вознаграждение», — и вам в руки летит кошелек с банкнотами. А вы его не ловите: вы знаете, это взятка. И вообще что-то подозрительное. Вам хорошо известно, что оценка работы производится у нас обществом в лице руководителя предприятия; от имени общественных организаций мы получаем грамоты, кубки, медали, премии.

А у них... «В те времена понятия о гордости не были еще в моде. Дворянин получал деньги из рук короля и нисколько не чувствовал себя униженным».



С другой стороны, если нас с вами обругали на улице разными нехорошими словами, если нам наступили на ногу в автобусе или поглядели косо на работе, нам, конечно же, неприятно, но не более того. А в XVII веке? Дворянин обязан был хвататься за шпагу, это был вызов чести, пусть жалкий буржуа побежит прятаться в свою лавку и загребать деньги, дворянин обязан отомстить, иначе его засмеют. Это одна из категорий морали XVII века.

Если бы мы за каждый косой взгляд, за каждую отдавленную ногу в перенаселенных городах бросались бы мстить обидчикам, людей на земле осталось бы, наверное, довольно мало.

Другое ценилось, за другое умирали, по другим причинам страдали, другим событиям радовались. Другое поражало воображение даже в мелочах, которым мы не придаем ровно никакого значения.

Тысячелетиями восхищались люди водопадами. Для нас же они не только чудо, а еще и нечто связанное с электрификацией, искусственными плотинами, водопроводом, трюками с рекламным спусканием в бочках в водопадной струе, как это делают американцы.

В Голландии, да и во всем мире, очень любят тюльпаны, но представить себе маньяка, готового отдать за эти цветы жизнь, трудно. А в те давние времена в соседней с Францией Голландии царило помешательство на тюльпанах, и тот же Дюма зарегистрировал его в своем романе «Черный тюльпан».

Этими выхваченными из самых разных областей жизни примерами мне хотелось показать только одно: мы все время забываем, что наш «словарь мотивов» вовсе не универсален. Опасно пользоваться им, читая о людях других веков. Мы же, читая книги, приписываем «их героям» только свои мотивы.

Под влиянием развития производительных сил меняются производственные отношения, меняется мир, меняются объекты приложения чувств. Мотивы. Но сам-то человек остается, остаются его жизненная активность, направленность его побуждений. Во все века остается созидательный труд, формирующий личность.

«Труд создал человека» — создал и создает ежечасно. Это не прописная школьная истина, это научное положение, которое экспериментально подтверждает каждый живший и живущий на земле человек. Нелепо считать, что «трудовой» эксперимент проводили на себе только наши далекие предки: дескать, иначе, едва спустившись с деревьев и забравшись в пещеры, они не только не вышли бы из них, но и не нарисовали бы на своих скалах бизонов и мамонтов и первых охотников за ними — первых мушкетеров. Нет, все гораздо сложнее





и в онтогенезе и в филогенезе — в истории развития человечества и в истории одной судьбы.

Человек трудится, человек создает себя в процессе труда, «человек обязан быть тем, чем он может быть», — утверждают психологи. Иными словами, человек обязан перед собой, перед другими, перед будущим реализовать в себе то, что заложено в нем природой. Иначе он погибает не физически — духовно. Если бы этой социально обусловленной тяги к реализации своих возможностей в людях не было, не родилось бы современное человечество.

\* \* \*

...Нашему Атосу отпущено и природой и воспитанием гораздо больше, чем остальным. Но все, что ему дано, пропадает втуне. Больше того, ничего, кроме зла, не несет в мир его прославленное благородство. В конце романа десять здоровенных мужчин под руководством «хорошего человека» Атоса казнят своей властью женщину. Д'Артаньян не выдерживает: «Я не могу видеть этого ужасного зрелища». Атос отстраняет его и хладнокровно продолжает спектакль незаконного суда. Он



свято убежден в своей правоте и чудовищных злодеяниях бывшей жены, хотя, кто его знает, не послужило ли поведение Атоса той ракетой-носителем, которая вывела на орбиту безудержное честолюбие и жажду мести этой женщины?

Атос казнил ее, подчиняясь только собственным прихотям и чувствам. Так Печорин, отдаваясь разочарованию и скуке, по существу, виновен в гибели Бэлы.

Все совсем другое, все совсем непохоже. Похоже только одно — темперамент, его проявления. Атос, лишенный иллюзий относительно достоинств рода человеческого, немного смахивает на Печорина, опрокинутого в XVII век. «Надо рассчитывать на пороки людей, а не на их добродетели» — разве это не мог бы сказать не Атос — Печорин?

Лермонтов писал своего «Героя нашего времени» в те годы, когда мушкетеры еще не родились из-под скорого пера Александра Дюма. Но и сам Лермонтов и его герои увлекались остросюжетными историческими романами. Помните, накануне дуэли Печорин читал «Шотландских пуритан» Вальтера Скотта, «увлекшись волшебным вымыслом». Атос при всем различии литературных жанров — слегка Печорин. В совсем разные исторические костюмы они одеты, но и Печорин жесток. И Печорин слаб. И Печорин выбит из седла (совсем другими, социальными, но тоже печальными) обстоятельствами жизни.

\* \* \*

...Как плотно заселена мировая литература как будто бы совсем непохожими друг на друга людьми! Даже если нам рассказывают не о человеке, а о растениях, животных, птицах, предметах вещного мира, все равно с удивительным однообразием речь идет об одном — о нас самих и наших взаимоотношениях друг с другом и внешним миром. У Киплинга в «Маугли» действуют звери. Там Багира, черная пантера, в ней заключено все, что есть страшного и очаровательного в женщине. Баллу — вот каким должен быть учитель. В змее Каа мудрость и сила. Согласитесь, редкое сочетание: как часто мудрость бессильна, а сила — тупа. Звери Киплинга — прообразы некоего идеального мира человеческих отношений. Вот, должно быть, почему мне вспомнился Редьярд Киплинг: у Дюма его герои и их жизнь тоже прообразы, по мнению тысяч читателей, идеального мира бесконечного приключения.

У Киплинга его звери, у Дюма его люди — воплощенные образы. Все носители тех или иных, так кажется авторам, так кажется и читателям, идеальных человеческих качеств.

Читая книги разных веков и о разных веках, читая книги по правилам, заключенным в них, а не в нас, то есть не путая



«словари мотивов», все равно неизбежно мы ищем — для этого-то мы книги и читаем! — что между ними и нами общего, вечно человеческого.

Но стоит читать книги еще по одному правилу, стоит при-смотреться, что общего в литературных персонажах разных времен и народов, существует ли некая между ними ускользающая от нас похожесть.

Давайте попробуем! И тогда мы увидим. Нет, Атос и Печорин слишком поверхностная, чисто «характерологическая», как сказал бы психолог, аналогия. И потом, их разделяют всего каких-то два века! А если «мерять» тысячелетиями? Мы увидим: в герое древневавилонской «Повести о невинном страдальце», ужаснувшись злу, царящему в мире, его глобальности в масштабе глинобитного городка, семьи, родной общины:

День — усталость, ночь — рыдания мои.  
Месяц — причитания, уныние — год.  
Жалуюсь горько все дни мои,  
В песне стоны я выпускаю.  
От слез опущенные веки опухли.  
Срок мой истек, я вижу пределы в жизни,  
Оглядываюсь кругом, о ужас,— вокруг зло, только зло! —

в неспособности безвестного страдальца этому злу противостоять, понять его истоки чудится невыносимо далекий прапрапредок шекспировского Гамлета. Разумеется, на «гамлетовские вопросы» он отвечает по-древневавилонски — горьким смирением: торжествует психология человека X века до нашей эры, психология раба.

Но «невинный страдалец» уже усомнился! Великая победа в процессе становления человека! Гамлет, через XXVII веков он рождается! В «невинном страдальце» — его робкое обещание.

А в буйном герое великой эпической поэмы о Гильгамеше<sup>1</sup> просматривается Фауст Гёте с его вопросами о тайнах мироздания, о смысле поисков и страданий человеческой мысли.

В тоске моей плоти, в печали сердца,  
В жару и стужу, в темноте и во мраке,  
Во вздохах и плаче — вперед пойду я! —

воскликает Гильгамеш в горечи, порожденной гибелью своего друга Энкиду.

---

<sup>1</sup> «Поэзия и проза Древнего Востока». М., изд-во «Художественная литература», 1973, с. 166, «О все издавшем», со слов Син-Леке-Уннинни, заклинателя.



В Одиссее, хватко прибирающем к рукам все, что плохо лежит, одержимом жаждой гнаться неведь куда, неведь зачем, заключено такое количество самых разномастных литературных героев, что затруднительно их и перечислить. Впрочем, немного мы об этом уже говорили, о тех неузнаваемых обликах, в которые чем ближе к нашему веку, тем смущеннее рядится та или иная грань одиссейства.

«Невинному страдальцу» далеко до хитроумного Одисея.

А с другой стороны, нашему европейскому любимому Одисею далеко до шумеро-вавилонского Гильгамеша — не тот масштаб дерзаний и страданий духа. А ведь Гильгамеш — старший брат «невинного страдальца». Он старше его по крайней мере на... две тысячи лет. Значит, по той же арифметике Одиссей путешествовал по своим морям, гротам, островам на целые две тысячи лет позднее путешествия Гильгамеша на дно океана за травой бессмертия.

Одиссею далеко до Гильгамеша — их разделяют две тысячи лет. Но и нам ведь не всегда близко до Фауста и Гамлета. Бывают минуты, мы им завидуем... Завидуем странной завистью: их несчастьям, их сомнениям.

\* \* \*

Нет, аналогия Атос — Печорин неправомерна.

Наш Атос в исторической перспективе просто счастливчик по сравнению с Печориным. Темпераменты их, безусловно, сходны: ничего не скажешь — похожи. Но Атосу и не снилась мера одиночества, доставшаяся «лишнему человеку» в России в первой трети XIX века. У Атоса нет целей и смысла существования, но у него есть друзья, их еще не отняло историческое время. Невозможно представить себе Печорина среди приятелей — кругом вражда и непонимание. Даже добрейший комендант крепости (чем не тень Портоса в робком, российски-забитом, жалостливом его варианте?) и тот для Печорина тягостен и не нужен.

И все-таки, все-таки в Атосе очень много от галереи философических героев, со спринтерской быстротой бегущих в приключения от собственных внутренних неудач. В нем много, если читать очень-очень внимательно, не пропуская деталей, от героев современной западной литературы, растерявшихся, мечущихся, выливающих на мир вспышки так называемой спонтанной (неожиданной, непреднамеренной) агрессии, разряжающих с помощью разнообразных подручных средств дурное настроение и скуку.

Скуку — вот, пожалуй, главное слово. В XVII веке от ску-



ки убегали в приключение. В XX веке с приключениями стало туговато. Приходится изыскивать другие методы. Приходится их срочно организовывать. Искусственно организованные приключения, как роботы в фантастических рассказах, то и дело выходят из-под контроля их создателей, приобретают социально опасный характер. Вот ведь где заключен очередной парадокс наук о человеке! С одной стороны, психологи и физиологи внимательнейшим образом начали изучать — буквально в самые последние годы — феномен так называемого «сенсорного голода», то есть недогрузки органов чувств — зрения, слуха, осязания — впечатлениями извне. Сенсорный голод может возникнуть в глубоком одиночестве, при суровых и однообразных условиях работы, в кабине батискафа, в космическом корабле, на одинокой зимовке. В связи с возникновением новых ответственных профессий, связанных с возможным сенсорным голоданием, проводятся многочисленные эксперименты: через сутки после полной изоляции и отсутствия внешних шумов с человеком, с его психофизиологией происходит то-то. Через двое суток начинаются галлюцинации, через трое... и так далее. Психическое состояние человека резко меняется: появляются беспокойство, тревога, даже злобность, снижается уровень самоконтроля, растет внутренняя напряженность. Нервная система человека устроена таким образом, что она не выдерживает нехватки впечатлений: под угрозой распада оказываются не отдельные органы — сама личность.

Тех, которых мало, которые напряженно на всех на нас работают, потому что они убеждены: еще не все открыто на земле и в самих себе, — словом, людей сильных и цельных наука изучает и старается им помочь: какие меры предпринимать, когда человек в своей работе сталкивается с сенсорным голодом и голод этот мешает ему мыслить.

А вот людей слабых, жалких, трудных, одержимых «бесом» сенсорного голода, тех, кому требуется реальная психологическая помощь, наука изучает с трудом и робостью: как к ним подступить?

В самом деле, о какой недогрузке органов чувств может в наше время идти речь — сплошные перегрузки: только уши уже не слышат и глаза не видят, и работа мозга — помеха, и тело бежит труда: все опостылело. Накопившаяся скука разряжается в мир выхлопами спонтанной агрессии. Открывать уже нечего, все давно открыто Гильгамешами, Одиссеями, Буддами, Колумбами, Резерфордами. Скучно! Одержимые «сенсорным недоеданием» толпами мечутся по миру, переполненному шумом и грохотом.

В XVII веке со спонтанной агрессией было куда проще. Для избранных, для феодалов она легко прикрывалась риту-



алом — коли шпагой, задирайся, никто тебя не осудит. У тебя скука, разочарование, лилию ты обнаружил на любимом плече, у тебя, как любезно разъяснили бы в XX веке, сенсорный голод личности, — выход прост: легко обрушиться на других, зависимых от тебя, слабых, излить на них свое раздражение и скуку: «Атос без малейшего гнева избивал Гримо. В такие дни он бывал несколько разговорчивее». Слуг в те далекие годы избивать, разумеется, не возбранялось, но уж слишком много обмолвок подобного рода позволяет себе по отношению к своему любимцу писатель.

И вот ведь чудо репутации «хорошего человека» — эпизоды спонтанной агрессии Атоса, а они разбросаны по всему роману (то он избивает своего слугу, то он заставляет его жевать и проглатывать записки, то приучает молчать и изъясняться только жестами, то заставляет пить, то, напротив, выпить не дает) — эти эпизоды мы не замечаем!

Это в XX веке скуку и пустоту жизни трудно не заметить, ибо их труднее подменить действием: полуузаконенным убийством, законной дракой, ссылкой на соблюдение ритуала. Спонтанная агрессия носит далеко не ритуальный характер: общество слишком далеко продвинулось вперед по пути соблюдения законности и защиты прав личности. В нашей же стране закон в равной мере распространяется на всех. И если вернуться к вопросу о возможной жизни героев в ином времени и иных социальных обстоятельствах, то от благородства графа-мушкетера в конце XX века не осталось бы ровным счетом ничего.

Атос несет в мир только разрушение (в рамках «Трех мушкетеров»). Уж лучше хвастливый гасконец, уж лучше лукавый, увертливый Арамис!

\* \* \*

Правда, с Арамисом у меня всегда были сложные отношения. Вот уж кого я всегда терпеть не могла: только и знает пощипывать мочки ушей, чтобы выглядели прозрачными и розовыми, только и потряхивает поднятыми вверх руками, пытаясь придать им белоснежность. Не мужчина — кокетка, чьи карманы набиты надушенными платочками с герцогскими вензелями. Арамис — формальный член нашей микрогруппы, он ни на что не притязает, хотя, конечно, намного умнее д'Артаньяна. Его присутствие среди мушкетеров чисто внешнего свойства. В мыслях своих он далеко-далеко, он метит выше, он провозвестник развала юношеской дружбы и начала взрослой жизни, где у каждого — свое. Для него больше, чем для всех, дружба — состояние временное, та полоса безумия, которую необходимо пройти юному человеку. (В этом смысле он более





бескорыстен в дружбе, чем остальные: ему меньше от всех других нужно.)

Современные психологи азартно разрабатывают теоретические модели дружбы, прослеживая в истории ее социально-психологические истоки. Они учитывают все: пространственную близость — она облегчает регулярное общение; психологический баланс общения — дружба не разрушится, если удовольствия, которые она доставляет, весомее ее неудобств; степень сходства личностных свойств, взаимодополнительность психологических потребностей, меру глубины коммуникации.

Для Арамиса в дружбе, если принять пункты социологов, существенна только пространственная близость: пока друзья маячат где-то рядом, он хотя бы внешне следует за ними. А так он целиком погружен в свой внутренний мир, состоящий из латинских стихов, молитв и увлечений знатными дамами. В дружбе важен элемент взаимодополнительности. Арамис не нуждается ни в какой взаимодополнительности. Для истинной дружбы он человек случайный: слишком себе на уме. «Себе на уме» — его жизненное кредо, правило, от которого он никогда не отступает. «О милый д'Артаньян, — советует он в печальную минуту своему приятелю, — послушайте меня, скрывайте свои раны, когда они у вас будут. Молчание — это последняя ра-



дость несчастных; не выдавайте никому своей скорби. Любопытные пьют наши слезы, как мухи пьют кровь раненой лани»... Арамис никогда и ничего не рассказывает даже своим друзьям, за которых готов отдать жизнь.

Но — и в этом парадокс всяких непростых человеческих объединений — «себе на уме» делает его крайне необходимым для процветания всей четверки. В социометрических построениях стрелочки тянутся к Арамису только тогда, когда для безопасности группы следует знать все последние новости.

Итак, теперь понятна роль Арамиса? Он «хорошо информированная личность». Он в своем XVII веке обладает главным оружием века XX, как сказал бы о нем Лешкин папа — «высокой степенью информированности».

И все-таки Арамис слишком предусмотрителен, слишком ловко для своих 23 лет прячет концы в воду. Слишком он дальновиден.

Дальновидность хвастливого гасконца даже привлекательна — она откровенна. У Арамиса же все прикрыто пышными словесными декорациями — любовью к философии, стихами. Арамис откровенный прагматик — деловой человек. Арамис хочет простого — закулисной реальной власти, а ведет себя сложно.

...Итак, любить в этой четверке вроде бы некого. Разве что Портоса, эту грудку невинного в своей глупости мяса. Вот уж кто, кстати, фигура наиневобходимейшая. Три ярких индивидуальности одновременно — это слишком много: им легко не договориться. Для «прокладки» нужен четвертый, ведомый, на все согласный, не задающий вопросов, не пытающийся даже соображать, что происходит.

Портос как надежные тормоза: на нем можно спустить любой груз неприятных сюрпризов. В любой дружбе в любые времена необходима такая фигура. Недаром его любят больше других. На общение с ним не нужно тратить душевные силы. Эта гора мускулов — легкий друг. И потом, ничтожный человек нужен рядом, чтобы время от времени ощутить мир на уровне ничтожества его потребностей: ценность просто жизни, вкус глотка вина, хорошо прожаренного мяса, тепло мягкой постели. В любой микрогруппе безобидные люди всегда на вес золота.

Они недостаточно ценят своего Портоса, эти заносчивые мушкетеры! Ни они, ни сам Дюма, пожалуй, не понимают, насколько большой вклад вносит Портос в эту дружбу — он единственный растворяется в ней целиком и тем самым ее скрепляет. Он цемент самого высокого качества. Он глуп, надежен и тем прелестен.



## Анкета

Пора было делиться с Лешкой своими уничтожающими его любимчиков выводами. Пусть восторжествует, наконец, высокая информативность развивающейся личности. Языки, математика, физика, русский (для вступительных экзаменов в институт) — вот в чем смысл жизни ученика седьмого класса!

Да будет так!

Так не вышло! Получилось все наоборот.

В эти дни я невольно разговаривала с разными людьми о моих мушкетерах: если каждый вечер раскладываешь пасьянсы из карточек, поневоле разговоришься. Разговоры были всякие, но смущало в них одно: взрослые и не совсем взрослые говорили о мушкетерах с радостью, заметно оживляясь, как о чем-то своем, включенном в жизнь, только существующем где-то там, в стороне, словно мираж, увиденный, поразивший и остающийся в памяти.

Однажды проездом забрели ко мне в гости психологи. Ехали они из одного конца страны в другой, ехали поездом: погода была нелетная. Уже успели измучиться в дороге. Впереди путь тоже предстоял дальний. Разговор шел о конференции, куда везли они свои доклады, о трудностях развития нового дела, о нехватке квалифицированных кадров, о необходимости развивать и поддерживать новые психологические направления, о том, что психологические исследования нельзя отдавать в ненадежные инженерные руки, а инженеры и технократы рвутся перехватить инициативу, уверенные, что их точная наука и хорошо устроенные головы все одолеют.

Поезд их пришел в Москву в четыре часа утра, явились они ко мне из вежливости только в девять, бродили все утро неприкаянные по холодной осенней Москве. Завтракая, рассказывали о своих делах и докуках, и вдруг под руку одному из них — мушкетеры. И пауза неожиданная среди шума, и улыбка откуда-то издалека.

— Вы читаете Дюма? Как я вам завидую! Какие чудесные ребята!

И подавленный вздох, и смутная печаль, и возвращение — с усилием — к прерванному разговору. И откровенная зависть: живут же люди, наслаждаются, Дюма перечитывают.

...А потом еще один случайный разговор с человеком военным, деловым, педантичным, хотя педант и обладатель Золотой Звезды Героя Советского Союза и степени доктора технических наук.

— Мушкетеры? Я их помню почти наизусть. Во время войны выучил. Они мне тогда очень помогли. В 1943 году я лежал в госпитале, мне дали читать «Трех мушкетеров». Потом я



узнал, что на Дюма была очередь и давали книжку только тем, у кого тяжелые ранения. Человек слаб, наверное. Я уже достаточно хлебнул войны в натуре и с удовольствием отдыхал от нее в воображении. Отдохнул и снова пошел воевать.

Вот после этого разговора я и засомневалась: одну-единственную на весь госпиталь книжку читали только тяжело раненные: Дюма считался проверенным лекарством. Сама я вольна думать об этих проходимцах что заблагорассудится, но имею ли я право учить Лешку, выполняя сугубо утилитарные поручения его родителей?

...Выход нашелся. Самый что ни на есть простой.

Социология. Мушкетерская социологическая анкета, призванная осветить истинное положение дел.

Любая анкета состоит из двух частей. Первая часть, в социологическом просторечье — объективка, собирает объективные сведения, разбивая опрашиваемых по каким-то определенным категориям: пол, возраст, образование, профессия, житель сельской или городской местности. Вторая состоит из вопросов по существу. Главное — найти ключ для обработки: объективку нужно связать с вопросами, вскрыть между ними необходимые статистические закономерности — корреляции.

Вопросов для простоты обсчета семь:

1. Кто из мушкетеров вам больше всего нравится?
2. Если они вам не нравятся, то почему? Назовите основные отрицательные черты.
3. Как вы считаете, бывает ли такая дружба в реальной жизни? Есть ли она в вашей жизни?
4. С кем из мушкетеров вам хотелось бы познакомиться и поговорить?
5. Играли ли вы когда-нибудь в мушкетеров?
6. Вытеснили ли мушкетеров со временем другие литературные герои? Кто и когда?
7. Осталась ли эта книга в числе ваших любимых книг?

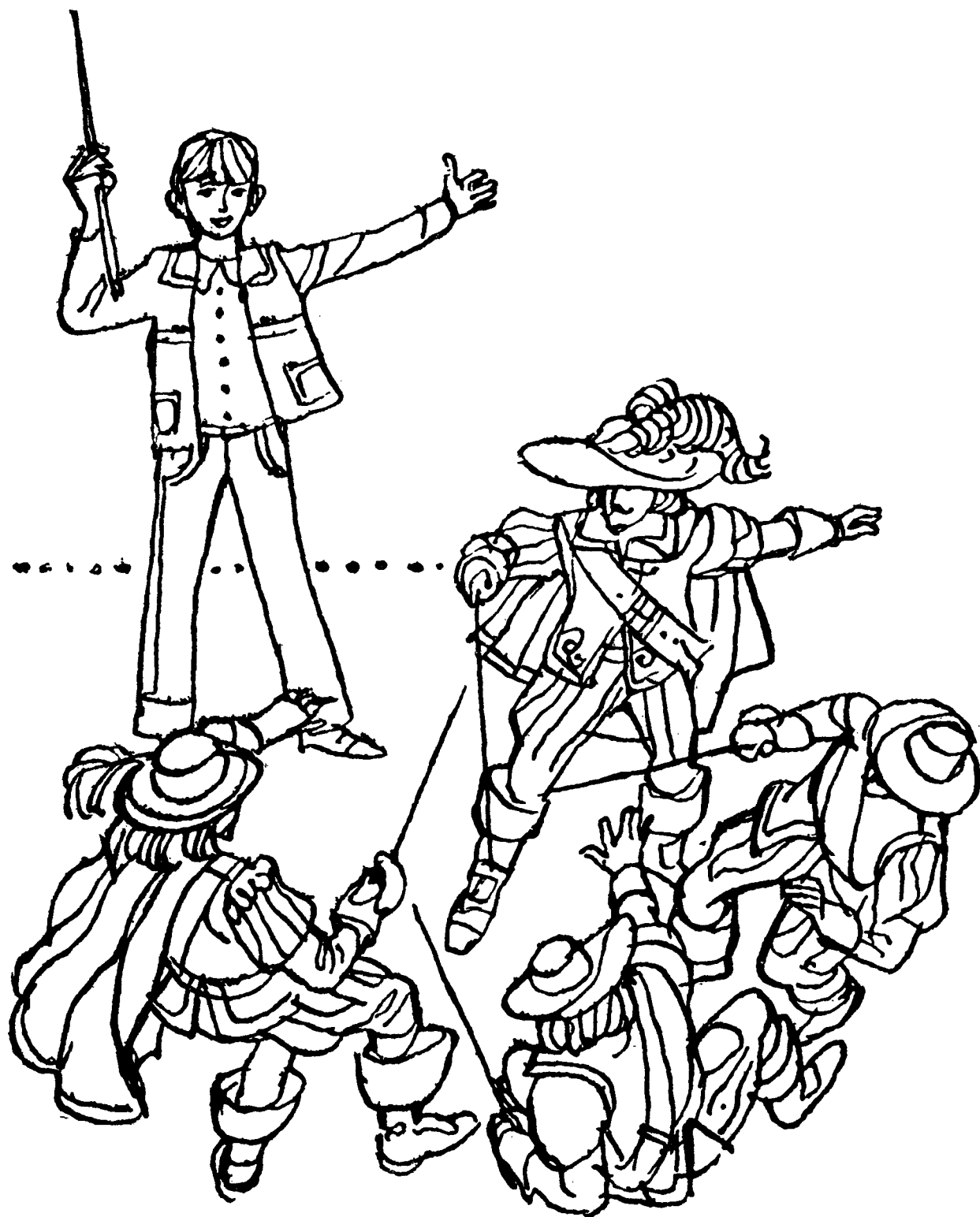
Объективка ориентировалась в основном на возраст: пятый класс, восьмой, десятый, 30 лет, 40 и 50.

Сто анкет, сто ответов. Сто разных почерков, сто людей, обремененных разным жизненным опытом.

Пятиклашки единодушны — всем до единого больше всех в четверке нравится д'Артаньян. Отрицательных черт в мушкетерах нет. Всем без исключения хотелось бы познакомиться и поговорить с Атосом. Все твердо убеждены, что такая дружба встречается, сами они дружат точно так же. Все играли и продолжают играть в мушкетеров.

Восьмой класс. Единодушие разрушено, симпатии распределяются между д'Артаньяном и Арамисом. Отрицательных черт в мушкетерах по-прежнему никаких. Посоветоваться о





своей жизни хочется не только с Атосом, но и с Арамисом. Восьмиклассники убеждены, что такая дружба возможна и встречается достаточно часто.

Десятый класс. Полная неожиданность. Почти всем (16 из 18) нравится... Портос. Отрицательных черт у мушкетеров довольно много. По душам предпочли бы поговорить с Арамисом. В свое время в мушкетеров играли с удовольствием. Разумеется, давно перестали. Нет, дружба такая почти не встречается, разве что в раннем детстве. Никто никуда мушкетеров не вытеснил, зато рядом теперь новые герои.

30-летние. Самый привлекательный из всей четверки — Арамис. Отрицательных черт у мушкетеров множество. Дружбы такой не бывает вообще. В детстве в мушкетеров не играли. Никуда они из памяти деваться не могут: то, что читаешь в юности, не забываешь, хотя мушкетеры (в большей половине анкет) народ несерьезный — их нельзя любить, они могут только нравиться.



40-летние. Арамис. У всех остальных масса недостатков. По-толковать любопытнее всего тоже с ним. В жизни такой дружбы не бывает — смешно на это надеяться. В детстве в мушкетеров не играли, тем не менее какое-то место в памяти они продолжают занимать.

50-летние. Единственный безусловный герой — Атос. Атос выбивает 16 из 16. Поговорить о жизни и всяческих проблемах разумней всего с Арамисом. Дружба такая безусловно бывает, есть и будет встречаться до тех пор, пока существуют люди.

Вот голая статистика.

Не стану подробно описывать, как добывались эти сто анкет: в школах на переменах и на уроках литературы, как подстерегались внезапными вопросами знакомые и незнакомые. Получился бы отдельный рассказ о том, как люди, за исключением дисциплинированных, ко всему привыкших по новой программе пятиклассников, глубоко убежденных в том, что личной тайны не существует и тебя имеют право спросить обо всем: и об Илье Муромце, и об отрицательных числах, о пестиках и тычинках, и о переживаниях, связанных с умиранием осеннего леса, и о замечательной девочке Маше, спасшей от верной гибели своего брата Колю, а значит, и о мушкетерах тоже, хотя они и не по программе, — как все люди, после 11—12 лет, предпочитают не раскрываться, не сообщать посторонним о себе ничего лишнего.

Уже восьмикласснику ясно, что, отвечая на вопросы, он рассказывает о себе, а вовсе не о литературных достоинствах и жизненности персонажей Александра Дюма.

Анкеты подтверждали тайные опасения: одним махом расправиться с мушкетерами, видимо, нельзя и просто нечестно. Предстояло осмыслить полученные результаты, установить корреляции между возрастом опрошенных и сущностью их ответов.

Тут начиналась область сугубо гадательная: наука, с помощью процедур которой был проведен этот опрос, не занимается подобными обобщениями. Современная наука вовсе не обязана отвечать на так называемые субстанциональные, то есть качественные вопросы.

Наука занимается количествами.

Социология, социальная психология, психология не рассматривают содержательную сторону деятельности человека, содержание его сознания. Они изучают структуры, механизмы, внешние связи — словом, все, что угодно, но только не индивидуального человека, не индивидуальное сознание.

Она любит его, он любит другую, а другая любит третьего. Почему так бывает, никто не знает. Вся жизнь состоит из



«никто не знает почему». Наука к этим «почему», то есть к тому, что и составляет основу нашей жизни, не имеет ровно никакого отношения. Больше того, пока она не в состоянии осмыслить результаты собственных исследований.

Десятиклассники привержены тупице Портосу, восьмиклассники ценят жизненную хватку Арамиса — почему? Современная наука не ответит на это. Для этого она должна коренным образом измениться. Как, какими путями, мы не знаем. Но со времен Иммануила Канта — он первым об этом заговорил — мы знаем, что сознание человека и мир внешних явлений, расположенных в определенном пространстве и времени, следует изучать разными способами. В философских категориях сознание и внешний мир — разные субстанции. Нужны совершенно новые, не открытые еще наукой методы для изучения индивидуального сознания. Обо всем этом круге идей, развивая кантовские представления, много пишет известный советский философ М. К. Мамардашвили<sup>1</sup>.

...А пока любая наука о человеке та же машина, работающая то хуже, то лучше, то совсем хорошо. Но ведь всего лишь машина! Нужно выяснить какую-то проблему — пожалуйста! Закодировали данные (в нашем простейшем случае мушкетеров). Проиграли, в нашем случае проанкетировали сто испытуемых. Наука-машина сработала. Вот она выплюнула нам какую-то информацию. Пятиклассники, вприпрыжку спешащие на ярмарку жизни, отвечают так-то. Пятидесятилетние, собирающиеся с ярмарки, думают то-то.

И все. Больше наука ничего не знает. И ничего не может. Здесь кончается сфера ее применения, здесь она сталкивается с процессами, в отношении которых нет точной информации, нет способов их получения и обработки, нет категорий, которые поддаются формализации.

Сто анкет, сто ответов — живой общечеловеческий опыт в чистом его виде.

Нет, неправда, что опыт этот не отражается ни в каких категориях. Категории эти существуют, только в сегодняшнюю науку они не вводятся. Она топчется перед ними, не зная и не смея, не посягая даже.

Речь идет о категориях нравственных. Они есть, они столь же значимы и объективны, как и категории научные. Просто они не поддаются научной обработке.

Когда-то очень давно, в начале 30-х годов, известный советский психолог Л. Выготский выделил в психологии понятия житейские и научные. Житейскими понятиями, надо сказать,

---

<sup>1</sup> М. К. М а м а р д а ш в и л и. Формы и содержание мышления. М., изд-во «Высшая школа», 1968.



он пренебрегал, занимаясь в основном сложными теоретическими построениями.

К двум понятиям, выделенным Выготским, следовало бы, пожалуй, добавить третье: понятия общечеловеческие, не научные и не узкожитейские — всеобщие. Правда, в разных поколениях они могут разниться друг от друга. И это естественно: у каждого поколения свои победы, обиды, огорчения — свой жизненный опыт. К этому опыту, к объяснению его механизмов мы подбираемся с помощью все тех же нравственных общечеловеческих категорий (куда более долговечных, чем беспрерывно обновляющийся научный инструментарий). Люди разных поколений оценивают и переоценивают эти категории на основании опыта — своего собственного и своего поколения.

Можно сколь угодно долго искать в сотнях ученых книг ответ на вопрос: почему одним нравится Атос, а другим — д'Артаньян, а третьим вообще на всех наплевать — и на людей и на мушкетеров. Можно, но ответа не найти, даже ответа по аналогии. Только зря время потеряешь.

Ответ быстрее обнаружишь в своей голове или, выражаясь по старинке, в душе, или в других головах и душах, только устроенных иначе, чем твоя. Можно не сомневаться в одном: самые беспомощные ответы даст наука или человек науки в те минуты, когда он выступает как ее полномочный представитель.

Но вот ведь странное существо человек! Тот же полномочный представитель науки, когда он не на кафедре, не в лаборатории, не на работе в секторе философских или каких-нибудь там иных проблем, а совсем в другой обстановке — дома за чашкой чая, в кафе, в гостях, отряхнув с себя свою науку и свою в ней роль, может сказать что-то совсем иное, простое, остро необходимое в эту минуту его собеседнику. В живом, неформальном общении он обретает роль обыкновенного человека. Он чей-то муж, чей-то сын, чей-то друг, он принадлежит какому-то поколению. Он говорит, говорит, но понимает ли, насколько же мало знает он о собеседнике, он, преуспевший научный работник, исследователь-экспериментатор? Сомневается ли он хоть иногда? Если нет, все пропало: в текущей науке он может сделать очень много. В науке, рассчитанной на минимальную долговечность, ему не уцелеть.

На мой вопрос о мушкетерах один такой экспериментатор ответил:

— Сложные объекты, понимаете ли, над ними надо долго сидеть, у меня сейчас нет времени. И вообще, ну их. Я их не люблю. У меня из-за них дочка однажды целый вечер плакала. Читает, понимаете ли, без конца «Трех мушкетеров». Девчонка ведь, не мальчик. Я думаю, как пресечь. Говорю: «За что их



любить? Они же дворяне. Где бы они были после Октябрьской революции? С белыми! Белогвардейцами бы стали, поместья бы свои защищали». Серьезно я это сказал, воспитательно, понимаете ли. А она — в слезы: «Нет, мушкетеры — красноармейцы». Теперь она мне назло про мушкетеров читает, доказать хочет, что я неправ.

Мой собеседник — автор нескольких книг о воспитании, скоростном обучении, научении, развитии мышления и прочая. Рассказ его — печальное свидетельство того, какая бездна пролегла в последние десятилетия в науках о человеке между наукой и личностью самого исследователя. Наука стремительно развивается, формализуется, решительно отсекая все «слишком человеческое». Оно не укладывается и не может в нынешнем своем состоянии (об этом мы только что вели речь) уложиться в научные категории.

При зарождении экспериментальной психологии, когда науки, собственно, еще и не было, слишком человеческое присутствовало в ней обязательно, заполняя вакуум незнания. Первые психологи, изучая тот или иной объект, опирались прежде всего на собственный опыт и здравый смысл. К объяснению полученных результатов они привлекали «ненаучные мотивы» — личность испытуемых, их потенциальные возможности, интересы, историю их жизней. Французы Жане и Рибо, итальянец Колоцца, американец Болдуин, работавшие на грани прошлого и нынешнего веков, даже современный старейший швейцарский исследователь детства знаменитый Пиаже оставили в своих книгах описание психического развития собственных детей, их поведения, становления различных их психических функций.

Иного выхода у молодой науки тогда не было: малость знания настоятельно заставляла не порывать с живой жизнью, с ее не просто житейскими, следуя классификации Выготского, но и общечеловеческими понятиями.

Сейчас наука знает несравненно больше и... несравненно дальше ушла от человека.

**Почему...**

Сто анкет, сто ответов. Категории нравственные.

Пятиклассники влюблены в д'Артаньяна.

Не в него они влюблены, они влюблены в действие. Поменьше вопросов, назиданий, нравоучений. Жизнь как кино: все время что-то происходит. Каждая минута, каждый кадр — смена впечатлений. Не Эйзенштейн, Анто-



ниони и Андрей Тарковский, а братья Васильевы: Чапаев, разрабатывающий план очередной атаки.

Шумят, визжат, хрюкают на уроках, химичат, взрывают. Все правильно, так и должно быть: хочу взрывать, хочу шуметь, играть хочу! Хочу получать новое каждую минуту!

Я расту, я действую, вот он я!

Опытный учитель знает: двенадцать лет — это гремучий газ. Если хочешь с ними уцелеть, играй. А информации в 45 минут надо успеть вложить так много. Тем более играй, заставляй их действовать.

Если вы со мной не умеете играть, сам буду играть! Но уж тогда берегитесь, граждане взрослые! Мне нужно излить на мир свое бесстрашие и отвагу. Удачливость в классе и школьных коридорах — трудная штука. Это значит быть не сильнее и быстрее всех, а всех увертливей, быть совсем таким само собой удачливым, как тот, кто так ловко обводил вокруг пальца самого Ришелье. Ловко одурачить учителя, ловко приврать завучу, ловко уклониться от летящего в голову портфеля.

Быть умным это что! Умным быть всякий дурак может! А вот удача — ее надо добыть!

За ветер добычи, за ветер удачи,  
Чтоб зажили мы веселей и богаче!

«— Кто там на бизань-мачте?

— Привет, Сильвер!

— Ребята, глядите-ка, д'Артаньян. Ты-то здесь откуда?

— Приказ ее величества королевы, немедленно переправьте меня в Англию.

— А нам наплевать на твою Анну Австрийскую, правда, ребята? Больно шустрый этот д'Артаньян. Не вздернуть ли нам его на рее?

— Сильвер, прохвост, тебе грозит опасность остаться без последней ноги. На руках ходить неудобно.— Д'Артаньян схватился за шпагу.

— Остроумный он парень, этот д'Артаньян. Не пригласить ли его к нам в компаньоны, как ты думаешь, мой старый товарищ, мой верный Израэль Хендс? Тут налаживается одна прогулка, господин мушкетер, выгодное дельце, смею доложить!»

...Остроумие — крайне существенная вещь в двенадцать лет. Остроумие на уровне Сильвера и д'Артаньяна. Остроумие на уровне «оторву последнюю ногу». Нахамить так, что весь класс грохнет, учительница хлопнет дверью, а к директору не вызовут — не к чему прицепиться.

Острая жажда справедливости и доброты. Но одно не отме-



няет другое. Добро приветствуется, быть добрым — хорошо. Но добро хорошо только как деяние. Все вокруг должны быть добрыми и справедливыми, но самому стоит делать добро так, чтобы все видели и заметили: «Какой хороший мальчик, какая милая девочка!»

Добро должно быть громким и демонстративным!

О твоей доброте должны узнавать тут же, немедленно!

А как же «Тимур и его команда»? — возразите вы мне. Они делали «тихие» добрые дела. Какие же тихие! Бегут, торопятся, давятся от смеха, сплошной восторг! Но главное — у них высшее честолюбие, в этот момент их всех объединяет тайна... никто ничего не должен знать. Но когда-нибудь все всё узнают.

Доброта с невольной, такой естественной в этом возрасте оглядкой на будущее признание.

\* \* \*

...Несколько лет назад я жила в маленькой деревеньке. Восемь изб жалось к берегу водохранилища. Тихо-тихо. Подъездных дорог нет, их затопило. Или иди в обход лесом, или подплывай на катере. Только по субботам остановится раз в день катер, сгрузит городских родственников да подплывут на байдарках за молоком туристы.

Как-то ночью я проснулась от звука пилы. Пилили рядом. Пятно слабого фонарика бегало по кустам, что-то шаря, нащупывая. Я стояла на заднем крыльце, размышляя, что делать: что за люди, откуда? Может, пьяные туристы развлекаются, не хочется им спать. И тихо глядеть на землю вокруг тоже не хочется, на черные в темноте силуэты стогов, на двойную излучину воды. А может, куражатся чьи-то приезжие родственники? Кто их знает, пилят же, не грабят!

Наутро был переполох — у соседской бабки Лизаветы неизвестные перепилили все дрова; бабка испугалась, бегала по усадьбе, проверяла, не стащили ли чего. Бабка была отродясь злой, с тех пор как ее помнили в деревне. Не немощная, не безобидная. И на руку нечиста. Вспомнила потом Лизавета, что приходили к ней днем ребята, обзывали себя неизвестным словом, предлагали помочь, бабка их прогнала: «Уходите, хулиганы, хорошо ли, плохо ли живу, а мое не троньте». Хулиганы вернулись ночью и перепилили дрова — из вредности, как решила бабка Лизавета.

Спустя тридцать с лишним лет в заброшенной деревне повторялась гайдаровская ситуация: вредная бабка и добрые тимуровцы, не подозревавшие, что именно эта бабка не нуждается в поддержке пионерской организации. Но можно ли было, после того как их выгнали, удержаться и не прийти. Вот



где настоящее приключение: ночью по лесу километров десять от ближайшей деревни, а потом быстрее-быстрее, чтоб собак не спустили, чтоб поспеть до петухов.

Вся деревня безвестных тимуровцев единодушно осудила: «Не зовут — не лезь».

Да как же не лезть! Что понимают выжившие из ума старики и старухи! Куда же девать подвиг, бесстрашие, лес с привидениями! Сколько бы ни запрещала им бабка Лизавета пилить дрова, все равно перепилят, пришло их время.

Сколько бы ни запрещали некоторые учителя и родители вроде Лешкиных читать ненужные книжки, все равно будут читать, все равно будут играть, все равно будут идти в ночь, чтобы испытать себя!

\* \* \*

А для восьмого класса всё далеко позади. Скачет где-то сам по себе д'Артаньян за подвесками, ковыляет, припадая на костыль, Сильвер, а я уже не с ними. Мне уже другое в литературе интересно.

В литературе — значит в жизни. Вот д'Артаньян: никого не любил, хоть и влюблялся, для него любовь всего лишь приключение.

А вот мне ужасно важно понять, что же это такое — настоящая любовь, и невероятно существенны все ее атрибуты: охи, ахи, записочки через весь класс. И если уж речь зашла о мушкетерах, то лучше всех, конечно же, Арамис: сплошное любовное томление, тайны, вышитые инициалы на надушенных платках. Вот уж когда я поняла, что наш Лешка действительно недоросток: его ребята перекочевали к Арамису, в сферу чувств, а он все еще хватался за игрушечную шпагу.

Арамис пишет стихи. И я пишу. Хорошие они или плохие — неважно, важно, что мне их хочется писать.

Мне тоже хочется быть красивым. Почему бы ему не пощипывать в своем XVII веке мочки ушей, чтобы они выглядели прозрачными! Пусть себе щиплет на здоровье, если это модно.

Почему бы мне не отрастить длинные волосы и не ходить в джинсах с бахромой в трескучий российский мороз — тоже модно. А если бы еще достать настоящий тулуп, овчину. Тулуп да на джинсы с бахромой — вот где высший класс. Да разве они позволяют! Разве они понимают, что такое красота!

Так хочется красоты! Хочется познакомиться и влюбиться в красавицу герцогиню, как Арамис. Не в титуле дело, как в веке XVII. Надо, чтобы все видели — красавица! Как в двенадцать лет доброта, так в четырнадцать-пятнадцать красота.



должна быть громкой, бросаться в глаза, сбивать с ног!

И еще одно хорошо в Арамисе: он, совсем как я, уже догадался — пора приниматься за дело. Он учится по мере сил, образовывается. Его не переспоришь в диспутах.

Я тоже хочу быть первым на диспутах, выступать, не конфузясь, не путаясь в словах. Я тоже уже догадываюсь: полезно и эффектно что-то знать.

Учителя надоели, родители надоели...

Но все равно никуда не деться, пора решать, что делать после школы.



\* \* \*

А в десятом классе...

Какие-то типы пришли в класс и предложили заполнить анкету. Еще чего не хватало, проверять меня собрались! Вы ждете от меня благородства — пожалуйста! Вот вам! Люблю Портоса, и все тут!

Возможен такой ход мысли? Вполне! Я сама бы так ответила, чтобы от меня отвязались: все равно ничего о себе не расскажу. Это мотив сознательный и вполне в духе семнадцати лет.

Но ведь кроме мотивов сознательных существуют и бессознательные. К десятому классу я уже личность, я уже многое испытал — так мне хочется думать: я уже дружил и влюблялся, разочаровывался и в дружбе и в любви. Я уже не очень-то верю в дружбу до гроба. Я замечаю, что каждый в классе начинает смотреть в свой угол. Каждому важно свое, какой-то свой предмет, который я, допустим, ненавижу. Разные интересы разводят нас в разные стороны: как дружить, если он бежит на математический кружок, а меня тошнит от математики.

С каждым днем все больше выступает не «мы», а «я». Чем ближе к экзаменам, тем большее происходит обособление. Все больший вакуум меня окружает, вакуум выборов, сомнений. Так называемые взрослые только мешают, они норовят куда-то вести, подсказывают, советуют, помогают по-своему, не понимая, что обессиливают меня своими заботами. Я хочу быть сильным, я сам хочу кого-то вести. У меня много друзей. Но



сейчас мне нужней всего друг не рассуждающий, а надежный. Все примет, все простит, ни в чем не усомнится: все вокруг только и знают, что во мне сомневаются и без конца осуждают за бездеятельность. А с этим... в техникум, или в институт, или в армию, если провалимся, мы пойдем вместе. Ему все равно, он мне верит, он всюду пойдет за мной!

Портос мне нужен! Нужен, чтобы я ощутил себя личностью! Арамиса поговорить я всегда найду, и д'Артаньян у меня есть, заправский устроитель вечеринок, турпоходов, гитарист, доставала новейших магнитофонных записей.

А Портоса рядом нет.

К семнадцати годам доброта и простая человеческая надежность оказываются вовсе не показными и абстрактными добродетелями. Доброта не на вынос, не на люди, неторопливая, медлительная, нерезкая оказывается самым большим дефицитом.

Детская доброта слона — мы все любим слонов.

«Мне нравится Портос — он самый хороший из всех».

За внешней бравадой: «Ждете Атоса, получите Портоса», вполне возможно, стоят эти неосознаваемые мотивы. За позерством (я скрываюсь за ним, как за ширмой) начинают маячить призраки одиночества, симптомы тяжелой болезни — взросления. Интуитивно приходит знание (пониманием оно становится гораздо позднее, иногда и не становится вовсе), что с одним приятелем интересно поговорить, с другим играть в шахматы, с третьим путешествовать, с четвертым ходить на футбол. Каждый хорош в своем роде. У каждого свои частные достоинства.

А любить при этом можно совсем другого, неприметного: не самый он на свете умный и не самый ловкий, и не с него стоит брать пример, как жить. Восхищаешься и лепишь себя с одного, а любишь и ведешь за собой — иногда всю жизнь! — совсем другого.

За внешней бравадой проклеывается понимание сложности человеческих взаимоотношений — рубить сплеча уже не получается. Шум, азарт — собраты всем вместе, двигаться, двигаться, танцевать, драться полушутя-полувсерьез, мотануть с гитарой по ночным улицам, пугая прохожих, — с каждым новым днем жажда утвердить себя с помощью движения, крика, дружбы со всеми сразу, без разбора, отшелушиваются, слетают, как слетают от неосторожного движения струпья на заживающих болячках и ссадинах.

Сохраняются рубцы. Сначала они болят, потом затвердевают, потом остается едва заметная рябинка — следы познания мира с помощью активного в нем действия.

А потом...



«Мне больше по душе люди, которые имеют определенную цель в жизни и добиваются этой цели не путем внешних подвигов, а своей жизнью, какая она есть на самом деле» (десятый класс, мальчик, шестнадцать лет. Москва).

А потом — начало взрослой жизни со всем многообразием современных ее проблем, требующих от человека огромного духовного напряжения.

## **О наших Вовках**

И все-таки какое изумление спустя много лет узнать, что тот, с кем дрался когда-то давным-давно, живет себе и ни с кем не дерется. Какое неопишное изумление, что он чем-то реально увлечен, кроме драки и шкоды. Все давно миновало, все слилось в размытый ряд картин приятных и незабвенных. Атосы и д'Артаньяны детства словно намертво затвердели в памяти, они скульптурно завершеннее, чем литературные герои, судьбы друзей детства и юности не перечитать заново: не книжки они — жизнь.

...Он позвал меня на банкет по случаю защиты докторской диссертации. В тостах научных руководителей и оппонентов раскрывался целеустремленный характер человека скромного и вместе с тем незаурядно-одаренного, сумевшего к тридцати годам защитить докторскую на актуальную и хозяйственно необходимую тему. Тостов было много, лично для меня звучали они загадочно — речь шла о химии полимеров и ее новейших ответвлениях. Тосты произносил и сам диссертант. Он, по-видимому, переживал счастливейшие минуты: все позади, уже слегка пьян, уже несешься куда-то, голова же еще ясная, мысли раскованные, легкие, телу тоже легко и приятно, словно вырвался из тесной клетки условностей на волю, к самому себе, к тому, о ком забываешь постепенно, с кем встречаешься реже и реже. Что за чудная встреча. Какая приятная неожиданность! И потому-то, видимо, один из его тостов прозвучал приблизительно так:

— Я хочу выпить за подругу моего детства! Выпьем за телесные повреждения, полученные мной от этой женщины: чем раньше мы вступаем в борьбу, тем активней действуем впоследствии! На, гляди! — Диссертант, не удержавшись на высокой ноте, вскочил со своего почетного места и, протиснувшись сквозь химические плечи коллег, приблизил ко мне лицо «крупным планом».

В крупном плане поперек щеки его тянулся к левому глазу тонкий аккуратный шрамик.



— А может, это не я? Может, тебя жена бьет?

— Ты, ты!..— завопил диссертант радостно.— Это наша эвакуация, помнишь?

— Ах, так! А ты, получается, меня в эвакуации не бил? Да? Смотри.

— На прелестном лице подруги моего детства прослеживается метка кочерги,— шутовски пропел Вовка.— Смел ли я на это рассчитывать, сударыня?

— Вовка, уймись,— не выдержала я.— Они ничего не знают, они же чужие. А ты все такой же дурак!

А Вовка между тем продолжает орать:

— Слыхали, как к нам относятся наши друзья детства? Я сегодня диссер защитил, и я же дурак. Слыхали, какое у меня было детство! С такой подружкой не соскучишься!

Как будто с ним можно было соскучиться! В 1941 году нас везли из Москвы в эвакуацию в одном вагоне две недели. Мы оба умирали с голоду в маленьком уральском городке, нас перевозили на одной телеге в глубинку, в колхоз,— спасали. Все наши родные были на фронте, потом Вовкиного отца убили, я помню день, когда принесли похоронку, длинный вечер — нам запретили играть,— лицо Вовкиной матери. Я не врала, когда кричала ему, чтобы он унялся: в каком-то высшем смысле за сегодняшним праздничным столом все для нас с Вовкой чужие, хотя своих химиков он видит каждый день, а мы не виделись лет десять.

\* \* \*

Наши матери работали в колхозе, возвращались поздно. Что мы делали целыми днями, не помню. Помню только драки в пустой избе. Помню длинную лавку — она была линией фронта, Берлином и рейхстагом одновременно. Мы брали ее приступом. Помню, как Вовка едва меня не задушил: он назначил меня Гитлером, как-то особенно ловко сосчитав считалку, потом привязал к Берлину-рейхстагу-лавке и тянул до тех пор — меня, не лавку,— пока не пришлось вытаскивать тощую шею из петли и бежать в сени за водой: откачивать.

Помню вкус крови на губах — подбил нос. Помню летом холодные листы подорожника на щеках — подорожником он заживлял все раны.

Лето с тех пор — всегда подорожник!

Помню, как Вовка ударил меня кочергой и жутко испугался и кричал почти таким же диким голосом, как сейчас: «Глаз где, ищи глаз!» — огромный синяк натянуло мгновенно, мы не успели догадаться, что глаз скрылся за ним, как за синей тучкой.



Вовке было восемь, мне — пять. У меня не было выхода: я росла и училась защищаться. А потом и нападать. Вовкины шрамы — всплески отчаяния, первая тоска о мужском благородстве. С их помощью я прожила потом вполне благополучное детство: в огромном московском дворе меня боялись, Вовкина наука работала безотказно.

Но вот сегодня на банкете выясняется, что и я его чему-то научила: овраг, на краю его сруб — пятистенка, где мы все живем, и если что не так, если игра не по правилам, катись, Вовка, считай шишки.

Давно опали шишки, а опыт, оказывается, пригодился.

\* \* \*

«Мушкетеры — герои не любимые, а необходимые», — написал в анкете один рассудительный десятиклассник. Вовка был необходимым мушкетером моего детства. Нет, я не оболящаюсь ни на его, ни на свой счет. Мы не были незаменимы друг для друга — не Вовка, так другой или другая. Не Вовка был необходим: нужен был конфликт, в просторечии — драка.

Вы думаете, я сейчас шучу или что-то утрирую: дескать, любые детские воспоминания сладостны? Нет, это очень серьезно, и на практике драка — малосладостное занятие. Но что поделаешь: из тех, кто не бьет в ответ, когда его задирают, вырастают впоследствии не совсем полноценные люди.

Конечно, речь идет не о шайке ребят, подчинивших себе всю округу, не о дворовой морали, где прав только сильный, речь идет об обыкновенных ребятах, сверстниках. И если ты не сумел защититься от такого же, как ты сам, какие-то механизмы развития личности затормаживаются в зародыше, чтобы или умереть навсегда, или пробудиться вновь слишком поздно, приобретя для самого человека не утоляемые никаким успехом и потому тягостные формы постоянной потребности в самоутверждении.

Наука дидактика против драк. Еще бы! Это так хлопотно и опасно. Любым способом, но пресечь!

В учебниках школьного и дошкольного воспитания этот вопрос деликатно обходится: тем самым мы все, в том числе и авторы этих учебников, как бы никогда и не дрались. А раз не дрались, обсуждать нечего. Это Макаренко, человек с гениальной педагогической интуицией, в своей системе воспитания исходил из реальности, из той данности, с которой столкнула его жизнь, — трудные, издерганные, неуравновешенные ребята. Кулак и угроза для них единственный способ общения, более того — мышления. Бить маленьких, подчинять себе силой слабых — это Макаренко отменил. Но он не исключал





стыдливо столкновение как способ разрешения конфликта, как метод знакомства, как естественную обыденность растущего человека.

Это Януш Корчак, великий польский педагог, написал в своей «Книге для взрослых»: «Двое мальчишек дерутся. Какой взлет воображения, какой вихрь мыслей и чувств!»

Корчак сочинял сказки для детей и притчи-советы для взрослых. Он не успел теоретически обобщить свой громадный опыт. Он был одним из величайших в науке педагогов-практиков. И когда в Варшаве фашисты ликвидировали гетто и пришла очередь отправлять в газовые камеры его воспитанников, сирот детского дома, даже фашисты предложили ему свободу: Корчак при жизни был мировой знаменитостью. Он отказался. Он взял за руку самого маленького из своих ребят и повел их к поезду, увозящему в смерть.

Говорят, их колонна шла спокойно и организованно: они верили своему учителю. Говорят, по дороге он рассказывал им сказки. Говорят, эсэсовцы, стоявшие на их пути, отворачивались.

Януш Корчак — врач, психиатр, психолог, этнограф, философ, писатель, — у него было множество броских профессий и



только одно тихое неблагодарное призвание — помогать детям — не успел объяснить нам, почему, когда он видел дерущихся детей, он догадывался, что за дракой стоит огромный, еще не познанный взрослыми мир. Даже если бы он успел нам что-то объяснить, его голос, прозвучавший в предвоенной Европе накануне того, как были уничтожены десятки миллионов человеческих жизней, вряд ли был бы услышан и осмыслен по-настоящему.

Он не успел нам оставить теоретические труды. Ну что ж. Любые, даже гениальные теории пусть не устаревают, но все равно уходят в прошлое, каменеют классикой. Корчак оставил то, что не устареет никогда, — веру в возможность победы человеческого духа в нечеловеческих условиях.

...Почти пятьдесят лет прошло с начала уникальных экспериментов Макаренко. Тридцать с лишним минуло со дня гибели Корчака. Если не сами учебники, то наука о детях заметно продвинулась вперед. Наука эта, детально изучая детские игры, классифицируя их, рисуя их схемы, приходит к выводу, что игры детей — сложнейшее явление, которое следует рассматривать в разных связях и аспектах. И может быть, особенно внимательно следует отнестись к играм в их остром варианте — столкновении. Может быть, следует во всеоружии современных экспериментальных методик изучить «подозрительную», с точки зрения дидактики, увлеченность детства «драчливыми» литературными героями, людьми лихого и безудержного действия.

Мы деремся, познавая в драке мир и себя. Профессор Алексей Николаевич Леонтьев в своем университетском курсе лекций приводил такой пример. «Обязательно нужно наткнуться на объект, чтобы обнаружить, что пройти нельзя», — говорил Алексей Николаевич. И живое, подвижное лицо его, с крупным носом и нависшими бровями, обладающими замечательной способностью уходить куда-то к самому лбу, а потом и словно вовсе исчезать, как исчезает задник театральной декорации, — так вот, лицо его, и нос, и брови погружались в печаль. Алексей Николаевич доносил до студентов момент трагический — столкновение с невозможностью получить все, что захочется, и главное — получить сразу: «Вот я, вот объект, когда на него натыкаешься — больно». Нужна боль, чтобы понять: в жизни существуют запреты. Когда ребенок впервые натыкается на горячий утюг, ему больно.

Когда человек «натыкается» на другого человека, обнаруживая, что пройти нельзя, ему еще больнее.

«Драка-натыкание» — один из способов познания чувственного мира. Настоящая драка-игра, по существу, сплошной запрет: ниже пояса нельзя, в глаза нельзя, по голове нельзя, по



ногам нельзя! Избить без всяких правил другого человека нечестно, вот в чем штука: тебе больно, но и ему больно тоже.

Есть возраст, когда верить запретам только на словесном уровне трудно. В справедливости их надо убедиться на самом себе, на чувственном уровне. «Игра-натыкание» — обучение на уровне чувственном. С ее помощью гораздо быстрее, чем с помощью родительских указаний, перестаешь быть стихийным солипсистом. Все мы крайне субъективные идеалисты, солипсисты, все до поры до времени сторонники философского учения, утверждавшего, что несомненная реальность ты сам, все остальное существует только в твоём сознании. Но когда натыкаешься на «объект» и «объект» дает тебе сдачу, перестаешь быть солипсистом, понимаешь не на словах, телом — существует другой.

...Из стада, из стаи человек когда-то, миллионы лет назад, вышел. Выходил долго, трудно. Какое неимоверное количество запретов понадобилось изобрести, чтобы стать людьми. Какое количество правил понадобилось усвоить, чтобы «натыкание» на другого, на других приобрело человеческий характер: не схватить камень или палку — убить! Научиться вступать в контакт, суметь подчиниться или подчинить, суметь подружиться, суметь что-то делать вместе. Какой трудный опыт! Сколько миллионов уроков, сколько крушений в сфере практического солипсизма! Сколько горечи за одним маленьким примером Леонтьева!

В заброшенной уральской деревне мы с Вовкой с помощью синяков и шишек учились культуре человеческого общения — игре по правилам. Мы сами нащупывали эти правила. Без помощи родителей — им было не до нас. Без помощи книжек — их у нас не было. Отсутствие книжек означало излишний перебор вариантов в игре: правила мы постигали интуитивно, словно они еще не изобретены. Попадись Вовке тогда под руку «Три мушкетера», насколько легче сложилась бы моя жизнь в деревне и насколько — кто знает — труднее пришлось бы мне по возвращении в Москву. Вовка заложил в меня избыток прочности материала. Несомненно, мушкетеры в известной мере его бы облагородили. Он бы более элегантно, смягченно, по-мушкетерски играл свою роль. Он бы никогда не огрел меня кочергой, даже случайно. «Ударить женщину! Атос, это невероятно!»

Я представляю себе, какими слабыми, жалкими оборванцами выглядели мы со стороны. Какими дикарятами мы были на самом деле! Но в наших слабых, жалких телах, растущих при постоянной нехватке витаминов, жила страстная жажда подвига, мы хотели сбежать на фронт. Вовка без конца уточнял, как это сделать (я по молодости лет только поддакива-



ла), как увести колхозную лошадь, сколько суток скакать до города, куда потом девать скакуна, как садиться в эшелон. Неловко даже пересказывать: все как у всех, только мы спешили не в джунгли и прерии, не на пиратскую палубу, мы торопились на фронт, помогать, на войну, мы были до краев переполнены потребностью в отваге и благородстве. Мы только не знали, что все в мире, даже такая прекрасная вещь, как благородство, как-то воплощается, облекается в те или иные — в зависимости от исторического времени — формы, ритуалы. Мы не знали, что все человеческое имеет свой ритуал, даже заурядная дворовая драка.

Мы не знали, что даже за дворовой дракой стоит огромная историческая традиция, норма культуры особого типа. Мы не догадывались, что в будущей, только создающейся педагогике «игра-натывание», идея необходимости конфликта займет свое достойное место. Что участие в конфликтах и пути их разрешений дают растущему человеку возможность усваивать новые средства поведения, познавать общечеловеческие нормы общения<sup>1</sup>. Учиться действовать.

Мы не знали, что ребятам непременно нужна помощь взрослых и... книг. Это действительно так.

Книги очень часто подсказывают правила игры. По простой причине: в десять — двенадцать лет веришь в реальность книжных героев и стараешься быть на них похожим — они же живые! И пусть там действуют совсем иные ритуалы — неважно! Неважно, что там шпаги, камзолы, дуэли. Важно, что всегда, везде и во всем существуют правила ЧЕСТИ.

Конечно, нам с Вовкой могли бы помочь книги. Их у нас не было. Мы снаряжались в дорогу житейского опыта методом «натывания»: иными источниками информации, кроме сенсорных, то есть чувственных, мы с ним не обладали. Мы огреба-ли шишки и чудом не переломали друг другу руки и ноги. На своих шкурах мы испробовали, что значит быть отключенными от благ цивилизации.

Что поделаешь, слепой продвигается по дороге жизни медленнее зрячего. Грамотность испокон веков считалась в народе вторым зрением. Научился читать книжки — прозрел.

---

<sup>1</sup> О психологических механизмах регуляции поведения см. М. И. Б о б н е в а «Социальные нормы как объект психологического исследования», а также В. Я. Я д о в «О диспозиционной регуляции социального поведения личности» в сб. «Методологические проблемы социальной психологии». М., изд-во «Наука», 1975.



## Формула

Нет, мы не играли в мушкетеров, мне не удастся ответить на вопросы собственной анкеты: я не могу на них ответить. Мушкетеры не были нашими героями.

Тридцатилетние *уже* в них играли. Сорокалетние *еще* успели поиграть. Мы попали в серединку — в войну. Мы сейчас самые молодые из тех, кто хоть как-то помнит войну. Мы — последние, за нами — обрыв.

Говорят — поколение. Говорят — судьба поколений. Очень любят ссылаться на разницу в поколениях. Слово «разница» всегда звучит угрожающе. 20—30 лет — безнадежно, не достучаться, не докричаться друг до друга.

Очень редко разница в судьбе поколений измеряется годом-двумя. Это когда случаются события чрезвычайные: революции, войны. Это как землетрясение: разверзлась земля, щели рядом на расстоянии считанных метров — лет. А щель эту не заполнишь, время успело или не успело опалить магмой духовного опыта.

Мы, не успевшие поиграть в мушкетеров, успели другое. Не по рассказам — щенячьим жалким страхом мы помним бомбежки. Война нас прижала к земле голодом, мы все низкорослые, наши мальчики пошли вширь, а не в рост. Лишь бы зацепиться за почву, за жизнь, как деревьям на Севере. Мы последние, кто без вранья может помнить начало великой войны: в три еще что-то можно запомнить. В два вряд ли, если ты не Лев Толстой, который помнил себя с пеленок.

Мы первые, кто пошли в первый класс без войны — в руках мы несли полевые цветы, скромные остатки лета, других цветов не было.

От второго класса сохранилась фотография: ряд за рядом застыло глядят в объектив сорок ребят. Ничего примечательного в старом, плохо отпечатанном снимке. У многих такие хранятся, не интересные никому в мире, кроме этих сорока, давно выросших. Но оцените, в руках у учительницы — гладиолусы! Поразительно! Всего год прошел. На искромсанной земле! Почти каждый из нас, живших в Москве и под Москвой, был обладателем настоящей каски, только последний растяпа не находил ее в лесу или не выменивал у ребят; почти каждый прятал по домашним тайникам коллекции гильз и патронов. Страшно подумать — на всех ребят хватало!

А через год сквозь землю, заваленную зловещим металлом, проросли гладиолусы. Кто-то их вырастил, потратя силы не только на картошку. Значит, кто-то сквозь всю войну сохранил луковицы, проветривал их, беспокоился — верил!

Гладиолусы соседствуют в памяти с еще одним чудом: появлением завтраков на третьей перемене — бублик и лиловая



конфета-подушечка. Мы все ждали субботы; в субботу давали два бублика, в счет воскресенья. Так, во всяком случае, было в нашей школе.

В старших классах внешне мы еще ничем не отличались от младших — такие же дети. Только они спокойно осваивали послевоенный мир. Нас же в мирную жизнь выбросило неожиданно, словно нас тоже демобилизовали. Нам трудно было приспособляться. Мы замыкали ряды тех, кто привык к принятию самостоятельных решений — их нам дала война. Она же снабдила нас высоким чувством ответственности. Мы оказались слишком взрослыми, слишком личностями каждый. Нас никто никогда не провожал в школу. Где бы мы ни жили, мы ездили сами. На старой фотографии вытянувшиеся в струнку непомерно крохотные фигурки, белые воротнички наши на нелепые кацавейки, косматые головы и... никто не улыбается, у всех серьезные глаза.



Зачем нам заполнять мушкетерскую анкету. Не в них мы играли, не их мы любили. Мы играли в «Тимура и его команду», в разведчиков, в Красную Армию, которая «всех сильнее». Время подарило нам другие игры. Их почти не нужно было выдумывать, они шли рядом с жизнью и выливались из нее, из фронтовых рассказов взрослых, превращавшихся в легенды при пересказе во дворе, из ожиданий, когда вернутся и к кому быстрее отец, дядя, старший брат. Лето и осень 45-го года — время возвращений с фронта.

В нашем доме было шесть подъездов. К концу войны все квартиры на всех шести этажах во всех шести подъездах стали общими. Мы вели соревнование: в какой подъезд вернулось больше фронтовиков. Представителям подъезда-победителя разрешалось в день победы своего подъезда колбасить по всему двору (территория, как у заправских зверенышей, была негласно поделена), колбасить и делать что хочешь — в этот день победители были неприкосновенны. Им покорно отдавали коньки, столь дефицитные в те годы, покататься, коньки или один конек. Им безропотно подставляли спины. Им разрешали, сметая всех, скакать через весь двор с веревочкой и командовать всеми обитателями двора.

Какая, в сущности, несправедливая справедливость! Мы все вместе радовались за тех, кому и так привалило счастье. Но при всей жажде справедливости — а она обуревала нас в те годы особенно остро — мы не печалились с теми, кому пло-



хо. Зато, и в этом наше великое преимущество перед взрослыми, мы умели радоваться искренне, без зависти. Мы соглашались даже терпеть некоторые неудобства во имя того, чтобы праздник для одного стал настоящим праздником для всех и праздником везде, где обитает душа юного человека,— дома, в квартире, в подъезде, во всем дворе! Мы неукоснительно следовали этому правилу, и горе было тому, кто его нарушал.

Московские игры послевоенных лет — справедливые игры! И сколько бы ни разорялись наши Вовки на банкетах и в других местах, где в один прекрасный день они достигают зримого успеха, не верьте их внешним успехам.

Признаюсь по секрету — нам сложно жить: с раннего детства мы готовились к подвигу. Мы росли в ожидании своей очереди, часа. Мы были совсем маленькими, но так уж вышло: пока шла война, мы верили — мы успеем.

Не успели.

Мы последние из «сознательно» военных детей.

Последним всегда трудно.

\* \* \*

А вот те, кому сейчас 25—30, они все книжки вовремя прочитали, вовремя проиграли свое, детское. Они делились в своих играх не только на наших и фашистов. Мушкетеры, индейцы, ковбои, джекклондонские искатели золота появились снова, будто и не уходили никуда. Отмененные было литературные герои снова стали необходимы — наступали иные времена.

Нам же традиционные герои и игры были противопоказаны. Даже в «Острове сокровищ» нам нравились не то и не те — совсем другое. Не море, не Сильвер (а нравиться должен ведь именно он, он и Флинт, и Билли Бонс, это неизбежно), не божественные бизань- и фок-мачты, не волшебное слово «пиастры», а мальчишка Джим Хокинс и его подвиг.

«Готовы ли вы?..» — спрашивали с нас пионерскую клятву на Красной площади. Майские дни, третий послевоенный год. Продувной ветер — на Красной площади всегда дует... Красные галстуки первый раз на груди. Мы отвечаем слишком серьезно: «Готовы!»

Мы очень всерьез были готовы, — нас обучила война.

Конечно, она обучала нас далеко не так сурово, как нынешних, условно говоря 50-летних — они ее прошли, а нас она только коснулась. Правда, 50-летние, в отличие от нас, успели поиграть в извечные детские игры, успели прочитать «детские» книги. По анкете им всем, без исключения, нравится Атос.



К этому свидетельству стоит прислушаться и стоит над ним задуматься.

\* \* \*

Литературные герои Дюма, казалось бы, так просты. Так точно определил автор, носителями каких именно свойств каждому из них надлежит быть: строгая экономия, поштучная раздача — сложите всех вместе, получится один идеальный герой. Можно, наверное, даже вывести формулу, прикинув, сколько в тебе от каждого из четверых или, вернее, сколько твое представляется в тебе есть от каждого.

$Я = L_1 \times \text{Атос} + L_2 \times \text{Арамис} + L_3 \times \text{Портос} + L_4 \times \text{д'Артаньян}$ .  
Каждое из альф  $L$  коэффициент, доля, в которой они во мне участвуют.

$L_1$  — доля Атоса.

$L_2$  — доля Арамиса.

$L_3$  — доля Портоса.

$L_4$  — доля д'Артаньяна.

Это мои качества, разбитые между четверьмя людьми. Единица я сам, такой, какой я есть или себе кажусь. Или хочу себе казаться.

Может быть, и выкладки и формула, даже такая отраженная (что может быть отраженной нашего отношения к литературным героям, сочиненным век назад, а действовавшим и вовсе в XVII веке?), может быть, формула рассказывает не столько о каждом из нас? Так или иначе и формула и анкеты отражают время, в которое мы живем, пусть очень причудливо и отдаленно освещает какие-то грани нашей жизни, обстоятельства ее, наши представления о самом главном — чести, человеческом достоинстве, долге, мужестве, доброте. Такие, казалось бы, примитивно сконструированные герои поворачиваются к разным поколениям разными оттенками характера. В разные времена люди черпают в них свое.

Атос сейчас, в середине семидесятых годов, кого-то раздражает, у кого-то вызывает ироническую усмешку. Но было время, когда то подчеркнуто внешнее, что нас раздражает, оказывалось очень существенным.

Умение достойно держаться при любых самых сложных и трагических обстоятельствах — вот что, видимо, оказывалось главным.

Подчеркнутым хладнокровием, пусть чрезмерным, показать всем, что тебе не страшно, хотя тебе и очень страшно! — что так ты и будешь себя вести до конца, что бы с тобой ни происходило — смертельная опасность, разочарования, предательства, обиды. То, что может показаться в строго ритуали-



зированной поведении слабостью и фальшью, при иных обстоятельствах становилось глубоко продуманной внутренней позицией личности. Надменное презрение к опасности, маска равнодушия к смерти, скрытность внутренней жизни — то, что представляется нам сейчас крайней зависимостью от внешних текущих событий, при иных поворотах судьбы становилось формой самозащиты человека от бомбы и пули, от фатальной случайности, от унижительного постоянного страха. Души высокая свобода, попытка ее отстоять среди беды, среди войны: быть героем так трудно! Сколько бы ни писали в книжках, что это легко, естественно и просто, это всегда не легко, не естественно и не просто, это тоже требует правил и соблюдения ритуалов, не буквы их — а нам сейчас отсвечивает только буква, — а их сути.

Пойди расшифруй эту странную странность — всего один ответ на один вопрос, а за ним жизнь, стиль поведения, подытоживание опыта прожитых лет.

Ничто не отринуто, не предано забвению, не осмеяно, как детские иллюзии, разрушенные годами, нет! «И Атос, и такая дружба, как у них, есть, была и будет существовать до тех пор, пока существует человечество» (анкета, 50 лет, мужчина, врач, г. Кострома).

Мы ни единого удара  
Не отклонили от себя.  
Но в мире нет людей бесслезней,  
Надменнее и проще нас...

писала Анна Ахматова в 1922 году, подводя итоги нравственного опыта первых пяти послереволюционных лет.

Прошли десятилетия. В новом цикле стихов она поставила эпиграфом:

Но в мире нет людей бесслезней,  
Надменнее и проще нас.

Строчки оказались пророческими: сквозь все, что довелось испытать — войну, блокаду, голод, трудную победу, — шли, вышли, выжили, выстояли — бесслезно, надменно и просто.

Мушкетер Атос! Мне остается извиниться перед вами за резкость тона и неприятие ваших правил.

Это не мы вас не выбрали.

Это распоряжалось время.



## Историческое время

Время — таинственная штука! Это оно и так и эдак поворачивает наших мушкетеров. То в одного заставит влюбиться, то другим околдует, то третьего ни за что, за выдуманные провинности, закидает камнями, а четвертого, опять-таки ни за что, возведет на пьедестал.

Вот уж кто искренне удивился бы этому обстоятельству, так это сам Дюма! Он помышлял о деньгах, когда сочинял своих героев, а вовсе не об их бессмертии. Невероятно щедрый, он всегда был по уши в долгах, современники посмеивались, что его блестящие динамичные диалоги типа:

«Что вы видите?» — «Отряд!» — «Сколько человек?» — «Двадцать». — «Кто они такие?» — «Шестнадцать солдат землекопной команды и четыре солдата». — «За сколько шагов отсюда?» — «За пятьсот». — «Хорошо, мы еще успеем доесть эту курицу и выпить стакан вина за твое здоровье, д'Артаньян», — что эти самые диалоги плод не столько блистательного таланта, сколько вечно пустого кошелька: Дюма платили построчно, коротенькая реплика чеканила лишнюю монету.

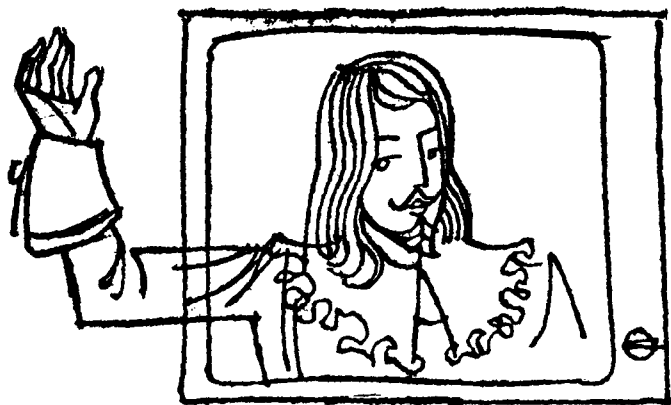
Дюма восхитительно небрежно обращался со сложнейшей философской категорией — временем, и еще небрежней с историей. Он обожал прошлое за то, что из него гораздо веселей и проще, чем из сухого настоящего, делается приключение. В прошлое, так он считал, дозволено отослать любые проявления чувств. Не задумываясь, он навязывал прошлому свой «словарь мотивов». Любое неправдоподобие под его пером превращалось в прошлом в увлекательную правду. Читатель безоговорочно принимал его шкалу ценностей.

Из прошлого, только из него лепил он свои бесчисленные драмы, комедии, мелодрамы, романы, путевые заметки. Он сумел заставить своих современников просиживать в театре с шести вечера до трех утра, развлекая их похождениями мушкетеров, хорошо им известными по уже вышедшей книге. Он захватил подвалы всех ведущих газет и журналов Франции — он перекраивал, перевирали в них для своих читателей — «продолжение в следующем номере» — историю их страны. Он был одним из создателей многосерийного детективного фильма — сериала — задолго до того, как к этой идее обратилось, наконец, телевидение. Дюма — это телевизор, это огромное телехранилище, настолько зрелищно и осязаемо-домашне то, о чем он пишет. Именно телевизор, а не кино. В кино может быть две-три серии от силы. У Дюма их 277!

На свете нет ни одного человека, прочитавшего всего Дюма.

Все на свете читают его книги, посвященные прошлому.





Многие при этом отдают себе отчет в том, что на самом деле в прошлом все совершалось иначе. Ну и что? Какие пустяки! Зато он нежно любил выдуманное прошлое. Он сочинял его с наслаждением, он искренне был убежден, что для человека смелого и отважного невозможного не существует. Он был начисто лишен комплексов неполноценности; для этого незачем подробно изучать его биографию, достаточно открыть любую его книгу на любой странице: он щедро вкладывал себя в своих героев. Но поскольку невозможное в реальной жизни все-таки, как ни странно, изредка встречается, он отправлялся сам и отправлял своих героев

в прошлое. Он обожал своих мушкетеров, он с восторгом присоединился бы к ним — пятым!

Он любил себя в прошлом — таком, каким оно могло бы быть, руководи этим прошлым он сам, писатель Александр Дюма.

\* \* \*

...Мы любим мушкетеров по той же причине, потому что любим... себя. Мы любим себя во всех четырех измерениях, отмеченных простенькой формулой:

абстрактное моралите Атоса,  
ум, изящество и женолюбие Арамиса,  
сила, жажда прямолинейного успеха и доброта Портоса,  
предприимчивость д'Артаньяна.

Все четверо в нас присутствуют. Больше того, все четверо присутствуют в нас с детства. Всякие наши, часто и не слишком возвышенные, качества (а к годам пятнадцати мы уже отдаем себе отчет в том, что в нас есть не только хорошее, но и, мягко говоря, не совсем хорошее) приобретают тем самым романтический характер.

Когда-то очень давно мушкетеры были для нас живыми людьми. С годами они все больше отчуждались от реального мира, облагораживая тем самым и нас самих, и наше прошлое. Пусть они давно уже некие символы, заключенные в некоем тексте, известном под названием «Три мушкетера». Пусть! Но это с нами было. С Дюма только могло бы быть — он же их сам сочинил! А с нами — было!



Что поделаешь, таковы законы человеческого восприятия: идее благородства и всемогущества легче опираться на прошлое. Эффект удаленности, освобожденности прошлого от мелочной и «низкой» повседневности текущего бытия свойствен нам и в воспоминаниях о собственном детстве, и в восприятии исторического прошлого.

Вовкины шишки сейчас прекрасное воспоминание, а тогда было больно.

И все же мушкетеры замечательны! С детских лет им приписано лучшее, о чем мечталось, хотя в самом тексте заключена масса разоблачительного «противомушкетерского» материала.

Мы отдаем им на откуп все самое лучшее так же искусственно, как отдаем в своих воспоминаниях лучшее детству.

В прошлом возможен благородный вояка, благородный разбойник, благородный головорез. Что-то ни разу не приходилось читать о благородном разбойнике, вскрывающем сейфы в наших сберкассах. Мы не поверим, что он благороден, даже если нас постараются в этом убедить. Он обыкновенный бандит. Это-то мы знаем точно. Мы же его современники. Мы знаем правила, мы знаем, что он крадет государственные, то есть наши с вами общие деньги, мы знаем, что, спасая свою шкуру, он, не задумавшись, убьет. Нам легко представить себе конкретного бандита, нарушающего конкретные правила.

Но вот бандит «помещается» в прошлое. Это пожалуйста! Во-первых, мы не в состоянии вообразить, каковы же были особи этой разновидности рода человеческого в прошлом. Конкретных людей в прошлом не видно. Слегка высвечивают только их правила. Но ведь это их, а не наши правила! Легче примириться с их нарушением. Бандит в прошлом легко оборачивается для нас благородным разбойником. Обыкновенному уголовнику легко приписать одну из форм социального протеста против существовавшей в те годы социальной действительности. В прошлом были и те и другие — и бандиты, и благородные бунтари.

Прошлого не видно. Мы легко путаем персонажи, мы легко всех, даже разбойников с большой дороги, наделяем благородными порывами: в человеке вечно живет тоска по благородству. Мы невольно опрокидываем в прошлое мир наших идей о том, как должен быть устроен человек.

Очень естественное и очень человеческое заблуждение! Аберрация, то есть смещение сознания, выражаясь современным языком. Дюма строил на ней свои романы.

Сегодня трудно представить идеальную святочную историю в духе Чарльза Диккенса. Сию минуту, сейчас, не живут на свете бесконечно добрые диккенсовские героини. Но ведь



это неправда, наверняка живут, нам только не повезло встретить одну из них или мы не сумели ее разглядеть. Мы-то знаем, что человеческая душа бесконечно сложна — столько в ней всего намешано! Проще поверить, что доброта — маска, а не существо человека.

Рядом с нами не имеет права на прописку Золушка: человеческое злословие и неблагодарность непременно лишат ее «золушкинского» ореола. Но люди не могут жить без мечты, без Золушки: чтобы не разочаровываться, они запихнули ее в сказку. И договорились: Золушка остается Золушкой до тех пор, пока не исчезает с бала ровно в полночь.

Печальная метафора извечной жажды добра, красоты, тяги к самопожертвованию и неумение разглядеть их в реальной жизни — сегодня, сейчас. Непременное низведение прекрасного до уровня скучной обыденности.

Страх перед буднями.

Когда начинается «сегодня», когда Золушка уже под боком: ходит, смеется, обижается, ссорится со своим принцем, ревнует, плачет, прекрасный в своей обыденности быт уже не прекрасен: он происходит сейчас, он переполнен скучными деталями, у Золушки болит горло, у нее скверное настроение, она посылает в магазин за картошкой. Выясняется: хорошо было только тогда, когда, исчезая с горизонта, она теряла свой хрустальный башмачок.

\* \* \*

...На прошлое, на мушкетеров оглядывался Дюма в середине XIX века. Он тянул читателей в век XVII: именно там было славное прошлое Франции. Дети и внуки граждан Великой французской революции — читатели Дюма — млели от восторга.

Кости последних монтаньяров еще не превратились в перегной. Кости солдат армий Французской Республики еще были разбросаны по всей Европе. Еще! Это еще происходило совсем недавно, события, повернувшие ход человеческой истории, выдвинувшие основные принципы, на которые мы опираемся до сих пор, *еще* не совсем отошли в прошлое. И потому, как это ни парадоксально, были не так интересны, как приключения четырех храбрых молодых людей, лишенных каких бы то ни было гражданских принципов. Кровь дедов еще не успела забыться, еще помнились подробности, еще были живы детали — еще легче было осудить, чем изумиться содеянному и преклонить колена.

(Но святая убежденность Дюма: невозможное возможно, справедливость торжествует, короли — ничтожества, кардина-



лы — мерзавцы, была пропитана опытом Великой французской революции. Осмысление того, что произошло столь недавно, уже происходило. Только совершалось оно незаметно и для самого Дюма, сына легендарного революционного генерала, а уж для его читателей, увлеченных в давнее, то ли бывшее, то ли не бывшее — поди проверь, как там все было на самом деле, — прошлое тем более.)

Тот же извечный механизм «дальней» дистанции работает внутри романа самого Дюма. Для «эталона эталонов» Атоса истинный эталон сдвинут в прошлое. Это Франция времен Франциска I. Та действительность, в которой суждено жить Атосу, кажется ему гнусной и обманной, лишенной малейших черт благородства прошлой истории. А во времена Франциска I черной завистью завидовали, наверное, эпохе Людовика IX — эпохе крестовых походов. А самому-то Людовику IX как «повезло» — умер геройской смертью от моровой язвы в тех краях, куда им (современникам великого, с точки зрения Атоса, времени) и глазком не глянуть — кончились времена грандиозных походов и великих характеров.

Стоит ли продолжать перечисление... В эпоху эллинизма превыше всего почиталась сила гомеровских героев. А на кого ориентировались бедные догомеровские герои?

Этот феномен, эта историческая аберрация возникла, видимо, давным-давно, когда люди вынуждены были, презрев текущую, хорошо знакомую, трудную действительность, вырабатывать эталоны, традиции, ритуалы. Они вынуждены были для скрепления рода, племени, общины обращаться к прошлому, к авторитету предков. Именем прошлого настоящее творилось тысячелетиями.

Наши бытовые и исторические иллюзии теснейшим образом связаны с философской проблемой времени, его направленности, понимания его в разные эпохи. В прошлое обращена стрелка времени у всех древних народов. На прошлое оглядываются, с прошлым, как с часами, сверяют время, к прошлому старательно подкручивают стрелки настоящего, не дай бог забежать вперед. Часы-прошлое никогда не обманывали, так считалось, они всегда работали точно; худо тем, кто не заметил, который час.

К небрежению настоящим приучали тысячелетиями. Это исторически объяснимо. У многих из нас и сейчас осталась привычка, за которой тянется многотысячелетний социально-психологический хвост. В мелочах, в быту, в серьезном хвост метет, замечая настоящее.

Мы, так нам кажется, знаем настоящее отлично. Мы, так нам опять-таки кажется, отлично знаем своих современников, друзей, соседей, сослуживцев, их дела, их поведение. Истина



всегда конкретна: бытовое настоящее для каждого из нас состоит из конкретных людей и их поступков. Мы знаем, что за каждым, даже мелким, поступком стоят мотивы самые разные, такое сложное их сцепление, что нередко приходится разгадывать происходящее, как ребус. Мы подозреваем, и часто не без основания, что даже за внешне благородным поступком может стоять подлость или благородная, пока не доступная расшифровке, но корысть.

Утомительно без конца разгадывать ребусы.

Мы с умилением нежим себя воспоминаниями о прошлом. Это не утомительно. Это не требует постоянной работы души, только прихотливо-бесконтрольного полета воображения. Активность поиска в настоящем незаметно подменяется пассивной созерцательностью. Даже живые хорошие люди — все равно люди, все равно с ними трудно. С теми, которые когда-то давным-давно были или, еще лучше, не были, а только придуманы, с теми, которые только встретятся тебе на жизненном пути, общаться куда спокойнее и проще.

Куда девается настоящее? Откуда в нас такое неуважение к каждому своему дню и часу, а значит, и к себе, и к людям этого дня и часа? Откуда наивная убежденность, что «вчера» и «завтра» заманчивее «сегодня»?

Хронический, трудно поддающийся лечению тысячелетний психологический дальтонизм. Сложная и кропотливая это работа — отделять зерна добра, благородства, осмысленности от плевел повседневной обыденности. Мы редко даем себе труд углубиться в это кропотливое занятие — искать подлинность в настоящем, в обыкновенных людях, которые рядом, в тех событиях, которые происходят сейчас.

Но ведь тем они и замечательны, что происходят сейчас!

Психологически тут все понятно и оправдано. Наше заблуждение длиной в тысячи лет, сейчас, в зрелом опыте XX века, вполне объяснимо.

Будущее любого из нас только невоплощенная идея, только бесконечное, очищенное от деталей ожидание и надежда. Прошлое в нашем сознании, равно как и будущее, тоже освобождено от быта. В нем заключен только некий эталон, только идея. Так от голода военных лет остается не ежедневное сосание под ложечкой и не зависть к тому, кто при тебе сию минуту жует булочку, а чувство приобщенности к высокому подвигу народа и его страданиям. Тяжкий быт военных лет не ушел из памяти — отодвинулся на задний план: голод стал возвышенным воспоминанием.

Любое «сегодня» — тяжелое, скучное, прекрасное, обычное, надоевшее, необходимое — всегда происходит между «вчера» и «завтра». Освободиться от приниженного бытовизма текущего



момента — как? Это осознать, что этот самый момент тянется из уже очищенного прошлого и обращен в будущее — надежду.

Так смерть оборачивается тяжким бытом и болью, если в ней не заключено ощущение прожитой жизни и понимания места своей, пусть очень скромной, жизни, пусть в очень скромном и простом, но будущем. Человек может умереть осмысленно, жертвуя собой во имя высокой идеи, совершив подвиг. Очень часто о его подвиге узнают все.

Человек умирает осмысленно (хотя об этом может никто не догадаться, кроме него самого), если что-то остается, если рядом родные и близкие, если дети прибежали и сотрудники теребят. Если не проваливаешься в пустоту.

Черета наших «сейчас» — замаскированные лики наших «вчера» и «завтра».

Черета наших «сегодня» — умение слушать время.

\* \* \*

В самом конце XVIII века в одной крестьянской семье в Шотландии родился мальчик, сизмальства тянувшийся к журналистике. Мальчик вырос, перепробовал несколько respectable профессий. К концу жизни он стал всемирно известным историком. У Томаса Карлейля была своя концепция истории и ее законов. Он считал, что историю делают только героические личности, только они определяют ход прогресса. Он любил писать о Кромвеле, о Фридрихе Великом.

Однажды в парламенте Карлейль при обсуждении одного острого вопроса выступил и сказал:

— Час велик, а почтенные джентльмены, должен заметить, так мелки.

Мы не можем принять концепцию Карлейля. Он не понимал законов развития общества, он вообще не заметил в истории роли народных масс, он не подозревал о классах и классовой борьбе. Он был историком-идеалистом. Но он пристально интересовался личностью. Для психолога его работы представляют несомненный интерес. Знаете, как он закончил ту свою речь?

— Вы любите повторять, что бывает великое время и тогда приходят великие люди. Вслушайтесь! Время не зовет. Оно орет! Как же у вас хватает нахальства говорить, что время мелкое?

Вдохновенный певец прошлого, создавший в своих трудах культ прошедших времен, более благоприятных, с его точки зрения, для героических деяний, Карлейль в небольшой речи парадоксальным образом опровергал самого себя. Разговор в



парламенте шел о настоящем Англии и ее насущных проблемах. А Карлейль как-то вдруг забыл о прошлом. Напротив, он призвал внимательно вслушаться в настоящее, заглянуть в себя и ответить себе.

С Карлейлем-историком можно только спорить. Его основная гипотеза глубоко неверна. Но в коротенькой речи есть высокий нравственный пафос, осуждение попытки оправдать себя временем. «Время мелкое, и я мелок».

Карлейль написал десятки книг и статей о героях, а в речи своей сказал совсем иное, он обратил внимание почтенных джентльменов на то, что бывает не только мелкое время. Бывают к тому же еще глухие и мелкие люди. И даже когда время вынуждено орать, они все равно его не слышат: таким людям крик не поможет.

Томас Карлейль-гражданин оказался несравненно мудрее и человечнее Карлейля-теоретика.

\* \* \*

Когда мы растем, прошлого для нас вообще не существует. И потому нет его идеализации. Прошлое — то же настоящее, только происходит оно в другом месте.

Качается где-то рядом на соседней речке (а может быть, и на нашей?) пиратская палуба, скачут по нашему шоссе мушкетеры, безбилетные кладонскатели убегают из дому на электричке.

— Мама, мама, хорошо, что ты рано пришла! Скорей готовь обед, сейчас к нам приедет д'Артаньян!

— Какой д'Артаньян? — устало не удивилась мать, нагруженная сумками.

— Тот самый мушкетер! Позвонил какой-то дядя, я спрашиваю: «А ты кто?» — «А я д'Артаньян! Можно, я приду к тебе сегодня обедать?» Я говорю: «Можно». А он говорит: «А куда я дену свою лошадь?» А я говорю: «Ничего, приходи с лошадью!» Мама, куда мы денем лошадь?

В ближайшие дни мама не знала, куда ей самой деваться, мальчик отказывался есть вообще, молчал — ждал. На все уговоры родителей он твердил одно: «Мушкетеры всегда держат свое слово». Мальчикин папа, писатель, сыгравший эту злую шутку, сконфуженно объяснял мальчижиной маме, что он писатель для взрослых, а не для детей, и не учел особенностей детской психологии.

Вот ведь в чем сложность! Мы растем, слушаем разговоры взрослых. Хорошо еще, когда они просто развлекаются нами, как живыми игрушками. Чаще всего бывает хуже. Среди взрослых попадают не только добрые люди. Среди них



бывают злые, неумные, немало обиженных. И уж совсем не так много среди них людей, наделенных педагогическим тактом. Для растущего человека с остро развитым нравственным чувством очень многие разговоры взрослых губительны. Они искажают его мир, словно ребенка насильственно заключили в комнату с кривыми зеркалами.

Взрослым кажется, что они открывают нам глаза, рассказывая при нас все, как есть.

Они рассказывают, как не должно быть. Мир великанов и героев, среди которых мы естественным образом живем в детстве, выплескивая собственную усталость и обиды, они превращают для нас в мир злых карликов. (И сами становятся для нас карликами, а как же может быть иначе?)

...Человечество в целом давно переросло Карлейля-теоретика. Больше того, к идее героя, повелевающего толпой, каждый взрослый, кроме всех теоретических посылок, чисто практически относится с большой опаской.

Но есть у нас и еще одно отличие от Карлейля. Его хорошо показали классики марксизма. Мы уже знаем, каждый человек может быть потенциально велик, в каждом можно увидеть и воспитать большого человека.

Большого! Теоретически мы это уже знаем. А взрослые талдычат нам, что все вокруг маленькие. Взрослые сами за-талкивают нас в прошлое, объясняя, что в книгах одно, а в жизни — другое. Они разрушают мир, где все цельно и стройно, где Золушка, Серый волк, мушкетеры и живые люди — обитают вместе. И где все — прекрасны. А зло всегда наказано. Взрослые, вроде Лешкиной мамы, не позволяют нам надолго задерживаться в выдуманном, так им кажется, мире.

Но какой же он выдуманный? Он реальный! В этом реальном мире реально то, что кажется взрослым подчас затянувшейся игрой, недомыслием, инфантилизмом, даже глупостью. В таком же реальном мире жили и взрослые в свой черед. Теперь же они тщательно, методично затаптывают душевные состояния, которым никогда больше не суждено повториться.

Одна девочка, по имени Лена, из села Камень-рыболов Приморского края, доверчиво поделилась с «Пионерской правдой»: «Я очень люблю книги, полные неожиданностей, тревоги и таинственности, потому что они часто встречаются в жиз-





ни». А другой мальчик, пятиклассник, высказался еще определеннее: «Если бы мне велели сосчитать население земли, я бы обязательно прибавил всех героев любимых книг. Например, Павку Корчагина, трех мушкетеров и Красную Шапочку». И впрямь, наверное, прибавил бы, хотя ему тоже наверняка без конца внушали дома, что все это блажь, а Красную Шапочку пора было бы забыть еще в детском саду. Мальчику наверняка внушали, что прежде всего надо как можно лучше учиться, работать, готовиться к серьезным делам.

Время взрослых и время людей растущих — разные времена! Не по группе детского сада ведется отсчет, не по классу, в котором учатся. Красная Шапочка может умереть, едва родившись в душе, а можно, оказывается, и в одиннадцать лет искать ее среди живых людей. Все мы, когда растем, «маленькие принцы» из сказки Сент-Экзюпери: недаром, почти единственная из сочиненных в XX веке сказок, она молниеносно завоевала мир. Беда в том только, что, вступая на престол, бывшие принцы нередко начинают мстить своему отравленному прошлому и становятся дурными королями, дурными взрослыми: отравленное прошлое тревожит их призраками печальных воспоминаний.

...Мальчик живет в насыщенном, переполненном людьми и событиями мире. Реальность круто замешана на воображении.

Что было, чего не было — он еще не знает. Все было, есть и будет, не распалась еще «связь времен».

Взрослые же из самых добрых побуждений уверяют: нет, не было и не будет — распалась! Взрослые, сами о том не догадываясь, самоотверженно, не жалея сил, портят ему жизнь, создают в ней разряженные пространства, вакуум, где, как известно, живое существо, в отличие от сказочных маленьких принцев, обитать не может: нужна маска, как космонавтам.

Когда мы растем, мы и в самом деле космонавты, все вокруг неисследованные вселенные! Но зачем надевать скафандры на земле? Она и так снабжена кислородом.

Кислород выкачивается во имя будущего. Сегодняшнее вообще не принимается в расчет. Как взрослые бывают удивлены, когда обнаруживают, что сумели своим скепсисом, насмешками, запретами расшатать огромный внутренний мир и... и ничего не дать взамен.

Производство скафандров против психологической безграмотности некоторых взрослых, к сожалению, пока не налажено...

И потому нередко приходит день, когда они как будто могут торжествовать победу: подрастающий человек внезапно



ощущает пустоту в мире, ему ничего не хочется. У него и целей-то нет никаких: цели, навязанные извне, никому еще не приносили даже мимолетной радости.

А может случиться наоборот. Жизнь заполняется слишком конкретными целями: поступить в институт, уклониться от распределения в сельскую местность, научиться зарабатывать много денег — программно, что ли, их зарабатывать — не потому что их любишь, а потому, что «дензнаки» становятся неким качественным мерилем, знаком мобильности, динамизма и преуспевания. Растущий человек под давлением взрослых начинает чувствовать себя в конкретных целях как рыба в воде.

Он не знает еще, что конкретные цели часто кончаются — в них не хватает смысла. Книги в обоих случаях начинают обретать новое качество. В них больше не живут, в них спасаются, убегают от тех необходимостей и истин, на которых преждевременно сосредоточивается внимание. Книга-скафандр! Как страшно! А книга — только развлечение, только отключение от реальной жизни? Почитать, как поспать, как поваляться на диване? Еще страшнее!

До этого растущий человек читал про мушкетеров просто потому, что он в них играл. Его любовь к ним была полна бескорыстия.

Теперь он про них читает, чтобы не задохнуться или... чтобы отвлечься на полчаса от великих прагматических замыслов.

Взрослые — не все, но многие — любят литературных героев своего детства потому, что любят в себе давнее, возвышенное — лучшее из оставшегося. Они любят себя и в себе то, что так старательно (конечно же, не преднамеренно) выкорчевывают в молодых во имя созидания их будущей судьбы. Они искренне хотят охранить юность во имя успешного завтра.

Откуда им ведомо, что такое успех и счастье? Их завтра — «сегодняшнее вчера», — «пусть у нее, у него, у наших ненаглядных будет так, как должно быть!»

А как должно быть?

Время — сложнейшая не только философская, но и психологическая категория. Время психологии — не простая длительность, это количество пережитого и происшедшего. С ним, как со стеклом, в обычной жизни следует обращаться с осторожностью. Метафора эта нуждается лишь в одной легкой поправке: бьется при этом не стекло — бьются человеческие судьбы.



## О силе представлений

Сколько ни топчись вокруг героев Дюма, не рассуждающая, слепая приверженность к ним сейчас, в конце XX века,—тайна. Время должно было бы расправиться с ними решительно и бесповоротно. Для раздраженного беспокойства Лешкиных родителей есть как раз будто бы все основания. Время, то, которое на часах, отсчитываемое бесстрастным секундомером, призывает как будто бы совсем к другому: другим играм, другому чтению, путешествиям воображения по другим, более конкретным и перспективным дорожкам.

Время, то, которое на часах, явственно теснит мушкетеров. Деловитость, конкретность, запечатленность каждого события, часа, минуты, секунды — где уж тут им выжить, лихим и беспутным! Время завело свои досье на каждую утраченную секунду. «В поисках утраченного времени» — назвал свой многотомный роман-исследование Марсель Пруст. Заголовок, которому суждено было надолго стать метафорой.

На наших глазах она умирает.

В начале XX столетия утраченное время еще надо было искать. К концу его на утраченное время заведена отчетность, документ. Во всех нас, живущих на излете века, словно генетически запрограммирован секундомер.

Сотые доли секунды — мы знаем, что это такое, мы знаем, как они тратятся, на что уходят. Мы все их видим, не только исследователи в своих научных экспериментах. Мы наблюдаем их в быту, когда смотрим, например, спортивные состязания по телевизору. Сотые доли секунды — осязаемая реальность. Их нам замедляет, укрупняет, останавливает, как бабочку на лету, телекамера: «Смотрите не на то, как спортсмен закинул ногу, как наклонил туловище, как проплывает над планкой, нет! Смотрите, как он умеет гениально распоряжаться своим телом во времени, как точно, вплоть до тысячных долей секунды, им все рассчитано. Смотрите, в чем залог победы, откуда дует ветер славы, чем звенит золото олимпийских медалей! Секрет — в овладении временем».

Мы смотрим и видим: камера говорит правду!

...Новое качество времени диктуется атмосферой научно-технической революции, каждый день, каждый час несущей с собой новое.

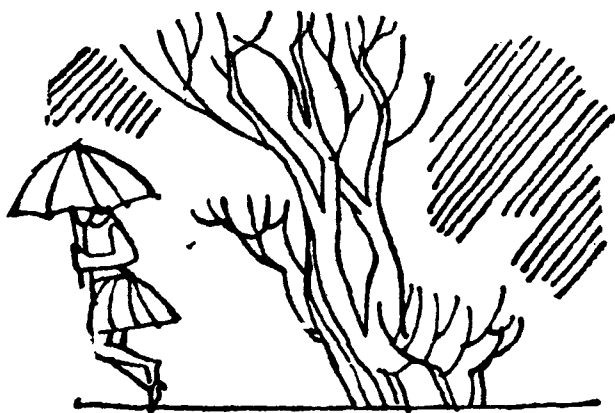
Внутри у всех нас не только секундомеры. У нас у всех установка на непрерывное получение нового, на постоянную смену впечатлений, которые приносит с собой научно-технический прогресс. Мы даже и не задумываемся уже, что испокон веков все не так было. Для нас это естественное психологическое состояние — ориентация на «точную новизну», на точ-



ное знание, на широчайший круг общения, на сопричастность всему, что происходит в мире.

Ориентация на точный, размеченный в определенном пространстве и времени факт, свеженький, как пирог, только что вынутый из духовки. Еще горячий. Точность и острота мышления, молниеносное принятие решений, веер противоборствующих друг другу выборов, угнетающее порой изобилие возможностей — вот что сопровождает нас по жизни.

И так каждый день.



\* \* \*

Сел в автобус или в машину — через полчаса ты за городом, в лесу. В городе осень, слякоть, мерзость и грязь. В городе тошно, и хочется, если выпала свободная минута, скрючившись на диване, уютно полистать еженедельные газеты, посмотреть очередную многосерийную картину, потрепаться по телефону, что вот, мол, как все неудачно: осень, слякоть, мерзость и грязь.

А в лесу как странно! В лесу — лес. Гомонят вороны, со- рока полетела предупреждать всех, всех, всех, что мы прибыли. По одну сторону тропинки проскакала белка с рыжим хвостом — не успела облизнуть, лентяйка, по другую — с ветки на ветку навстречу нам пушит серый зимний хвост белка-приспособленка и нагло сыплет нам на голову шелуху разгрызенных шишек.

Вечная, деятельная, своя, закрытая, таинственная уже для нас жизнь. До того медлительная! Экзотика для городского человека, вызывающая ненормальное умиление и приступы острой мимолетной сентиментальности.

(Почему Пушкин так любил осень? Может быть, за скорость перемен: баgreц и золото, летят листья, ветер завыл, дождь закапал. Каждый день иное. Каждый час перемены. Ничего быстрее осени нет.)

До чего долог осенний день в лесу, до чего неприкаянность какая-то охватывает. И потому скорей обратно, к благам прогресса. И наконец, чувство облегчения, «вылазка на природу», с ее некоторыми неудобствами — «а если дождь пойдет, а если ноги промочим, а если заблудимся?» — уже позади. Уже можно принять горячий душ, щелкнуть колесиком телевизора — утихнуть в привычном уюте готовой информации или жадно схватить трубку: не случилось ли чего в городе, в



твоей микрогруппе, пока ты шлялся по лесам и разглядывал хвосты белок. «Что тебе Гекуба», на кой черт тебе эти хвосты и воронье. Чем занимался Колька в это время, не удачнее ли он организовал воскресенье — «вот в чем вопрос»?

Мы разучиваемся жить иначе. Мы еще только привыкаем к нашему новому нестабильно стабильному миру. Хорошее тоже нуждается в освоении и осмыслении. К хорошему тоже нужна привычка. Психологический переключатель скоростей восприятия — его еще только предстоит отладить.

\* \* \*

Веками, тысячелетиями все происходило по-другому. Человек, обыкновенный человек просыпался, вставал, говорил с детьми, женой, с соседями, шел на работу — в небольшую мастерскую, в поле, с ним здоровались, судачили, его заставляли что-то делать. Почти во всех случаях обращались к нему самому. Это была личная обращенность. По воскресеньям — церковная служба. Это сигнал коллективной обращенности. Ближе к новому времени к человеку стали обращаться как к читателю.

...Сейчас человек встает и включает радио. Он уже слушатель. За завтраком он листает утреннюю газету. Переключение — он читатель.

Человек едет на службу, не идет пешком, как прежде, — он уже пассажир. Больше того, он пассажир с дифференцированной психологией. Есть психология пассажира метро, пригородной электрички, есть психология «сидячего» пассажира рейсового автобуса и вечного «стояльца» на одной ноге то ли физически сильной личности, то ли невротика, не умеющего ждать.

Пассажир входит в школу, техникум, институт, отбивает карточку у проходной — вот он уже школьник, студент, рабочий, служащий.

Потом он снова пассажир, зритель кино или голубого экрана, читатель.

Сигналов коллективной обращенности человек получает больше, чем сигналов, обращенных лично к нему. Это символ только нашего, XX века, его последней трети, символ того, как плотно человек включен в общество. До этого в обыденной жизни он устанавливал преимущественно личные контакты. Теперь он узнает новости не от соседа — через Николая Озерова, Юрия Левитана.

«Это общество ко мне обращается. Я чувствую себя причастным. Я живу в мире непрерывно происходящих событий».



Работает программа «Время», слышны позывные телепередачи, и самые занятые люди бросают свои дела и садятся у телевизора — за полчаса можно узнать все, что произошло сегодня у нас и за рубежом. Все, вплоть до того, какая сегодня погода в Ашхабаде и в долинах Армении. Ни при какой погоде я не брошу дела и не ринусь в Ашхабад, правда? А узнать интересно, некоторым даже необходимо. Почему?

В прошлые века человек в повседневности вечерних часов жил своей семьей, мыслями о своих заботах. Никаких молниеносных психологических переключений не происходило. Никогда прежде человек не соучаствовал в мире событий всей планеты ежесекундно.

Никогда прежде он так ясно не ощущал свою социальную полноценность. Человек знает, что где случилось, произошло, какие приняты меры. С самых ранних лет включается он в круг общения со всем миром: через телевизор, через радио, через свои детские газеты и журналы.

Невольно, с детских лет, создается психологическая установка на то, чтобы знать только то, что было.

**Мушкетеры —  
это то,  
чего не было!**

Установка на то, чтобы знать только то, что было, смыкается и в какой-то мере диктуется всей установкой современного производства и обучения, требующих от человека точного, логически подвижного мышления, движений, навыков. Наблюдать и участвовать в научно-технической революции своим трудом захватывающе интересно, но прежде всего это сверхточная работа. Сверхотработанное переключение внимания, сверхскоростное привыкание к постоянной новизне. Сверхнеобходимость постоянного переучивания.

Невольно со всех сторон нас «подпирает» реальная потребность в фактологии. Растущий человек невольно с малолетства тянется к факту, искусству документа. Отсюда успех документальных фильмов, документальных книг-дневников, мемуаров. Успех фотографии, как нового вида искусства.

Рассматриваешь фотографию в журнале, в книжке. В авторучке, заплывающей маслом, плавают красotka, — мелькают кадры в теле- и кинофильме: каток, девушка, она скользит, кружится, у нее очень заметно покраснел кончик носа. И все время не оставляет мысль, что она замерзла.

И в литературе нашей факты начали вытеснять вымысел, упрямо толкая к достоверности, к тому, чем мы окружены повседневно и к чему мы действительно привыкли. Девочка



с покрасневшим от холода кончиком носа — достоверность, которую мы всюду ищем, и, если не находим, сердимся и не верим.

Как обстоит дело с кончиком носа у Сикстинской мадонны? Ведь ей же наверняка было довольно прохладно там, на небе, среди облаков. Почему же Рафаэль... Я вдруг ловлю себя на мысли, что вообще не помню, какой у нее нос. Разве это важно?

В мадонне Рафаэля трогает до слез совсем другое. Все оказывается мелким и неважным, когда память озаряет свет ее лица.

\* \* \*

Достоверность и вымысел. «Дело — не дело».

Мадонна Рафаэля — вымысел или достоверность?

Разные виды времени сложно уживаются в душе современного человека. То время, которое на часах, безусловно, побуждает к действию. То, которое «лицо Сикстинской мадонны», — к чему оно побуждает? С исторической непривычки трудно совмещать эти времена, слишком они психологически разведены, слишком большие усилия требуются для переключения с одного времени на другое.

Но еще сложнее обстоят дела с разными временами в современном детстве: впервые в истории человечества время расщепилось так четко. Есть дела — это конкретное время. Есть не дела. Это...

С одной стороны, не «два плюс три», как всех нас учили в первом классе, а «икс плюс игрек». С другой стороны, математика девятого класса в пятом. Новая физика, новая биология. С одной стороны, необычайно раннее созревание интеллекта, стремительное его повзросление. Чрезвычайная самостоятельность и деловитость. Казалось бы, совсем взрослые люди — по кругу интересов, по склонностям, по росту, наконец: попробуй дотянись до сына-акселерата! Шапку ему и на цыпочки вставши не поправишь.

С другой стороны, эти невзрослые взрослые продолжают жить в своем вековечном законном времени, где они просто дети, где они растут, играют, дерутся, поют во все горло, где больше всего им нужно... ненужное. Это выглядит очень странно и непонятно: такой большой, такой умный, такой прагматичный и... такой дурак!

Конфликт времен в современном детстве еще не разрешен, еще многим взрослым кажется, что победит первое — осязаемое, достоверное, перспективное.

Взрослым непонятно, что сложнее всего сейчас детям.

Взрослым непонятно, как же так?



Человек, привыкший к строгой неодолимости фактов с пеленок, к тому, что звездное небо — объект изучения науки астрономии, луна — место посадки космических кораблей, Антарктида — всего лишь природная лаборатория для изучения залежей полезных ископаемых и прогнозов погоды, он, этот строго организованный с пеленок ум, швыряет портфель в сторону, хватая книгу, хватая шпагу и...

— Прекратите, не скрещивайте шпаги, какая нерациональная трата времени и сил! — взывают взрослые. — Садитесь и готовьтесь к будущим экзаменам, сейчас ведь спрашивают на вступительных не по школьной программе. Бегайте, укрепляйте здоровье, повышайте, как сказал бы Лешкин папа, информированность собственной личности. Словом, перестаньте, наконец, заниматься ерундой!

### **МУШКЕТЕРЫ — ЭТО ТО, ЧЕГО НЕ БЫЛО!**

Не рассыпан под копытами мушкетерских лошадей слой достоверно-конкретных листьев.

А при чем тут достоверно-конкретные листья?

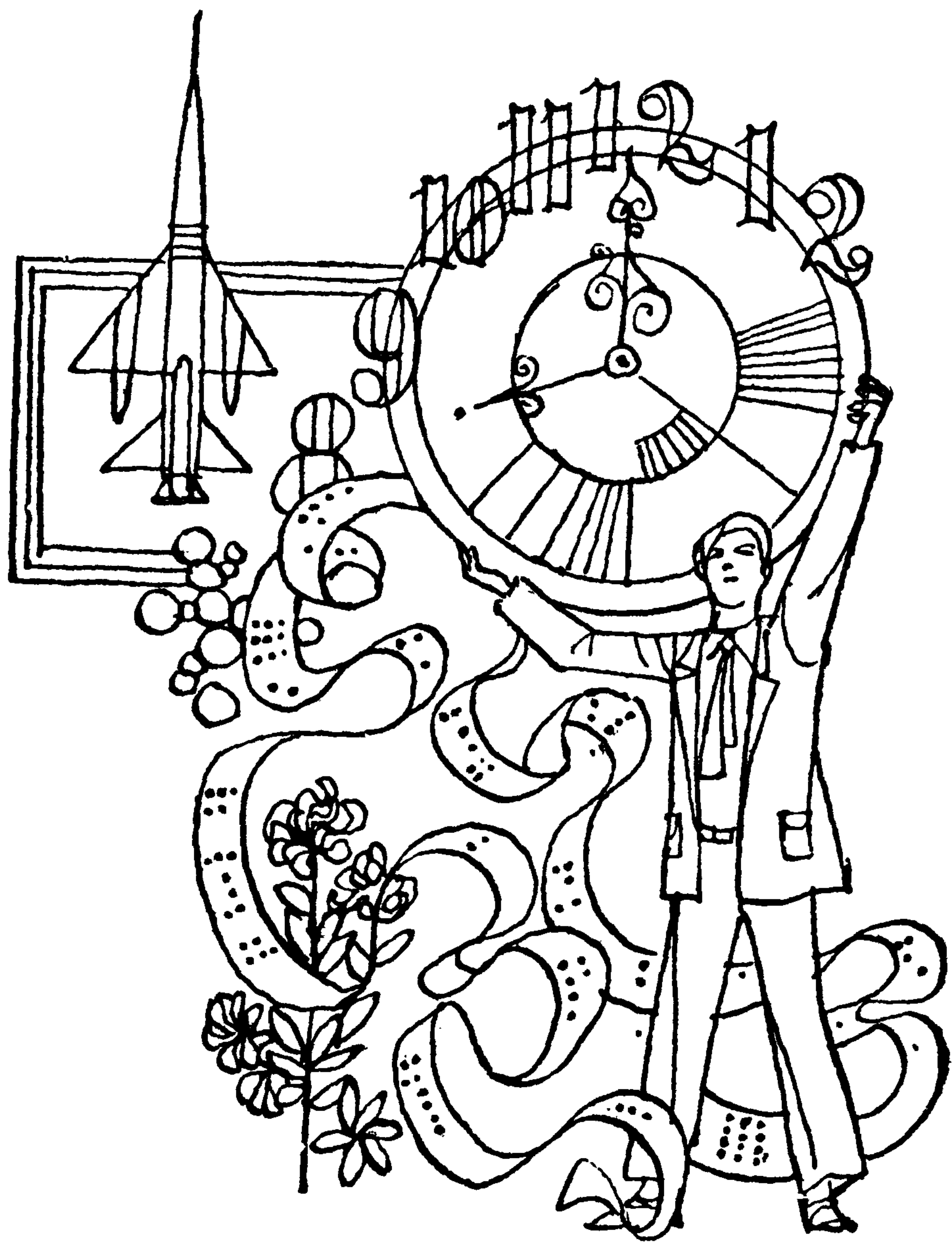
В науке это явление называется механизмом проекции, то есть вынесением себя во внешний мир с помощью... воображения. В науке это называется: сила представлений так велика, что способна действовать как реальное действие.

Почему взрослым это изредка можно: вопреки всем достоверностям на свете, сила представлений действует на них иногда как само действие — и взрослый плачет, слушая музыку или глядя на любимое полотно.

Почему людям выросшим это можно?

Почему это нельзя людям растущим?





---

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ,

*где рассказывается о понятии  
„психологическое время“ и его  
отличии*

*от физического времени, какие  
происшествия можно назвать  
событиями, что случается  
с человеком, когда он  
совершает выбор, и по каким  
законам течет время  
в литературных произведениях  
и в обыденной жизни*



## Что есть событие?

Какими словами назвать то, что происходит в XX веке? То, что случилось в XX веке с понятием времени? Мгновенность переходов от одного психического состояния к другому, обусловленную

сложностями современной техники и средствами массовой коммуникации, необходимость в секунду учесть море информации и на что-то в ту же секунду решиться: внутреннюю напряженность, порыв? Как назвать цепь психических состояний, когда хозяйничает само время, человеку уже не подвластное, когда оно само диктует решения, выборы. Когда не действовать, даже если очень хочется не действовать, нельзя. Когда, оглядываясь назад, человек не очень-то ясно представляет, что же это с ним было, в конце концов.

Каждая наука называет ЭТО по-своему.

О дефиците информации и неопределенности говорят кибернетики.

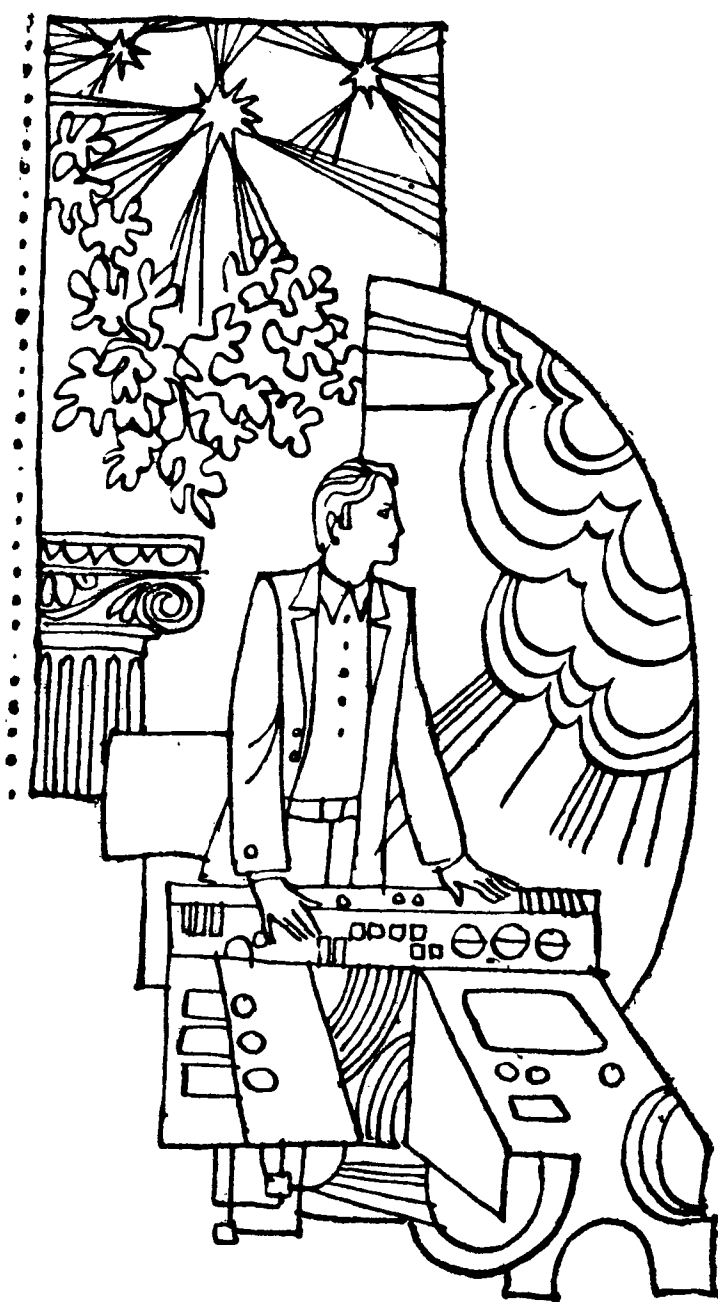
Об ожидании и стрессах<sup>1</sup> — производственные психологи. Множество профессий, самых модных, наиновейших, связаны с острым ожиданием: вот-вот что-то случится.

О выборах, профотборе и профориентации говорят психологи труда. У них своя терминология, но суть проблемы — принятие правильного решения, снимающего главную неопределенность в жизни человека — кем быть.

О социальных ожиданиях и предпочтениях толкуют социологи. Смысл все тот же: как переносит человек состояние неопределенности во времени.

О макро-мега-микроуровнях времени рассуждают философы естествознания.

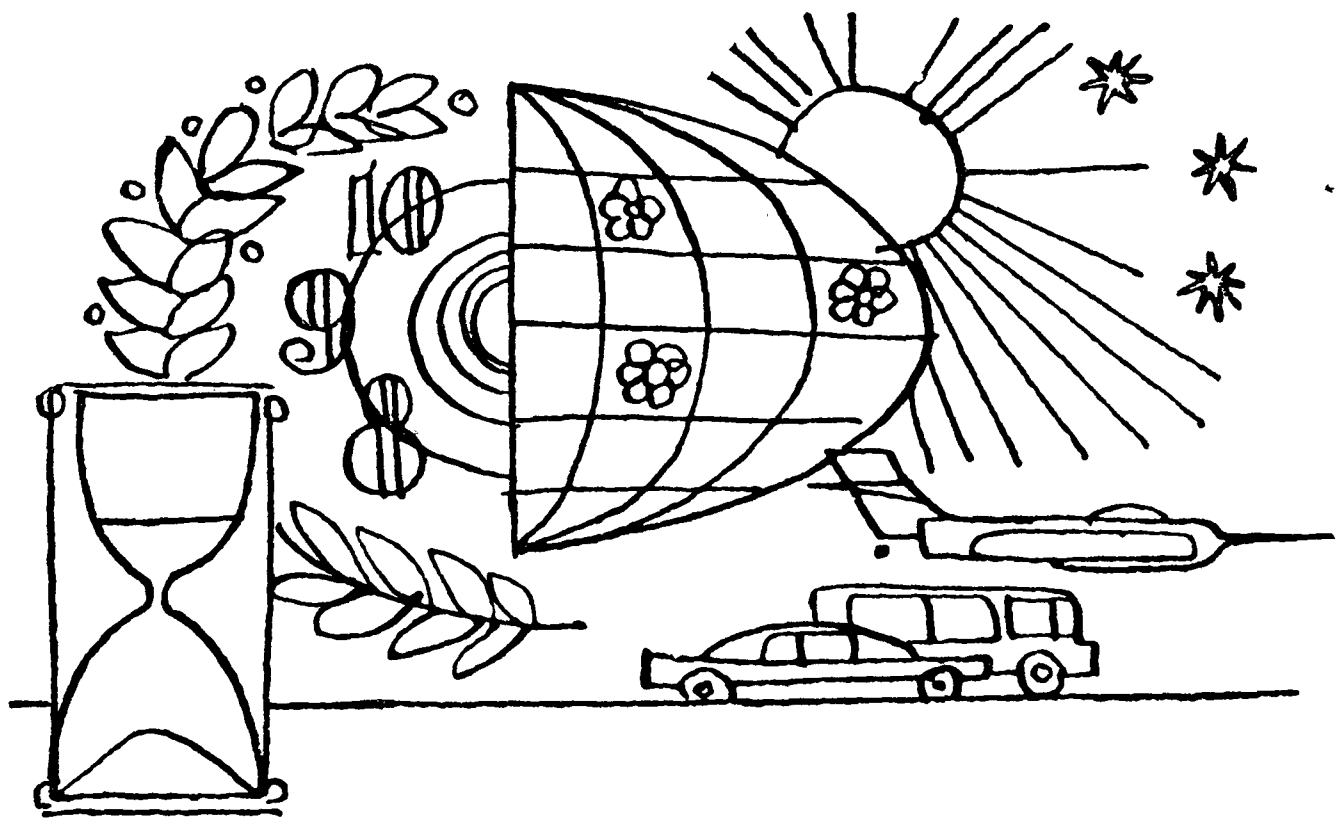
Литературоведы принялись за изучение течения времени и пространства в литературных произведениях.



---

<sup>1</sup> Стресс — острое психическое состояние, возникающее под влиянием какого-то внезапного события или крутых переломов в судьбе.





Все заняты как будто бы совсем разным. Разными словами это называется.

Речь, по существу, идет об одном. О столь трудно разрешимой в XX веке проблеме — подлинной цене времени. О том, как это время одолеть. Как до него дотянуться.

\* \* \*

Писатель, прошедший последнюю войну, с недоумением вспоминал один эпизод: до сих пор не может он понять, что же это было.

Солдат-пехотинец, он возвращался с передовой выполнить какое-то нехитрое задание. Только что закончилась перестрелка. В тихую передышку он шел и играл сам с собой в... войну: мчался впереди всех со знаменем, кого-то рубил шашкой, куда-то скакал на коне.

Чудовищно! На войне играть в войну! А он играл! Да так, что не заметил, как дошел: казалось, прошло всего несколько минут — прошло больше часа. Этот час, по его словам, самое загадочное из его военных воспоминаний.

В чем же тут секрет, в самом-то деле? Может быть, в том, что война стала для него привычкой, бытом, службой, не зависящей от него кровавой повседневностью. Он привык жить в настоящей войне. А тут он вдруг выдумал себе свое время, свои события, где он главный, свои победы. Он играл в игрушечную, мушкетерскую, бескровную войну и тем самым освобождался от тяжести войны настоящей.



Есть время физическое, время быта.

Каждый день мы просыпаемся, встаем, идем на работу, завтракаем, обедаем, ужинаем, успеваем полистать газеты, посмотреть телевизор.

В привычном течении времени не происходит ровно никаких событий. Встать с постели или не вставать? Нужно встать. Идти на службу или не идти? Попробуй не пойдешь.

В привычном времени не требуется решать задачи. Вернее, нет, требуется, только решаются они стереотипно. На все задачи есть программа. Если воспользоваться кибернетической терминологией, программа с условными переходами. В каждом из нас заранее запрограммировано, что делать в той или иной предусмотренной ситуации. Опаздываешь на работу — объяснение давно отработано, наготове несколько вариантов. Всем начальникам эти объяснения с запинкой, отводом глаз в сторону хорошо известны. Им, бедным, приходится удовлетворяться самыми неправдоподобными историями, но они делают вид, что нам верят. Им приходится делать вид.

Если мы подходим к метро, видим затор и соображаем, что попали в час «пик», у каждого легко всплывает свой запасной маршрут: автобус, троллейбус, пробежаться пешком. Впрочем, всегда есть люди, рассекающие могучей грудью любой затор, — всех растолкают и пройдут.

В обычном бытовом времени мы держимся на условных переходах. (Термин «условный переход» возник при программировании вычислительных машин, когда машине надо было приказывать, что ей следует делать в изменяющейся обстановке. Теперь термин этот давно стал обиходным, потому что и машины стали почти бытовым явлением.) Условный переход — это: «если в такой-то момент времени в такой-то ячейке памяти оказалось положительное число, действуй так-то. Если отрицательное, переходи к заранее предусмотренной части программы».

...Так или почти так течет бытовое время. В нем заложены стереотипы, спасительные для психики человека. Нет нужды расходовать лишние усилия на знакомое и привычное. Человек тратит их лишь однажды, в детстве, когда учится жить среди людей. «Убирай свою постель, чисти зубы на ночь, складывай портфель, вовремя делай уроки» — это не занудливые родительские поучения, это стремление взрослых приучить ребенка легко и незаметно переносить тяготы обязательного бытового времени: экономить психологические ресурсы.

(Кстати, на подобных стереотипах построен принцип воздействия рекламы: нам предлагают принять нечто готовое,





освобождая от любого сомнения и выбора. Реклама успешно паразитирует на естественном человеческом стремлении — избавиться от бессмыслицы ничего не меняющих в жизни бытовых выборов. В сущности, не все ли равно, какой пастой чистить зубы, если они все равно болят?)

В бытовом времени неизбежно заключен скучный автоматизм: переделав все дела, в конце дня сам себе напоминаешь послушный робот.

Но вот что-то произошло: взрывается непрерывная ткань бытия, физического времени, быта. Возникает событие. (Случаются и вещи парадоксальные, психологическая защита от настоящих событий: так для писателя-солдата в настоящем тяжелом событии, войне, психологическим событием стала война выдуманная.)

Событие — очень часто — связано с ситуацией выбора. Выбрать, решить, разве это не событие?

Что такое событие?

Настоящее, мое, личное событие — это выбор.

Если где-то происходит землетрясение, наш единственный выбор — сочувствие пострадавшим. Это даже не выбор, всего лишь душевный отклик. Его может и не быть. Никакого выбора не происходит. Но вот землетрясение случилось в моем городе. Сразу возникает ситуация сложнейшего выбора — спасаться самому или спасти других. Поплыла земля под ногами — начинается отсчет событий. Ими — не страничками в календаре — меряется теперь время человека.

Черные тарелки громкоговорителей объявили о начале войны. С этой минуты, с воскресного дня июня 1941 года огромная страна и каждый ее гражданин на четыре года погрузились во внутреннее психологическое время, оно отсчитывалось для всех, для любого мальчишки, едва научившегося читать, только событиями на фронтах. Казалось бы, величайшая неопределенность, а выборов, если ты человек чести, нет вовсе: нужно идти и что-то делать, нужно спасти свою землю.

...История человечества и биография отдельного человека пишутся в событиях. Они не делятся на равновеликие отрезки времени. Они пишутся, когда человек или история делают выбор.

Чем же измеряется степень выбора? Бывают выборы лег-



кие, трудные, невероятные по своей неожиданности. Мера возникает естественно — это степень непредсказуемости выбора. Что значит непредсказуемость? Это как в былинах: «Налево пойдешь, направо пойдешь». Это разные возможности. Когда есть разные возможности, появляется неопределенность.

О чем мы говорим друг с другом, когда долго не виделись? Только об одном — о непредсказуемостях и неопределенностях, которые вдруг прояснились и определились.

— Ой, вы не представляете, что случилось. Ой, девочки, никогда не поверите!

Шепот, большие глаза, все слушательницы потрясены.

— Она матери сказала все как есть и «прошу, говорит, мою жизнь не вмешиваться». А мать: «Людочка, Людочка, да что ты», а Людка ей: «Пойми наконец, что я взрослая».

Или:

— Ой, что у нас случилось, что у нас случилось! Он встал на собрании и прямо в лицо... и за язык никто не тянул.

Или:

— Сережка-то Надькин, оболтус, слышали, в университет поступил! Матери сказал — в армию пойдет, а сам взял и поступил. Вот именно, что сам.

— Не может быть, — подавленно откликается слушательница: у нее свои дети на подходе к окончанию школы.

— Я сама говорила — не верю. Надька студенческий билет принесла, тихий на нем такой мальчонка. Сережка-то тихий! Поверить просто нельзя.

...То, во что «поверить просто нельзя» — непредсказуемость выборов, — волнует и поражает больше всего. Вокруг живут разные знакомые люди, и не то чтобы все про них ясно, но не очень понятно, как они поведут себя в той или иной ситуации. Однако некоторое представление об их будущем у нас есть.

А жизнь полна непредсказуемости, в ней самое разное случается. И когда человек, совершая выбор, оборачивает эту внешнюю непредсказуемость ошеломляющей для всех внутренней определенностью, выясняется, что это совсем не та непредсказуемость, которую ожидали все вокруг.

\* \* \*

На непредсказуемости выборов построено многое в классической литературе.

Мы читаем книгу. Нам уже что-то ясно, кажется, легко догадаться, что будет дальше. А дальше совсем не так. Наташа Ростова стала невестой князя Андрея, читатель ждет



свадьбы. И вдруг — она хочет убежать с этим ничтожным Курагиным! Потом Наташа вроде бы искупила свою вину, ухаживала за раненым князем Андреем. Но едва он умер, улыбнулась, «как раскрывается заржавевшая дверь» и... и вышла замуж за Пьера. Нравственно ли это, так сразу, вдруг? Она ведь жить не могла без князя Андрея. А оказывается, нет. Без князя Андрея Наташа могла прожить, а вот без любви — никак.

С точки зрения банальных читательских ожиданий у Толстого все несуразно. А у героев Достоевского? У Толстого все несуразно. У Достоевского же все неприлично, все скандал. Сплошные скандальные выборы: крик, истерика, безумие, драка. В «Идиоте» Настасья Филипповна жжет деньги и выжидает — Ганечка должен их схватить, она же сказала, что эти деньги теперь его. А он не смог этого сделать, не прост самый подлый человек; от потрясения он падает в обморок.

Герой Мольера вытащил бы деньги из огня. В мире Достоевского это невозможно.

Достоевский обнажает выборы, сбрасывая с них слой за слоем всю шелуху случайных обстоятельств. Остается ничем не прикрытый человек, не защищенный традицией, воспитанием, правилами этикета. Его герои — парвеню, разночинцы, выскочки. Их никто не научил должным образом, соблюдая привычный ритуал, оформлять свои внутренние выборы, они не умеют, все решив для себя, продолжать милые, ничего не значащие отношения — все тотчас же лезет наружу. Держать себя в руках? Они не знают, как это делается. Чуть что — скандал, безобразие, всеобщая неловкость. Дикая, отвратительная сцена, белые от ненависти глаза, кажется, рушится весь свет. Ничего не происходит — очередной герой Достоевского делает свой очередной выбор.

Наташа Ростова совершает, казалось бы, отчаянный выбор — собирается изменить князю Андрею с Курагиным. Но произойти это должно совсем как у всех: сани, медвежья шуба — обычное гусарское похищение. Шаблон начала XIX века.

У Достоевского его Наташа наделала бы массу неприличностей: написала бы душераздирающее прощальное письмо жениху, наверняка заставила бы Курагина отвезти ее к Болконским, где выложила бы все: как оскорбил ее старик Болконский, как ненавидит ее княжна Марья, как она, Наташа, не может, не хочет больше терпеть унижения. Да мало ли что выкинула бы она еще на горячечной волне новой любви.

Наташа Толстого сделать всего этого не в состоянии. Ей это и в голову не приходит. Настасья Филипповна у Достоевского может все: у нее нет того социального положения, которым диктуется большинство ее выборов.



В любом падении Наташа Ростова — графиня.

В любом возвышении у Достоевского — голый, неприкаянный, непредсказуемый человек. Не только сами события, складывающиеся эти события, поступки и мысли, ход рассуждений, — все неожиданно.

Действие происходит в непредсказуемом мире и потому в необычайно сгущенном психологическом времени.

## Разговор

В литературе и в жизни царит сплошная непредсказуемость... Решения, поступки, события, ошеломляющие выборы наползают друг на друга, взрывая естественную тягу к порядку и гармонии.

Как тяжело науке бесконечно наткаться на нашу непредсказуемость. Наука пытается навести порядок в своих расчетах, на каждом шагу ей приходится сталкиваться с ситуациями выбора, начиная с философской проблемы свободы воли и кончая физиологической теорией проводимости электрического импульса в нервных клетках: там, в глубинах физиологии, таятся свои альтернативы. «Да — нет, нет — нет, не надо» — сообщают друг другу окончания нервных клеток.

Под силу ли современной науке смоделировать жизнь хотя бы в самых простых случаях выбора?

— Конечно, под силу, — искренне обрадовался знакомый математик.

Он пришел по делу — заносил книжку — и вот теперь сидел уже довольно долго и разговаривал о том, что волновало меня в последнее время: неопределенность и выборы. И как особая тема — течение времени в литературных произведениях, распределение интервалов между выборами героев, с них-то, собственно, все и началось.

Ему пришлось слушать: сам же напросился — начал расспрашивать, чем я сейчас занимаюсь.

Но едва возникла призрачная возможность посчитать что-то новое, запихнуть в схему, формулу, господи, до чего он оживился!

— А если всем выборам придать одинаковые веса? — спросил он.

И вот мой гость вышагивает по комнате. Каждый раз, когда его презрительно отбрасывал от себя огромный старый буфет, он стремительно разворачивался и бежал к окну... В окно он не глядел, хотя за окном шел снег, едва ли не первый в эту зиму.

Потом внезапная остановка: заметил книги на столе.





А. Бергсон, «Творческая эволюция». Издание 1914 года, с портретом автора.

— Какое у него любопытное лицо. Беззащитное, оранжерейное. Правда? И острое чувство будущего в этом лице. Видимо, не случайно он одним из первых в XX веке поставил проблему времени, его длительности.

Утроу, «Естественная философия времени».

— Дельная книга, единственная пока в своем роде.

Кипа специальных журналов. Под ними — тома Стивен-

сона, Дюма, В. Скотта, закладки, вычисления, схемы, графики.

— А это зачем? Зачем тратить время на пустяки, если обозначился ряд продуктивных идей? Что нового извлечешь из этих текстов? Совершенно нерационально!

А дальше... сигарета в одной руке, пепельница в другой, вид — отрешенный. Вот это, наверное, и называется приливом научного вдохновения. Все анекдоты, шаржи и карикатуры на ученых лгут. На самом деле со стороны это выглядит приятнее, милее и человечнее.

Так, должно быть, всегда и бывает: бегают, выдумывают что-нибудь нечеловеческое, выглядит же это трогательно и человечно.

Но некогда предаваться размышлениям! Это же он обмысливает мое, мной сочиненное. Сейчас я увижу, как это мое уходит в люди, отделяется, словно и не мое вроде. Такое кровное, пережитое обретет сейчас математическую стройность и сомнительную простоту. А может, не обретет, может, ничего не получится.

— Получается все прекрасно! — Он словно подслушал мои мысли. — Выбор из одного возможного поступка — это что?

— Отсутствие выбора.

— Совершенно верно. Неопределенность в этом случае равна нулю.

Например, экзамен. Ты взял билет, пыхтел, готовился, наконец сел перед преподавателем, открыл рот; страшно, конечно, но выбора нет, надо отвечать. Неопределенность — ноль.

Дальше. Свадьба, тебя везут во Дворец бракосочетания. И машина «Чайка», увитая гирляндами цветов, караулит у



подъезда, и на тебе новый костюм, и ужин заказан в ресторане, и приглашения гостям, отпечатанные в типографии, уже разосланы. Выбора, в общем-то, почти нет, даже если ты понял, что совершаешь ошибку. Полная определенность — впереди только печать в паспорте.

Прямо скажем, нулевых ситуаций в жизни человека мало.

— Зато как много ситуаций, когда человеку кажется, что ноль.

— Очень хорошо! — Он одобряюще поставил в воздухе восклицательный знак. — Но не будем отвлекаться, вернемся к нашему обсуждению. Две возможности выбора — два. Десять неопределенностей можно обозначить числом десять. В жизни все сложнее. Но простейшая модель именно такова.

А за окном шел первый, легкий, робкий еще снег, изредка проглядывало солнце, с верхнего этажа гремел магнитофон: сосед-десятиклассник явился из школы и сел делать уроки.

Любовь моя — на века,  
Звездочка ясная, как же ты от меня  
Далека.

Ясной звездочкой своей шестнадцатилетней тоски сосед вот уже с полгода успешно терроризировал весь дом: в хрипе магнитофона он сладостнее ощущал свое одиночество.

Дом оживал, после утренней паузы снова наполнялся людьми: люди, к сожалению, не хотели вести себя тихо. Съехавшееся из общих квартир население нашего дома до сих пор сохраняло стойкую привычку изолироваться друг от друга с помощью создаваемого вокруг себя шума.

— Это модель ситуации неопределенности, с которой имеет дело теория информации. Она измеряет неопределенность не количеством возможных ситуаций, а их двоичным логарифмом. Например, один выбор — неопределенность равна 0. Два выбора  $\log_2 2 = 1$ . Это единичная неопределенность или, как говорят в теории информации, неопределенность в один бит. Восемь выборов — это  $\log_2 8 = 3$ .

В жизни мы имеем дело только с выборами разного веса. Теория информации умеет оценивать ситуации с разным весом тоже. Но не об этом сейчас речь. Важна общая закономерность: насыщенность нашей жизни событиями можно мерять общим количеством снятой за жизнь неопределенности.

— То есть нашими решениями, поступками, выборами. Так?

— Пожалуй, так, — согласился мой собеседник.



## Моменты понимания

Есть возраст по паспорту, возраст, отмеряющий физическое время нашего пребывания на земле.

Есть, утверждает современная психология, возраст по интеллекту. В некоторых странах он в обязательном порядке измеряется с помощью тестов: о каждом ребенке, посещающем школу, известно, какой у него коэффициент интеллекта. Этот отнюдь не паспортный возраст учитывается при дальнейшем его воспитании и обучении.

А быть может, когда-нибудь очень-очень не скоро научатся измерять психологический возраст человека? Каждый будет знать, сколько он в самом деле пережил и прожил, что он на самом деле стоит как личность, совершившая в жизни какие-то выборы. Ведь отсчитывать психологический возраст придется по внутренним выборам. По каким же параметрам еще?

Психологический возраст — это общее количество снятой за жизнь неопределенности: сколько раз сам, без подсказки, выбрал, сколько раз начинал сначала, где предпочел уклониться от решения, сохранить все как есть.

Психологический возраст — это моя тайна, мое сокровенное, то, из чего я состою, моя личность.

Моя личность — это, по существу, мои выборы.

Все мы отмеряем свою жизнь событиями, выборами, даже если выборы эти не реализовались в поступки.

А еще мы отсчитываем свою жизнь моментами внезапного понимания. Так в долгой дружбе, в которую вложено столько тепла и душевных сил, вспоминается не только сладость бесконечных откровенных разговоров-исповедей и не какие-то радостные или горестные общие переживания, а тот час, когда пришло понимание, что этот человек — чужой.

На работе можно заниматься каким-то делом долго-долго и очень успешно, а потом все вдруг бросить и забыть навсегда и вспоминать потом не эту долгую, успешно бессобытийную работу, а только тот миг, когда тебя озарило: пора бросать.

Внезапные прозрения, меняющие отношения к миру, а значит, и к самому себе, — это и есть выборы. Только они не предполагают немедленных демонстративных действий, в них заключено большее — они создают нас самих. Это они формируют личность.

Говорят, личность человека диктует его поступки. Но можно и иначе сказать: личность определяется не неожиданностью поступков — неожиданностью выборов. Эти невидимые, неслышимые, незаметные выборы меняют человека.

Может быть, это и есть самое важное в психологическом времени — уникальная способность человека бесконечно изме-



нять, совершенствовать самого себя своими невидимыми выборами?

Безвестных, молчаливых, мучительных выборов — большинство в жизни каждого человека, но почему-то именно эти выборы обычно не учитывают, больше того, смеются над самой возможностью их существования. Только действия, только поступки — ничего кроме: атавизм, насчитывающий, по-видимому, тысячелетия, идущий от первобытного стада, где так ценилась деятельность, стрела в руке, камень, где без деятельности ни прокормиться, ни выжить.

И потому так называемый здравый смысл отказывает в невидимых выборах тем, кто живет просто и обыкновенно. То есть абсолютному большинству людей.

Между тем современная жизнь пронизана сложнейшими невидимыми выборами. Очень мало в силу самой ее структуры, продиктованной эпохой научно-технической революции, дано человеку высказать тотчас же, заметно для всех. Слишком долг путь между внутренними сомнениями и моментом внешней демонстрации, что все сомнения — позади. В этом, должно быть, состоит одна из психологических сложностей современной жизни — невозможность выразить себя с помощью активного немедленного действия. Нужно время, чтобы разобраться в хитросплетении обстоятельств, на что-то решиться.

Никогда в истории человечества такого не было. Неслыханное количество возможностей для всех. Тысячелетиями абсолютное большинство людей было лишено возможности выборов: слишком многое было заранее запрограммировано той или иной социальной структурой общества.

В нашей стране круг выбирающих стремительно расширяется год от года. Одновременно расширяется и круг выбираемого. И вот в чем сложность — в выбираемом заключено бессчетное количество вариантов, ведущих к той или иной цели.

Никогда еще миллионы людей не были обременены не просто необходимостью что-то решать — не было в истории человечества времени, когда бы для каждого лично существовало такое количество невидимых снаружи, никому не подконтрольных, кроме тебя самого, выборов. Настолько сложна любая сфера деятельности, любая форма коммуникации с другими людьми, что выборов знаемых, видимых только изнутри профессии обстоятельств, минуты — великое множество. Выборов и искушений.

Никогда прежде не было вместе с тем и такой меры ответственности за каждый, казалось бы, незначительный выбор, не существовало столь очевидной связанности с другими, бе-



зымянными людьми. Ты их в глаза-то не увидишь, однако они где-то живут, не подозревая, не догадываясь, что каждую минуту зависят от миллиардов чьих-то крохотных, микроскопических перед лицом истории выборов.

\* \* \*

...Диссертант, не буду называть здесь его имени, работал в клинике в должности младшего научного сотрудника. Была у него своя тема, был шеф, был назначен срок диссертации. Для статистики ему нужно было 50 человек. Требовалось выявить еще один вариант течения — а значит, и лечения! — определенной болезни. А набралось у него за два года всего тридцать больных. Не хватает. Подходят сроки защиты, шеф нажимает. Шеф старый, умрет, пожалуй, в одночасье. Что тогда? Полетит строго размеченная по дням и месяцам карьера, полетит научная судьба.

И возникает искушение. И диссертант ему поддается. Он подгоняет под свою диссертацию больных, у которых с натяжкой можно обнаружить что-то похожее. Он ставит им диагноз, который ему нужен. Больных начинают лечить согласно поставленному диагнозу. Больных начинают увечить. Догадывается ли об этом кто-нибудь? Нет, конечно. В медицине всегда возможны ошибки. Кто в состоянии доказать, обманул молодой исследователь или сам обманулся? Никто. Если его даже поймают за руку, все равно речь пойдет об ошибке. Что делать, в медицине ошибка — жизнь человеческая, это такая работа.

Он все рассчитал. Он сделал выбор не задумываясь. Он не рассчитал одного: вокруг люди, настоящие врачи и их внутренний мир устроен почему-то совсем иначе, нежели у молодого карьериста.

Его поймали за руку, выяснилось, что из пятидесяти больных пятнадцать не имели к его диссертации ровно никакого отношения.

Помню ученый совет, на котором разбиралась эта история, помню лицо шефа, замечательного старого доктора, доверившегося своему ученику, ученик был так талантлив, так хорошо мыслил. И лицо его ученика тоже помню.

Шеф вскоре умер. Опять-таки поди докажи отчего...

Медицина — современная индустриализированная медицина, построенная на науке, располагает массой возможностей поступать бесчестно. Она предлагает выборы, которых прежде не было ни у земского врача, ни у клинициста. Правда, выбор честно — нечестно, добросовестно — недобросовестно был всегда, у каждого человека, который начинал действовать.



И все-таки сложность знания словно снимает личную ответственность, внешнюю, для других людей.

Насколько же тем самым увеличивается ответственность внутренняя!

\* \* \*

...Это процесс всеобщий, он относится практически ко всем областям науки и техники, ко всем сферам, где трудится современный человек. Раньше и проблем-то таких не возникало, в глобальном масштабе, разумеется. Проблем для каждого.

Только в XX веке возник новый класс проблем. Неизмеримо по сравнению с прошлыми тысячелетиями и веками повысилась мера внутренней ответственности каждого человека. Почти совсем нет безответственных работ, безответственных поступков, безответственных слов, жестов даже.

Выборы — от самых простых до самых сложных — окружают нас на каждом шагу. Разве это так просто?

А иллюзия всего предшествующего человеческого опыта в том, что в жизни человека непременно должны происходить внешние события, внешние выборы — ярко очевидные для всех, доступные пониманию. Вековечный обывательский взгляд отказывается различать события и выборы в незаметных, «никаких» ситуациях.

Впрочем, в ситуациях вековечных тоже.

\* \* \*

...Жила, работала, как все, вырастила детей, вставала спозаранку, готовила, мыла, скребла, штопала по ночам.

Обыкновенная история. Таких матерей — миллионы. Только есть в этой обыкновенности одна тайна.

Почему маленькие дети боятся отойти далеко от матери, цепляются за ее подол? Почему взрослыми, когда нам больно и плохо, мы кричим в бреду из века в век, из тысячелетия в тысячелетие одно и то же слово?

Все меняется, а это остается.

Одна женщина в ответ на вопрос, почему она не хочет иметь детей, сказала мне: «Это не мой путь. Материнство — самый легкий способ заполнить себе жизнь. Это иллюзия выхода. Это уход от себя, поражение. Я не хочу потерпеть поражение».

Моя подруга — умная, ученая женщина. Безусловно, материнство — способ заполнить жизнь, только далеко не самый легкий. Несмотря на свою ученость, она спутала понятия — легкий и распространенный. Материнство действительно самая распространенная возможность прожить жизнь в психо-



логическом времени, во времени событий: все, что происходит с ребенком, не пустяк, все — событие.

А ребенок пребывает в твердом убеждении: есть на земле человек, для которого все, что с ним случилось, случается и еще случится, — событие. Кому, кроме матери, это интересно — непрерывно жить напряженной, не своей жизнью, в которой, собственно говоря, ничего не происходит.

В которой происходит бездна всего, с ее точки зрения.

Только мать способна непрерывно преобразовывать скучное бытовое время в психологическое; любой быт рядом с ней не страшен, она от него избавляет, она все берет на себя. Все происходящее вокруг собственного детеныша кажется ей интересным и значительным.

Человек невольно чувствует себя существом избранным, пока живет на земле его мать...

\* \* \*

Есть множество ситуаций, где выбор практически ясен: он определяется жизненными принципами. Скажем, если рядом в комнате человеку плохо — нет выбора, помогать ему или нет. Выбор запрограммирован в нас морально: помогать!

Но вот человек падает на улице. Появляется выбор. А вдруг пьяный, а вдруг хулиган к тому же? Стоит ли связываться? Улица любого города щедро одаряет нас подобного рода выборами: помочь или отвернуться.

Лично меня с детства учили вещи небезопасной — помогать. Мы гуляли с бабушкой по улицам, и не было пьяного, особенно зимой, которого бабушка обошла бы своим вниманием, мы расталкивали его, поднимали, вели домой. Каждый раз мне было страшно, каждый раз надо было преодолевать себя, показать, что ничуть не страшно.

...Подлинные выборы возникают тогда, когда нет принципа, делающего за нас выбор. Выбор начинается, когда надо решать: прыгать с самолета на парашюте или спасти сам самолет. Наверное, поэтому опыт летчика-испытателя измеряется не количеством времени, проведенного в воздухе, а числом критических ситуаций разной степени трудности. Или, как сказал бы литератор, числом эпизодов. А специалист по теории информации добавил бы: если этим эпизодам придавать правильные веса.

Выбор начинается, когда нет ответа, подготовленного прошлым опытом.



В школе, во дворе школы, на воскреснике, с матерью, с отцом, с ребятами.

Милое, детски припухлое лицо, тяжелые косы.

Кос уже нет, есть модный пучок и туфли на каблуках, и очень красивый мальчик рядом.

Большой компанией они праздновали чье-то рождение. Потом решили сфотографироваться, вышли в сад. Прибежала соседская собака. Красивому мальчику, самому близкому другу, захотелось с ней сняться. Появился хозяин собаки, он был пьян, как многие пьяные, вздорен и потому фотографировать собаку не разрешил. Его не стали слушать. Тогда парень побежал в сарай (дело происходило за городом, в небольшом дачном поселке), достал охотничье ружье и стал целиться в ребят. Раздался смех. Парень выстрелил в воздух, засмеялись еще веселей—обрадовались неожиданному развлечению.

Она уговаривала их уйти, но только что окончившие школу, всего неделю назад получившие аттестаты, разве могли они позволить себе удалиться, словно бы они испугались чего-то. Пусть она их бывший любимый комсорг, но мужчины-то они!

Остались в саду, куражились, дразнили собаку, собака лаяла, парень пьяно требовал, чтобы они ушли из сада. Было очень весело.

Потом он снова прицелился — в мальчика, с которым она дружила, с тем, который на последней фотографии рядом. Она не выдержала, подбежала, обняла. Уговаривая уйти, заслонила.

...Дробь попала ей в голову, в тот отдел мозга, который руководит движением.

Здесь, собственно, начинается эта история. Здесь начинается становление жизненных принципов. Начинаются выборы — в ситуации, когда для участников случившегося выборов как будто бы практически не было.

Девочка отчаянно боролась за жизнь, за то, чтобы стать здоровой: очень многое в ходе лечения зависело только от нее. Поначалу эта борьба давалась ей трудно: ее друг, красивый мальчик с фотографии, ни разу не навестил ее в больнице.

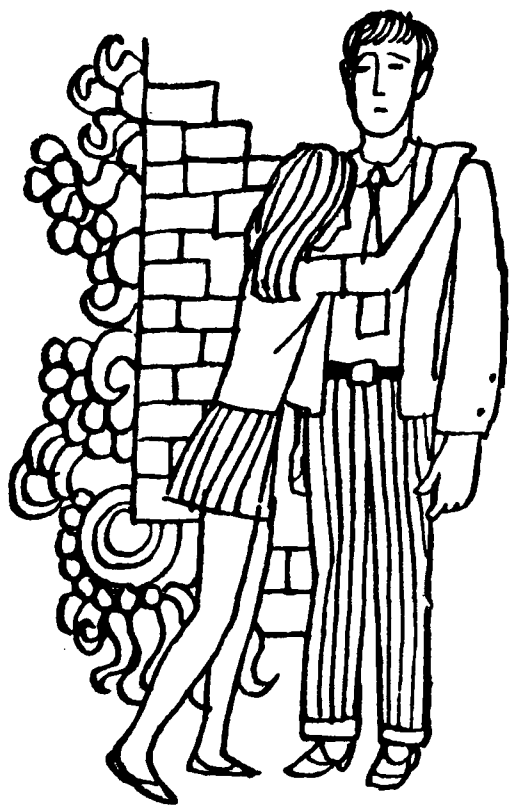
Она, не колеблясь ни минуты, заслонила его от пули.

Он, тоже не колеблясь, сразу решил не связывать себя ничем, даже простым участием.

Весь класс дежурил у ее постели — кроме него. Шли экза-







мены в институты и техникумы. Они сдавали или проваливались, но всегда возвращались к ней посидеть, рассказать, подбодрить. Он тоже сдавал и, сдавая, познакомился с одной абитуриенткой. Когда его одноклассницы попросили у него письма и фотографии, он отдал с явным облегчением: «Берите, они мне больше не пригодятся».

Потом был суд — с судебно-баллистической экспертизой, с защитником, со всем, чему надлежит быть на суде... Подсудимый, из-за которого стряслась беда, неожиданно попросил слова. Он сказал, что готов понести высшую меру наказания и что суд, которым он судит себя все эти дни, страшнее приговора.

Он стал на колени перед матерью девушки...

Судья после окончания процесса признался: стало легче дышать, когда выступил подсудимый, слишком тяжкое впечатление производило поведение бывшего товарища пострадавшей.

Но за это не привлекают к ответственности, не правда ли?

...Несчастье разрушило круг привычных отношений. Внезапно обнажилось то, что ребята не знали ни о себе, ни друг о друге.

\* \* \*

Все, что происходит с нами и в нас, вязнет в неприметной череде дней, редко выявляясь так явственно, как в этой трагической истории. Трагедия вынужденно обнажает истинную систему ценностей, которой руководствуется тот или иной человек.

Есть, пить, быть обутым-одетым, жить в удобном доме — это низшие ступеньки иерархии ценностей, так считают социологи. Дальше идет ступенька ценностей социальных — почет, награды, признание среди членов своей микрогруппы. Совесть, честь, доброта, самопожертвование, гражданские идеалы — это высшая ступень.

В обычной жизни не так часто что-то случается. Ничего не случается, просто накапливается. Человек даже не подозревает порой, что что-то происходит — ничего не происходит!

Нет, происходит!

Так возникает понятие психологического времени, измеряемого снятой неопределенностью. Так, видимо, можно попытаться измерить то почти неизмеримое, что называется рис-



ком, подвигом, сомнениями, страхом, муками творчества, поисками общения с другими людьми. И все вместе называется жизнью.

Измерить неизмеримое?

## Ряды выборов

Свою жизнь трудно оценить. Трудно оценить и понять жизнь близких нам людей.

Зато как отчетливо видна разница между бытовым и психологическим временем в литературных произведениях.

...Александр Дюма-сын вспоминал. Однажды он навестил своего сильно постаревшего знаменитого отца. Отец с увлечением читал какую-то книгу. Это были «Три мушкетера».

— Я давно дал себе слово их перечитать, чтобы понять, в чем же дело.

— Ну и как? — спросил сын.

— Хорошо, — ответил автор «Трех мушкетеров».

Хорошо, ответил он, но почему хорошо, он так и не понял, так и не объяснил ни себе, ни сыну. Поколения читателей увлеченно листают Дюма, В. Скотта, Стивенсона. Ну и как? Хорошо! Но почему, мы не можем объяснить. Ни себе, ни своим детям. А может, стоит попытаться?

Вот Роберт Льюис Стивенсон: худощавое лицо, вислые усы, глаза большие и грустные — хрупкий отпрыск славного шотландского рода.

Удивимся снова и снова: откуда у Стивенсона такая неслыханная популярность? Сколько книг и до Стивенсона, и после него было о пиратах написано. Сколько подлинных пиратских хроник было издано. При нашей всеобщей любви к документальности и мемуаристике пора бы и забыть Стивенсона. Ничего подобного!

У Стивенсона масса событий, каждые несколько страниц — выбор. Но все события, все выборы происходят вокруг одного мальчишки — юнги Джима Хокинса. Разумеется, все герои романа, как тому и положено в приключенческой литературе, действуют. Но действуют по строго заданной программе. Программа вытекает из особенностей службы, характера, воспитания. Капитан действует как капитан, доктор как доктор, пираты как пираты. Только один, самый слабый из них, мальчишка все время выбирает, все время ведет себя неожиданно.

Потому нам так и интересно: совсем неинтересно, когда выбирает сильный. У сильного все и так должно получаться.



А вот когда выбирает слабый... Это как с подвигами Геракла. Если бы он был самым сильным, тысячетлетняя память не пересчитывала бы его подвиги.

А нетленные мушкетеры Александра Дюма? Напор, нахальство, смелость, умение выпутаться из любой сложной ситуации, полное пренебрежение к собственным неудачам, детская радость при любой удаче.

У мушкетеров только выборы и их реализация. Быта нет, нет вязкого физического времени, в котором живут и действуют герои: попробуй успеи еще о чем-нибудь рассказать, если на каждой странице что-то происходит.

Может быть, в этом кроется секрет очарования Дюма? Именно поэтому он неизбежно перешел, «сполз» к детям? В десять—двенадцать лет естественным образом живешь в мире игры и приключений.

В эти годы еще не интересна бытовая ткань того мира явлений, в котором разворачиваются чудеса и трагедии неожиданного выбора.

Именно здесь-то, должно быть, и кроется загадка. Именно здесь начинается тот принцип восприятия художественной литературы, который можно назвать принципом гармонии между физическим и психологическим временем.

Приключенческая классика — удобная модель: она дает нам ясный спектр переходов и соотношений бытового и небытового времени.

У Дюма полно описаний, но каких? Когда он описывает дворец, улицу или крепость, придорожный кабачок, все ясно, вот-вот начнется дуэль, скандал или драка. Читатель быстро к этому привыкает и не ищет в романах Дюма рассказа о том, как жили французы в XVII веке: смешно искать то, чего нет. Зато оторваться от чтения невозможно, герои все время совершают поступки, значит, вроде бы, по логике вещей, совершают выборы.

Ничего подобного. Дюма ловко дурачит легковверных читателей. Выполнять или не выполнять поручение королевы, принять или не принять вызов на дуэль, кого предпочесть: короля или кардинала — на самом деле никто ничего не выбирает, все выборы предписаны заданностью характера д'Артаньяна — авантюрист, он действует так, чтобы было интересно. Это он ведет авторскую иллюзию, это он погружает читателя в якобы психологическое время.

А у Стивенсона и вправду нет физического времени. Грот, бизань-мачты, галсы, рей — весь морской антураж лишь декорации, мы даже не стараемся расшифровать их назначение, нам, в общем-то, все равно, как устроен парусник. Зато нам все равно, как живет и действует в романе отваж-



ный мальчик Джим Хокинс. Он совершает настоящие выборы и тем самым погружает нас в психологическое время.

И наконец, еще одна ступенька времени — романы Вальтера Скотта. С него-то и надо было начинать наш разговор!

\* \* \*

«Никакие дальние страны не могли сравниться с очарованием, которым дышат страницы Дюма, и даже мои друзья кажутся мне не столь живыми, а пожалуй, и не так дороги мне, как д'Артаньян». Это запись в дневнике Роберта Льюиса Стивенсона.

Стивенсон не мог не читать и не любить Александра Дюма-отца. Без влияния Дюма могли быть написаны остальные 29 томов его 30-томного собрания сочинений. Для создания «Острова сокровищ» мушкетеры необходимы: нужна была модель, от которой Стивенсон мог бы оттолкнуться.

И в самом деле, оказывается, нужна! В эту модель Стивенсон, как выясняется, играл всю жизнь. Больше того, он четко распределил мушкетерские роли между своими друзьями, и детская эта игра свято игралась на протяжении десятилетий.

Человека книжного, болезненного, Стивенсона тянуло к деятельному д'Артаньяну всю жизнь. К чести его надо признать тот факт, что, будучи уже прославленным мастером слова, признанным стилистом среди английских писателей, он не отрекся от своего юношеского увлечения второсортной, так тогда считалось, литературой Дюма и его примитивными, так опять-таки считалось, героями.

Тончайший стилист, воплощение высокого интеллектуализма, и рядом признание в любви к тем, кто не заслуживал простого внимания. А Стивенсон продолжал свое. В очерке «Книги, оказавшие на меня влияние» на первом месте у него Шекспир, на втором — д'Артаньян из «Виконта де Бражелона».

Загадка, не правда ли? Но без этой загадки мы вряд ли получили бы «Остров сокровищ».

Великолепный знаток психологии человека, автор «Мистера Джекила и мистера Хайда», где герой повествования разделен на себя, прославленного, знаменитого врача, и себя, существо мелкое, безжалостное, злобное, способное на любое преступление, где Стивенсон вынес вовне, материализовал все дурное, что человек подсознательно в себе скрывает в образе своего прямо противоположного двойника, Стивенсон первым в мировой литературе четко развел человека на его сознательное и бессознательное начало. Словно разрубил на две



части хорошее и плохое. И это произошло за несколько десятилетий до возникновения учения о бессознательном, до дискуссий о том, как устроен человек и куда отнести его неосознаваемые импульсы.

Книги Стивенсона обладают высокой моделирующей силой. «Мистера Джекила и мистера Хайда» любят цитировать психиатры. «Остров сокровищ» — единственная книга Стивенсона, которую читают все. Только однажды удалось Стивенсону прорваться в модель, внятную всем, в стопроцентно очищенное психологическое время — в непрерывное действие.

Стивенсон прекрасно понимал, в каком мире приходится жить его современникам. Это ему, романтику и певцу белых парусов, принадлежат такие слова: «Мы в намордниках, и потому приходится оставлять без внимания по меньшей мере половину жизни, нас окружающей... Какие книги мог бы написать Диккенс, если бы ему позволили! Какие книги написал бы я сам! Но нам дают лишь ящик с игрушками и говорят: «Вот играйте и больше ни о чем не думайте!» Оружием буржуазии является голод. Если писатель приходит в столкновение с ее узкими понятиями, она просто и без разговоров лишает его средств к существованию. Сколько же талантов уничтожается на каждом шагу таким способом».

Стивенсон взял ящик с игрушками и смастерил конструкцию необычайной долговечности. Как показало время, он был выдающимся конструктором. Но ни один конструктор не начинает на пустом месте. Конструктор уже успел вдоволь наиграться в другие игрушки. Вымышленный д'Артаньян из чужого ящика с игрушками казался ему ближе и дороже самых близких друзей.

Но оба конструктора — и Дюма и Стивенсон — не были изобретателями. Уже была изобретена и налажена методика ухода в приключение. Уже многое до этих двух было придумано. Уже сражались, боролись за справедливость, уже путешествовали по прошлому целые полчища положительных, отрицательных и вообще никаких, самых посредственных героев.

В первой трети XIX века господствовал Вальтер Скотт со своими моделями. Именно он стал в литературе одним из самых талантливых «показчиков» любопытнейшей и сверхсовременной сейчас проблемы — извечной человеческой потребности в неопределенности. Именно в его романах искусно сочетается время, то, о котором мы толкуем, — физическое и психологическое.



Красочные длиннейшие описания: как и что ели, как готовили еду, что пили, во что одевались, как стояли военными лагерями, как жгли костры и пели песни, как любили и как объяснялись в любви, как добивались руки возлюбленной, как сражались на турнирах, как верили старинным легендам, как блюли правила древней рыцарской чести, как претенденты воевали с королями, из-за чего разгорались религиозные войны, как плели хитроумные интриги, а потом едва выпутывались из собственных сетей.

Как голубеют на восходе шотландские горы, покрытые вереском...

Все это один человек — писатель Вальтер Скотт.

Он обладал удивительным даром показать страну, разные слои общества, отдельного человека в момент наивысшей неопределенности, когда стране, тому или иному классу, человеку предстоит сделать решающий выбор. Он умел показать подземные толчки, малейшие колебания в мире, он отдавал себе отчет в той силе, которая заложена в неопределенности. Его повествование обычно колеблется так же, как неопределенность, заложенная в самой истории.

Неопределенность существует исторически, а воплощается в личности. Это он хорошо чувствовал. Он населил свои романы героями, существовавшими на самом деле, и героями вымышленными. Это он уверенно использовал прием — показ исторических событий через то впечатление, которое они производят на простого человека. Это очень известный прием: вымышленный, сочиненный человек становится исполнителем доброй или злой воли известного исторического лица. Этот прием относится не только к исторической классике Вальтера Скотта — он отражает специфику литературы вообще.

В фильме «Семнадцать мгновений весны» действуют фашистские главари, но они уже наверху, уже у власти. А как это делалось? Как они пробивались? И вот где-то в середине фильма возникает отвратительный мелкий провокатор, vykлянчивая у Штирлица дефицитные рыбные консервы, он рассказывает о технологии своей работы: он удачлив, по его показаниям гестапо арестовало около ста человек. Так вот как это делается. Вот кто устилает путь наверх, вот откуда чины и регалии!

Зрителю становится видно, какими способами создавалась гитлеровская машина, как она набирала скорость.

И еще один ход. В самом конце фильма группенфюрер



Мюллер призывает на помощь своих бывших коллег, старых сыщиков. Теперь ясно, из каких кругов он вылез! От каких людей отталкивался.

Старый-престарый прием, зритель зачарованно ожидает следующей серии детектива Юлиана Семенова, забывая, что с приемом этим знаком с детства, с тех пор, как глотал книжки Дюма и Вальтера Скотта.

\* \* \*

Но вернемся к романам Вальтера Скотта. Бытовое время разных веков, история Шотландии, Англии, Франции, «замковое» время, как назвал его замечательный наш литературовед М. М. Бахтин<sup>1</sup>. В медленном течении бытового времени, в замках и их окрестностях, на дорогах, в придорожных харчевнях происходят поначалу не очень торопливые события.

Роман «Квентин Дорвард» начинается фразой, немислимой для писателя XX века, да и для читателя тоже: «Вторая половина XV столетия подготовила ряд событий, в итоге которых Франция достигла грозного могущества, с той поры не раз служившего предметом зависти для остальных европейских держав». Дальше идет характеристика Людовика XI: во-первых, он был такой-то, во-вторых, в-третьих... Почти школьное сочинение по своей бесхитростной пунктуальности!

И тем не менее читателя завораживает сама фактура повествования. К тому же, как на надежном шампуре, оно держится на пробох — выборах. Это действует юноша, почти мальчик, шотландский стрелок Квентин Дорвард. Он ловок, смел, неискушен, не очень умен, очень необразован. Он робко пытается бороться за справедливость. Своеобразная смесь самых разных, весьма неудобных для спокойной жизни черт характера приводит к тому, что Квентин все время попадает в передраги.

И в этом романе повторяется излюбленная схема В. Скотта: известные исторические лица, короли, вельможи, герцоги, шуты, предсказатели и среди них выдуманный мальчишка, тянущий на себе весь сюжет.

Не стоит утомлять читателя перечислением тех выборов, которые приходится делать юному шотландцу. Вот что, однако, существенно для нашего разговора: психологическое время стремительно сгущается, спрессовывается к концу повествования: Вальтер Скотт словно вознаграждает читателя за долготерпение.

С эпически-спокойным стилем покончено, каждые три-че-

---

<sup>1</sup> См. «Вопросы литературы», 1974, № 3.



тыре страницы следует выбор: поединок, еще поединок, кажется, вот-вот неминуемая гибель и... счастливый конец со свадьбой и огромным приданым.

...Несколько недель читала я Вальтера Скотта том за томом, последнее собрание сочинений на русском языке. Читала, составляла графики: как соединяет великий романист физическое и психологическое время.

До чего же изнурительная работа! Как скучно и утомительно читать подряд Вальтера Скотта. Неловко признаваться даже: ждала, откладывала в предвкушении уютных вечерних часов. И вот пожалуйста, никакой радости, одно глухое раздражение.

Графики, подсчет страниц: через какие интервалы происходит очередное событие — громоздились на столе, казалось, без всякого толку.

«Уэверли», «Эдинбургская темница», «Вудсток», «Шотландские пуритане», «Антикварий», «Граф Роберт Парижский»... неделя, еще неделя, конца не видно подсчетам. Заговоры, темницы, разные страны и разные века, короли, министры, полководцы, рыцари, благородные разбойники, мастеровые, солдаты, крестьяне, пастухи, горцы враждующих кланов... ганноверцы, якобиты, виги, тори... гражданские войны и восстания, религиозная нетерпимость — везде что-то происходит, случается — то слишком медленно, то вдруг очень быстро.

\* \* \*

Первый его роман, «Уэверли», пользовался у современников необычайной популярностью. Сейчас он почти забыт. Герой его, молодой дворянин, отпрыск старинного шотландского рода, получает отпуск в полку. Служить ему не очень хочется, он даже возмущен, что его торопят отбывать воинскую повинность, но что поделаешь. Дальше он невольно оказывается замешанным в заговоре, его судят. Но это дальше, а в начале романа он едет.

Он едет пятьдесят страниц, сто, двести — ничего не происходит: идет этнография, быт, описание нравов горцев, жизнь разбойников.

Наконец, на двести одиннадцатой странице что-то случилось. И то хорошо! Еще через несколько десятков страниц нескладеха Уэверли объясняется в любви. Кончается это нелепо, как, впрочем, все, к чему имеет касательство этот молодой человек: «в конце концов он оказался перед той же неопределенностью».

Выборы Уэверли тонут в море физического времени.



...В. Скотт написал десятки романов. Читают и перечитывают чаще всего три: «Айвенго», «Роб Рой», «Квентин Дорвард».

В чем тут тайна? Видимо, если 200 страниц приходится ждать события, потом оно происходит на 3—4 страницах, этого читателю мало, это читателя утомляет. Каким бы ни было это долгожданное событие, оно не способно выдержать столь огромного давления фактов — пресса физического времени.

А если выстраивается приблизительно такая картина? 100 страниц — событие, через 50 — следующее, дальше — 30, 25, 20, 16—17, 14—12, 11, 10, 9... Если до первого события в романе  $A$  страниц, то до второго —  $\frac{A}{2}$ , до третьего —  $\frac{A}{3}$ ,  $\frac{A}{4}$ ,  $\frac{A}{5}$ ,  $\frac{A}{6}$  ...  $\frac{A}{n}$ . Или  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{5}$  и т. д.

Именно так распределяются события — выборы в лучших романах В. Скотта. Тех, которые читают и сейчас. Именно они выдержали проверку временем.

Медленно, достойно, размеренно, потом все быстрее, быстрее; последние двадцать страниц время несется бегом.

Там же, где физическое время слишком растянуто, где не просто «мало что происходит», а происходит НЕ ТАК, не соблюдается закон ускорения, там Вальтер Скотт проигрывает...

Безошибочное читательское восприятие выбрало лучшее в творческом наследии Вальтера Скотта. Читают и любят те его книги, где ему удалось счастливо сочетать бурные события и эпические описания, где он достиг баланса между физическим и психологическим временем.

Еще раз вглядываюсь в ряд получившихся цифр, плод утомительных штудий. На что же он похож? Постойте-ка! Ведь это как раз тот самый ряд, который приводится в любом втузовском курсе высшей математики. Тот самый ряд, с которого начался давний наш разговор с математиком. Кажется, еще Эйлер назвал этот ряд гармоническим.

Гармонический ряд, гармония... Это чисто словесная ассоциация. Но все-таки.

«Числа правят миром», — сказал Пифагор. Неужели числа правят нашим восприятием, нашим вниманием, нашей способностью к соучастию и сопереживанию? Неужели? Пусть подсчеты сделаны наспех, пусть недостаточно отработана методика, пусть! Но ведь что-то в этом гармоническом ряде есть: некая таинственная универсальность законов человеческого восприятия, о которых наука знает еще совсем мало, а мы, читатели, вообще не догадываемся.

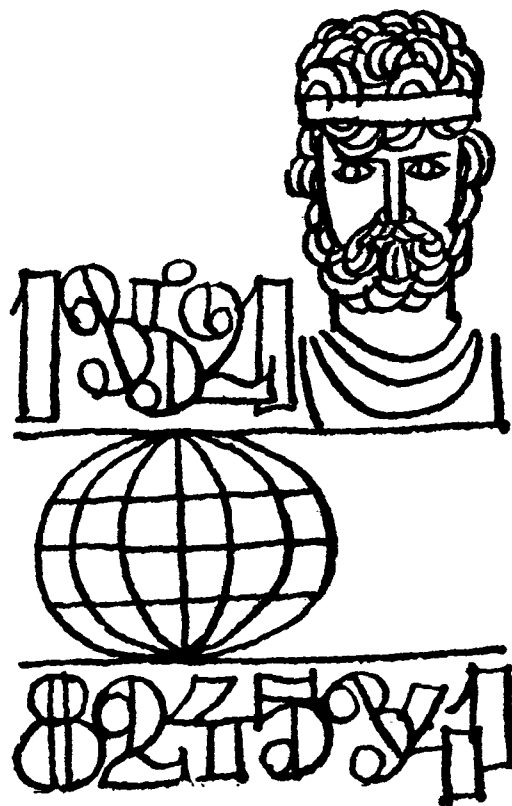


Да к тому же он похож еще на один, столь же таинственный закон в лингвистике, открытый не так давно,—закон Ципфа. Если в цельном законченном тексте самое частое слово встречается  $A$  раз, то следующее по частоте будет встречаться в два раза реже, следующее в три... и так далее. Это и есть закон Ципфа.

Снова  $\frac{A}{2}, \frac{A}{3}, \frac{A}{4}, \frac{A}{5}$  и т. д.

Помню, как лет десять назад я пыталась понять, почему так происходит. Лингвисты пожимали плечами: «Закон есть закон». «Целостному тексту присуща, видимо, некая гармония формы, и проявляется она в количественном соотношении между числом словоупотреблений» — так они тогда говорили. Больше они ничего не знали. И сейчас не знают.

Тот же закон, но на другом материале. Только роль слова выполняет событие. Частота его употребления — то физическое время, которое оно способно протащить на себе.



\*\*\*

...Длинные вальтер-скоттовские вечера оказались вовсе не бесплодными. И в литературе и в жизни нам хочется, чтобы время от времени что-то происходило, совершалось, менялось. Интересно, оказывается, бывает только тогда, когда что-то случается.

«Числа правят миром», — сказал Пифагор. Самые популярные романы Вальтера Скотта действительно «скроены» наиболее гармоническим образом. Но заключена в них и другая тайна. О ней однажды обмолвился Аристотель, организованнейший ум древности, полагавший, что разум — высшее из того, что таится в человеческой душе. Это он, как будто противореча самому себе, заметил однажды: «Самое загадочное в человеке — это нравственность».

...Разглядываю гармонические ряды выборов в лучших романах Вальтера Скотта.

$$\frac{A}{2}, \frac{A}{3}, \frac{A}{4}, \frac{A}{5}, \frac{A}{6} \text{ —}$$

все это так, конечно, это существенная математика нашего восприятия, но к тому же это самые значительные, то есть самые нравственные выборы.



Айвенго, Роб Рой, Квентин Дорвард — самые благородные герои в творчестве писателя, герои, чья жизнь открыта другим людям. В лучших романах В. Скотта заключено то чисто человеческое, что не удастся пока заключить в скобки математической формулы времени.

### Что есть счастье?

Разговор о выборах вести довольно просто, пока речь идет об остросюжетной литературе, где легко заметить выборы, где явственно различимы события.

У великой литературы — великие выборы. В ней сами герои живут в психологическом времени невидимых выборов. Так расцветающий дуб, мимо которого проезжает князь Андрей после встречи с Наташей, меняет настрой его внутренней жизни, становится событием.

Представить себе бравых мушкетеров, заглядевшихся на расцветающее дерево, невозможно. Или пиратов, остановившихся полюбоваться на заход солнца. Полюбовались и поплыли дальше, резать и убивать друг друга, искать сокровища.

В приключенческой литературе все происходит так, как хорошо бы происходило в жизни, — все время интересно, все время события, все время кристально ясно, что именно стоит выбирать.

Великая литература и ее выборы заставляют страдать от неожиданности. В этом смысле все в ней происходит как в жизни.

Как бы ни делились времена Стивенсона, Дюма, Вальтера Скотта, их книги обладают великим достоинством: ничего не нужно распознавать, все ясно. Не задаешься вопросом, с которым подходишь ко всем и ко всему на свете: «А я как бы поступил?»

Ну конечно, точно так же, как замечательно смелый и неотразимо привлекательный герой.

Жизнь довольно часто похожа на большую литературу. И, к сожалению, редко на приключенческую.

В реальной жизни нам приходится распознавать выборы — вот в чем беда. И самим определять момент, когда надо совершить выбор. Что может быть тяжче! В реальной жизни на каждом шагу нас поджидает противопоставление привычного хода бытового времени и необходимости что-то в нем менять.

...Сидят люди, чай пьют, разговаривают — все, как всегда. Или ссорятся, ничего особенного, ссорились так десятки раз. Поссорились — помиряются.



Мирный вечер, пустяковый разговор... И в эти пустые, казалось бы, минуты происходят события. Время меняет качество.

Это человек, сам о том не догадываясь, делает выбор. Это он решается. Это кончается неопределенность — все! Больше так жить он не хочет. Как угодно, пусть хуже, пусть совсем плохо, но только не так.

Совершая выборы, мы прорываемся в психологическое время. Тут возникает мысль странная и несколько спорная. Может быть, счастливы только те люди, которым удастся прожить жизнь в личном времени?

Может быть, умение жить — это умение делать выбор? Или лучше так сказать: умение жить — это умение находить выборы в ситуациях, кажущихся полностью predeterminedными.



## Как измерить выбор?

К Новому году я получила поздравительную открытку. Пересекая Деда-Мороза, Снегурочку и снежные звезды, неслись строчки:

Какой ценой дается совершенство?  
Ценой каких несбывшихся забот?  
Кого безбожный гений предает  
В последний миг предгробного блаженства?  
Усталой мысли незрелый плод,  
Ума холодного угрюмое надменство,  
Предательство в обносках джентльменства,  
Иуды погубительный расчет.  
Невыносима точной мысли голость,  
Ее огнем сжигается дотла  
Лукавство изворотливое зла.  
Но чтобы истины услышать голос,  
Необходимо, чтоб любовь свела  
Мысль мудреца и детскую веселость.

Дальше шла фраза:

То же, только на другом языке.



Психологическое время  $T$ , прошедшее между двумя моментами физического времени  $t_1$  и  $t_2$ , можно измерить суммарным информационным содержанием всех выборов, реализованных за этот интервал времени.

$$T = \sum J(Q_t), \text{ где } t_1 \leq t \leq t_2$$

На языке математики связь между психологическим и физическим временем описывается через производную  $\frac{dT}{dt}$ . Если производная  $\frac{dT}{dt} = C$  — постоянная величина, значит, выборы равномерно распределены в физическом времени. В жизни, во времени физическом, величина  $\frac{dT}{dt}$  обычно равна нулю. Она становится большой только в особые интервалы времени, насыщенные событиями.

Какой ценой дается совершенство,  
Ценой каких несбывшихся забот?  
Побольше сбывшихся забот в наступающем году!

\* \* \*

Вот так! Сонет плюс формула. Неплохо.

Прошло еще какое-то время. Почта принесла бандероль. Рукопись статьи, принятой к печати<sup>1</sup>.

Заголовок: «Сложные системы и космологические принципы». Очень приятно, но при чем здесь я? Ни в сложных системах, ни в космологических принципах я не разбираюсь. Дарить просто так, чтобы потешить свое мелкое тщеславие, не в правилах моего ученого приятеля. Тогда что же? Пришлось читать. Смысл подарка разъяснился ближе к концу:

...Информационный подход позволяет эксплицировать понятие события, придав ему содержание. Для несвободной (детерминированной или стохастической) системы событий в строгом смысле не существует. Такая система действует в чистой длительности. Другое дело система, которая осуществляет свободный выбор. Для такой системы каждый выбор имеет некоторое информационное содержание.

Понятно, это начало нашего тогдашнего разговора. С первой же фразы начинаются ученые слова. «Эксплицировать», говоря по-русски, — это выразить нечто в точной системе понятий.

Дальше возникает выражение «несвободная система». Видимо, автор подразумевает под ним механизмы, чью работу можно прогнозировать. Так он пытается отделить неживые системы от живых.

<sup>1</sup> Ежегодник «Системные исследования». М., изд-во «Наука», 1975.



От нас — дошло до меня наконец. Потому что нас, живые системы, как он называет нас на своем языке, предсказывать нельзя. Потому мы и живые, что неожиданные.

Пока как будто бы все понятно.

Мы — на его языке — система со свободными выборами. Свободный выбор — это выбор, не записанный заранее в памяти, в нашей внутренней структуре. В самом деле, если даже удастся изучить каждую клетку мозга человека, все равно нельзя предсказать, что человек этот способен совершить через пять минут.

Пошли дальше:

Каждый выбор имеет некоторое информационное содержание.

Это автор приступает к главной теме. Это он хочет показать, как с помощью своей математики возможно измерить выбор. Силу его — так он тогда говорил.

А может быть, бесстрашие выбора, его отчаяние, бесшабашность? А может быть, то, насколько мало способен человек знать заранее о своем выборе вообще?

Как же понять, что он такое пишет? Ну, например... например, любовь с первого взгляда! Разве можно «спланировать» ее заранее? Нет, конечно! Самый непредвиденный из всех человеческих выборов!

И отложились ученая статья. Вспомнились разные истории. Вспомнился Булгаков с его «Мастером и Маргаритой»:

«— Она несла в руках отвратительные, тревожные, желтые цветы... и меня поразила не столько ее красота, сколько необыкновенное, никем не виданное одиночество в глазах! Повинуясь желтому знаку, я тоже свернул в переулок и пошел по ее следам...» Это мастер рассказывает историю своей любви сумасшедшему поэту Ивану Бездомному.

«— ...не пропускайте, пожалуйста, ничего!» — умоляет его Иван.

Я вдруг поймала себя на мысли, что, когда нам рассказывает самую банальную любовную историю самый обыкновенный человек, мы просим о том же: «Не пропускайте, пожалуйста, ничего!» Любовь с первого взгляда всегда поражает, хотя наш собеседник, когда мы просим: «Дальше, дальше!», так же, как мастер в романе Булгакова, обычно отвечает нам: «Дальше вы могли бы и сами угадать».

Дальше у всех очень похоже.

«Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих. Так поражает молния, так поражает финский нож!»

И дальше опять, как у всех, всем возлюбленным это ка-



жется. Кажется это и героям Булгакова. Они утверждали впоследствии: «...любили мы, конечно, друг друга давно, не зная друг друга никогда, никогда не видя...»

Эти пронзительные общечеловеческие состояния, этот выбор, о внезапности которого грезят в юности, он тоже наделяет «информационным содержанием»? Укладывает в формулу?

Где же она, кстати? Вот она, голубушка!

«Да, любовь поразила нас мгновенно. Я это знал в тот же день уже через час...» Через час мастер и незнакомка шли по городу и «разговаривали так, как будто расстались вчера, как будто знали друг друга много лет».

Отношение собственного времени к физической длительности есть важная характеристика системы. По-видимому, наши ощущения от времени («время долго тянется» или «время летит») связаны с непосредственным переживанием.

Но бог с ним, с Булгаковым. Что странного в том, что созданный воображением писателя одареннейший мастер, сочиняющий в романе собственный роман, где он повергает своих героев в мученическую вечную жизнь в психологическом времени, прислушивается к событиям своего внутреннего мира.

Что странного в том? Ничего.

Но вот забитый, замордованный, униженный пьяница-мужик, герой небольшого рассказа одного молодого писателя, везет свою старуху в больницу, по дороге старуха помирает, слышно, как стучит об сани ее голова. Начинается метель, снег застит глаза, мужик не знает, куда поворачивать жалкую клячу: то ли на кладбище прямо везти старуху, то ли в больницу. И вдруг его пронзает мысль: «Как на этом свете все быстро делается!»

Это его первая мысль о жизни, отмечает писатель. Первый раз из времени физического, наполненного пьянством, мордобоем, безобразием, нищетой, мужик выброшен во время событий.

И первая его мысль о жизни — мысль о времени.

«Как на этом свете все быстро делается! Не успело еще начаться его горе, как уж готова развязка. Не успел он пожить со старухой, высказать ей, пожалеть ее, как она уже умерла. Жил он с нею сорок лет, но ведь эти сорок лет прошли словно в тумане».

Г. Б. Башкирова (устное сообщение) заметила, что категория собственного времени возникает и в литературном произведении. Попытка эксплицировать положение Г. Б. Башкировой и привела автора к предыдущей формуле.





Никаких формул нет, никаких устных сообщений, кроме брани, за последние 40 лет к герою рассказа не поступало, он абсолютно бесправен — едет и гадает, как поскладней упасть в ноги доктору, чтобы тот не отказался полечить старуху, — да еще снег застит глаза, и старуха, дура, помирает. Мужик сбивается с дороги, начинает замерзать, и вот тут приходит к нему прозрение: вся их жизнь со старухой, все 40 лет были только мигом.

Как на этом свете все быстро делается!

Бытовое время с его привычным, пусть безобразным течением, в котором он жил по-своему безмятежно, без горя и радости: пил, буянил, бранился, махал кулаками, бил жену, — кончилось. Он чувствует в душе безмерное одиночество и ужасную боль. «Сызнова бы жить! — думает он. — Деньги бы старухе отдавать... да!» И он роняет вожжи, руки не действуют.

По-видимому, пересмотр традиционного воззрения на время имеет серьезное значение для живых систем.

В несвободных системах начальные и конечные причины равноправны с точки зрения самой системы, поскольку здесь нет личного времени.

В свободной системе время имеет как бы внутренний напор.

«Ей бы, дуре, еще лет десяток прожить, а то небось думает, что я и взаправду такой».

Нет-нет! Нужно сосредоточиться, нужно попытаться разобраться. Должен же за сложностью формулировок скрываться свой потаенный смысл.



...Убегают мысли, наталкиваясь на непонятное. Пришел и не оставляет мужик-горемыка. Это ранний рассказ Антона Павловича Чехова. Это совсем еще молодой человек, по нашим нынешним представлениям о возрасте, рассказывает о тайне человеческой души — тайне постижения времени.

Не думал Чехов, конечно же, ни о выборах, ни о психологическом времени — понятия такого еще не существовало. Он размышлял о правде внутренней жизни человека, понявшего вдруг слово «поздно». Он размышлял о том, что станет проблемой завтрашнего дня науки — проблемой времени, ставшая физическое время, сорок лет жизни двух людей и внезапность тяжкого понимания, ощущаемого во времени подробнее и длительнее сорока мигам пролетевших лет.

Чехов показывал, что погружение, пользуясь формулировкой математика, в «личное время свободной системы» — самое страшное из того, что случается на свете.

В физическом времени все хорошо: «Успею, смогу, будет завтра, еще не поздно».

Только психологическое время неозвратно, необратимо: «Небось думает, что я и взаправду такой».

Скачок во времени связан у Чехова с нравственным прозрением.

Это об этом тайном ужасе пишет автор статьи? Внутренний напор психологического времени, цепь взаимно-привязанных выборов — это он об этом пишет?

В свободной системе время имеет как бы «внутренний напор». Здесь будущее неопределено начальными условиями или конечными целями, но творится в самом временном потоке, составляющем цепь взаимопривязанных выборов. Но свободная органическая система может и не проявить своих выборов. Тогда она начинает существовать только в физическом времени и становится неотличимой от неорганической системы.

Нет-нет, надо дочитать.

Дальше в статье все вполне доступно пониманию, если под словами «разновидность сложной живой системы» всякий раз подставлять слово «человек». Если эта разновидность системы никак не проявляет своих выборов, она перестает отличаться от неорганической, утверждает автор.

Не от дерева, продолжала я кропотливый перевод на общедоступный язык, у них, как выясняется, есть свое внутреннее время. Не от рыбы, у них тоже обнаружены свои выборы — от камня. Что ж, в этом есть своя логика: как только человек перестает выбирать, он постепенно умирает, превращается в нечто сходное с неорганическим.

Все это, конечно, так.



Но умирает в одночасье в глухой русской деревне старуха, и нечто вроде и нечеловеческое, почти сходное с неорганическим по полному отсутствию духовной жизни оказывается живым, страдающим человеком.

Не о человеке же только речь в статье — о сложных системах. Значит, формула вмещает человека в том числе.

Формула, вмещающая человека. Человека, с его болью, страхом, отчаянием, одиночеством.

Умирает старуха, и жалкий пьянчужка впервые в жизни понимает, что жить без нее не может.

Думает он об этом просто:

«Ей бы, дуре, еще лет десяток прожить...»

## Наука пользы и истины

Давно кончилась зима, миновала весна, приближалось лето. Мы все спорили о формуле времени. Я утверждала, что формула ничего не подсчитывает и не очень многое объясняет, скорее просто свидетельствует: «Да, это в человеке есть».

Математик, обычно склонный довольно иронически относиться к всемогуществу науки, на этот раз защищался самоотверженно и страстно. Он утверждал, что все гуманитарии видят в науке только одну сторону, эмпирическую. Что они привыкли высокомерно отказывать ей в объяснительной силе: объяснять, по их мнению, может только литература. Они считают, что наука, математика, прежде всего занимается только тем, что описывает, как ведет себя тот или иной объект, и предсказывает его поведение — например, поведение движения снаряда.

Математике отдают поведение.

Себе присваивают суть.

...Гуманитарии понятия не имеют о другой науке, о другой математике, утверждал он через неделю, через месяц, через два, продолжая бесконечный наш спор. Он находил все новые аргументы, он оттачивал их, шлифовал, ему явно помогал негативный настрой оппонента.

Можно и нужно искать математические структуры, лежащие в основе вещей. Такой математике важны не измерения, а сущности: на языке математики суметь точно выразить смутные представления о сущности живого.

Конечно, формула ничего не измеряет. И не хочет измерять. Она всего лишь пытается показать, что происходит внутри человека. Она даже не выборы описывает — извечный страх перед выборами. И потому глубинные структуры личности,



которые не поддаются измерению, с ее помощью искать можно: формула пробует хотя бы дотянуться до них. Дотронуться

Это уже какая-то конкретность. Пусть очень примитивная.

Гуманитарии же обожают абстрактные рассуждения о нелогичности мира, о том, что живой мир не укладывается в логические построения. Как правило, разговоры эти глубоко бессодержательны. Они имеют цену только в устах тех, кто знает, что такое логика. Одно дело — преодолеть логику. Другое — чистое невежество, непонимание логики, физики, математики, всего.

Наука бывает для пользы и для истины, растолковывал математик. «Науку для пользы» признают все, о науке для истины чаще всего вообще не имеют понятия. Нужна и та и другая наука. Но нельзя забывать, что это разные вещи.

Наука будущего, наука, смыкающаяся с философией, — это наука истины. И тут уже не важно, насколько верны какие-то формулы. Это просто другие формулы, те, к которым гуманитарии не привыкли. Это формулы не для пользы, а для истины.

Не для подсчетов формула нужна — для картины внутренней жизни человека.

**«Сызнова  
бы начать»**

«Как на этом свете все быстро делается!»

Можно ли втолкнуть смысл этой фразы в нашу формулу? Ведь без нее картина мира будет неполна, а значит, неточна.

«Выборы, выборы...» — писала я, не употребляя никаких эпитетов.

И вот сама эмоциональная логика нашего спора привела к тому, что без единственного эпитета, так накрепко приставшего к слову «выбор», обойтись, оказывается, нельзя. Язык мудрее, чем порой кажется: сцепления слов в нем не случайны. Слово «выбор» неизбежно тянет за собой слово «нравственный». Нравится, не нравится, но иначе сказать нельзя, не получается иначе, ибо любой выбор всегда протекает только в психологическом, то есть единственно человеческом, нравственном времени.

Все учитывает прекрасная формула, только не это, не качественно иную — этическую — основу времени.

Человек выбирает, решает, действует, догадывается о чем-то... Взрывается внутри него Время. И самое поразительное — он остается при этом жив.



Жалкая, слабая, страждущая, так зависимая от физиологии, так привязанная к земле, побеждает не плоть. Вопреки своей немощи, слабости, жалкости побеждает человек.

Разрушаются от взрывов города, крошатся высоченные горы, а жалкое в немощи своей плоти существо выносит невыносимое: внутренние взрывы собственных мук и прозрений. Словно переплавляет человек свою плоть в моменты нравственных выборов в иное, доселе неизвестное состояние материи.

В голой, вьюжной степи прозревает свою судьбу нищий чеховский мужик.

В заснеженном овраге, в пургу останавливается привычный бег времени для богатого мужика Льва Толстого из рассказа «Хозяин и работник».

Он торопился, богател, подгонял время в погоне за миллионами — деньги, лавка, покупки, продажи. Он в метель поехал торговать у соседа рощу — успеть, не опоздать!

Приходит смертный час: все вдруг оказывается ничтожно, кроме близости к живому человеку рядом, своему работнику, нищему голодранцу. И трудно ему понять: зачем всю жизнь занимался он всем тем, чем он занимался. «Не знал, так теперь знаю», — почему-то спокойно думает он, не боясь смерти; хочется ему одного — отогреть своим телом замерзающего рядом человека. Не пьяницу, не знающего в жизни настоящей корысти, — человека видит он вдруг в своем работнике.

...В двух рассказах возникает объединяющая их грандиозная метафора исчезающего бытового времени.

Пурга, метель, снег слепит, заметая следы, — не проедешь по проторенным дорогам жизни.

Нет пути в хорошо освоенном физическом мире, исчез бытовой календарь привычных обязанностей — все отняла метель. Человек вроде бы ничего уже и не видит.

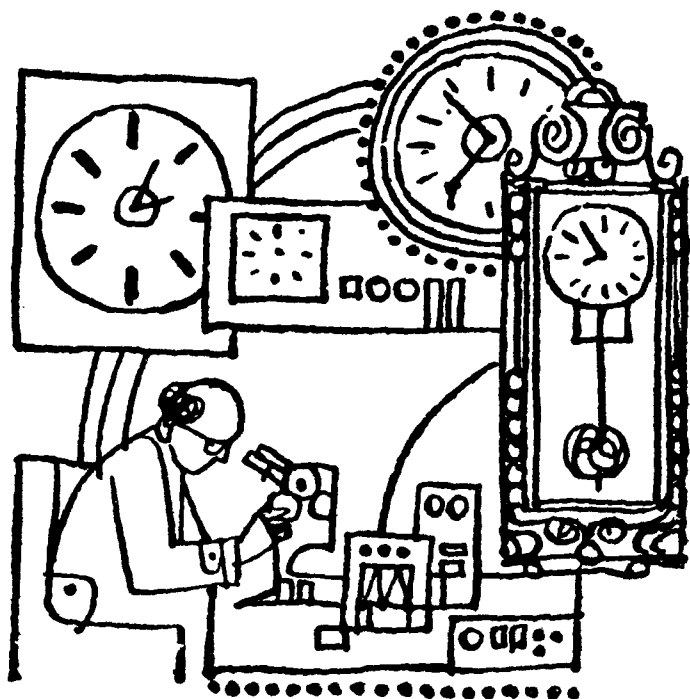
И в этот миг он открывает в себе иное время, прозревая истину о жизни. В этот миг раздается в его душе крик ворона Эдгара По «Никогда!».

Почему это стихотворение хрестоматийно, почему его учат в школе? На пороге жизни надо успеть научить самому главному: «Никогда!» Никогда ничего не вернешь, есть только Сейчас, только сейчас не поздно вести себя так, чтобы не быть потом виноватым.

Страшно кричит ворон, напоминая изысканному поэту о его возлюбленной Линор, пьянице мужику о старухе Матрене, хозяину о его нищем работнике Никите.

В миг прозрения открывается истина. И она ошеломляюще проста — она в другом человеке, в ответственности перед ним, перед тем ближайшим, кто рядом с ним, кто формирует наше





психологическое время. Это чувство вины, эта конечная истина универсальны и непеременимы вне зависимости от того, кто их испытывает и на кого они направлены.

Поэты, писатели, нищий мужик... Нежная возлюбленная Лина, преданная Маргарита, забитая Матрена, муж которой ни разу не был трезв за сорок лет «с ночи свадьбы».

Все одно!

\* \* \*

...Очень важно, значительно и полезно, когда наука решает вопрос о течении времени на Земле и на других планетах.

Чрезвычайно любопытно ставится проблема времени в современном естествознании.

Наверно, было бы очень полезно попытаться исследовать время и события в лингвистике. В любом живом языке, наверное, тоже есть свои события, свои исторические моменты выбора.

Совсем недавно заговорили о течении времени в связи с геологией. В эволюции живого на земле тоже свой отсчет событий, свое время.

...Все хорошо, триумфально, успешно, пока наука занимается неживым.

Но вот она прикасается к человеку, пробует до него дотянуться... И тотчас же обнаруживается парадокс, который волнует всех, а больше всего мучает самих людей науки: на вершине внешнего знания, как на любой вершине, явственно проявляется глубинная ее невозможность охватить всего человека.

Любая, самая остроумная, самая удачная формула оказывается неполной: она не способна вместить немеханическое в человеке и в человеческом времени.

За скобками остается сам человек — с его исступлением: «Никогда!», с его горестным: «Сызнова бы начать», с его внезапно открывшимся: «Я сам про себя знаю, что знаю!», с его ликующим: «Любовь поразила нас, как финский нож!»

Наука созрела для замечательно сложных описательных формул. Только-только начинает она пробовать силы в создании формул содержательных. Что поделаешь, она еще не созрела до того, что сам человек о себе не всегда знает: не так часто раздается в нашей душе крик «Никогда!».



Математик прав: это дело будущей науки, науки истины. Той, которая все-таки вряд ли когда-нибудь сумеет перевести в формулы страшное человеческое «Никогда!».

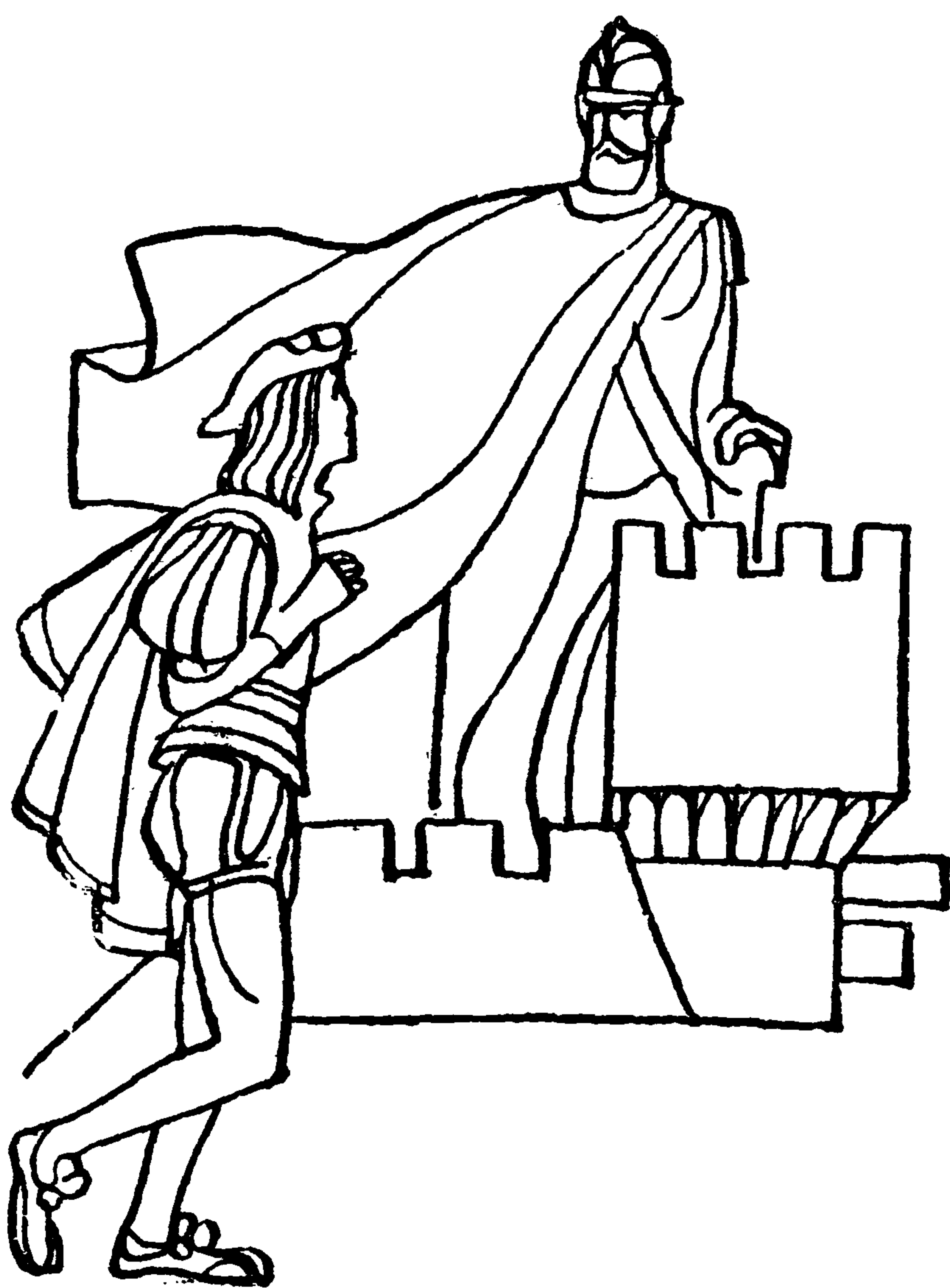
И унижения в том, что это науке не под силу, нет никакого. Ведь сам Нильс Бор сказал: «Обаяние искусства заключается в том, что оно неподвластно систематическому анализу».

Но разве только искусство ему неподвластно? Все сферы духовной жизни. Наша неподвластность — общая беда науки, поправимая в непредсказуемо далеком будущем.

Пока же при всей изощренности своего аппарата все, что способна сказать наука о человеке, — всего лишь обнаженное умозрение. И формула, лаконичная формула тоже умозрение, только намек, только самый общий ключ. Ни с одним конкретным замком, ни с одной человеческой судьбой ему не совпасть.

...Только робкий намек на то, что делает нас в конечном счете людьми: вызов наших выборов, неповторимость наших этических прозрений.





---

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,

*где рассказывается  
не только о Гамлете, Макбете,  
призраках и ведьмах, но также  
и о том, что такое стресс  
и как воздействуют  
на человека стрессоры, что  
такое экзамен с точки зрения  
стресса и как проводится  
профессиональный отбор и,  
наконец, почему людей во все  
времена так тянет узнать  
свое будущее.*



## Сколько на свете Гамлетов?

В тот день мы пришли на дополнительный урок литературы в четверть восьмого утра. В школьной программе Шекспира не было, но наша учительница Суламифь Яковлевна считала, что к Шекспиру следует «хотя бы прикоснуться».

Школа работала в две смены. Мы учились в первую. После уроков оставаться было негде, и мы бегали темными морозными улицами на дополнительные уроки (нам не приходило в голову, что и она должна была поспевать к семи утра с другого конца города на ею же придуманные, вовсе не обязательные уроки).

Собирались мы почему-то в физкультурном зале, сидели кто на чем придется — на матах, на длинных скамейках, просто на полу. Почему не в классе?

Только сейчас, когда вдруг всплыл этот запоздалый вопрос, я вдруг поняла, что физкультурный зал Суламифь Яковлевна выбрала не случайно: он подчеркивал неформальность, свободу наших встреч.

В то утро она рассказывала нам о Гамлете. О том, чем был для нее Гамлет в шестнадцать, двадцать, сорок лет. О разном восприятии этого образа в разные времена. О том, как великие — Гёте, Толстой — относятся к великим — Шекспиру. Она говорила о загадочности Гамлета. Она говорила много — понятного, малопонятного и совсем непонятного. А в конце спросила: «Может ли Гамлет быть вашим героем?»

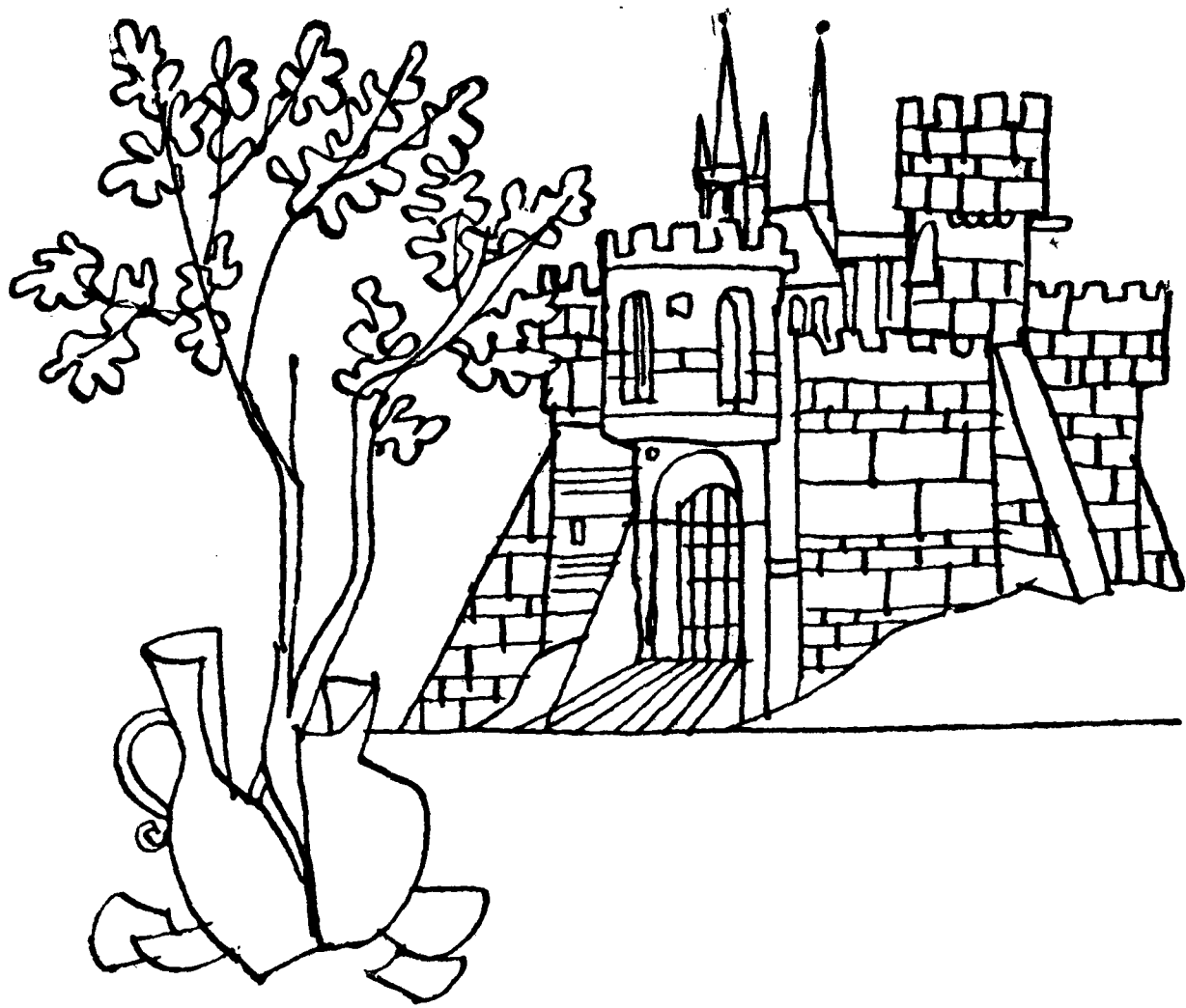
Были ли мы, десятиклассники, подготовлены к ответу на этот вопрос?

Мы были подготовлены к другому, к тому, что Суламифь Яковлевна способна задать такие вопросы.

Она мало походила на обыкновенную учительницу литературы. Более того, она была совсем на нее не по-







хожа. Она не обращала никакого внимания на то, что называется педагогикой и методикой преподавания. Она сердилась и ругала нас «непедагогичными» словами.

Я же была удостоена высшей чести, в меня она однажды швырнула книгой, толстым томом «Войны и мира». Как все в школе, я до холода в груди боялась Суламифь Яковлевну, но на первой парте любое отклонение от правил всегда грозит неприятностями. А школьная жизнь моя ввиду хронически плохого поведения протекала именно на этой столь неуютной, легко просматриваемой парте. Что тогда случилось глубоко криминальное? Не помню. Помню только, как разлетелись по классу разноцветные закладки: синие — Пьер, красные — князь Андрей, голубые — Наташа. Она не попала в меня, Суламифь Яковлевна, чему заметно огорчилась.

Больше всего ее раздражала лень наших шестнадцатилетних душ, неразвитость литературного вкуса, неопределенность привязанностей в литературе. И все-таки она добилась своего, она силком втянула нас в любовь, которой мы, ее ученики, остались верны до сих пор, она заставила нас полюбить литературу как самое высокое, сложное и прекрасное, что создано человеческой культурой. Она не воспитывала нас. Но она нас воспитала. Собой. Такими вот утрами, когда, увлекшись, общалась не с нами, а с теми великими, кто «не вошел» в программу. Нет, конечно же, она общалась и с нами. Прошло много лет, прежде чем мы стали понимать, что она обращалась и к нам тоже, к лучшему в нас, едва просы-



пающемся. В то утро она точно задала свой вопрос. Только так можно было спрашивать тогда у нас, только в таких категориях: любите, не любите, презираете, ненавидите, кто ваш герой?

Она применила еще один психологический ход: задала вопрос и не потребовала ответа, не крикнула раздраженно свое обычное: «Ну-ну, шевелитесь живее, поднимайте руки!» Мы не подняли рук. И потому неотвеченный вопрос остался в памяти, он понуждал к внутренней работе, к чтению книг о Шекспире, сравнению разных переводов Гамлета.

Зерно было посеяно. Может, потому мне и хочется сейчас вернуться к Гамлету наших шестнадцати лет? В самом деле, мог ли он стать нашим героем?

А быть может, нам был тогда гораздо больше сродни не Гамлет, а его прототип Амлет, герой хроники датского летописца Саксона Грамматика, жившего в XII веке?

Амлет Саксона Грамматика — красивый, яркий, самоуверенный парень. Ах, какая это прекрасная сага, какой характер!

Исследователь Шекспира А. Аникст так пересказывает эту старинную историю.

Датский феодал Горвендил прославился силой и мужеством. Его слава породила такую зависть у норвежского короля Коллера, что тот вызвал его на поединок. Поединок закончился победой Горвендила. Тогда датский король Рёрик отдал в жены Горвендилу свою дочь Геруту. От этого брака родился Амлет.

У Горвендила был брат, Фенгон. Фенгон завидовал его удачам и питал к нему тайную вражду. Они оба правили Ютландией. Фенгон решил избавиться от брата. Во время пира он открыто напал на Горвендила и убил его. В оправдание убийства он заявил, будто бы защищал честь Геруты, оскорбленной своим мужем. Хотя это было ложью, никто не стал опровергать его объяснений. Владычество над Ютландией перешло к Фенгону. Он женился на Геруте.

Когда произошло убийство Горвендила, Амлет был еще очень юн. Однако Фенгон опасался, что, став взрослым, Амлет отомстит ему за смерть отца. Юный принц был умен и хитер. Он догадывался об опасениях своего дяди Фенгона. А для





того чтобы отвести от себя всякие подозрения в тайных намерениях против Фенгона, Амлет притворился сумасшедшим. Он пачкал себя грязью и бегал по улицам с дикими воплями. Тогда кое-кто из придворных стал догадываться, что Амлет только притворяется безумным. Они посоветовали сделать так, чтобы Амлет встретился с подосланной к нему красивой девушкой. На нее возлагалось обольстить его своими ласками и обнаружить, что он отнюдь не сошел с ума. Но один из придворных предупредил Амлета. К тому же оказалось, что девушка, которую выбрали для данной цели, была влюблена в Амлета. Она тоже дала ему понять, что хотят проверить подлинность его безумия. Таким образом, первая попытка поймать Амлета в ловушку не удалась.

Тогда один из придворных предложил испытать Амлета таким способом: Фенгон сообщит, что он уезжает, Амлета сведут с матерью, и, может быть, он откроет ей свои тайные замыслы, а советник Фенгона подслушает их разговор. Так и сделали. Однако Амлет догадался о том, что все это неспроста. Придя к матери, он повел себя, как помешанный, запел петухом и вскочил на одеяло, размахивая руками, как крыльями. Но тут он почувствовал, что под одеялом кто-то спрятан. Выхватив меч, он убил советника короля, разрубил его труп на части и бросил в сточную яму. Затем Амлет вернулся к матери и стал упрекать ее за измену Горвендилу и брак с убийцей мужа. Герута покаялась в своей вине, и тогда Амлет открыл ей, что он хочет отомстить Фенгону. Герута благословила его намерения.

Фенгон ничего не узнал и на этот раз. Но буйство Амлета пугало его, и он решил избавиться от него раз и навсегда. С этой целью он отправил его в сопровождении двух придворных в Англию. Спутникам Амлета были вручены таблички с письмом. Они должны были тайно передать их английскому королю. В письме Фенгон просил казнить Амлета, как только он высадится в Англии. На корабле, пока его спутники спали, Амлет разыскал таблички и, прочитав, что там написано, стер свое имя, а вместо него поставил имена придворных. Сверх того он дописал, что Фенгон якобы просит выдать за Амлета дочь английского короля. Переделанное Амлетом письмо возымело действие: придворных казнили, а его обручили с дочерью английского короля.

Прошел год. Амлет вернулся в Ютландию, где его считали умершим. Он попал на тризну; ее справляли по нем. Ничуть не смутившись, Амлет принял участие в пиршестве и напоил всех присутствующих. Когда они, опьянев, свалились на пол и заснули, он накрыл всех большим ковром и приколотил его к полу так, чтобы никто не смог из-под него вы-



браться. После этого он поджег дворец. В огне сгорел Фенгон, а вместе с ним и вся клика его приближенных.

Саксон Грамматик всячески одобряет своего героя: «О храбрый Амлет, он достоин бессмертной славы! Хитро притворившись безумным, он скрыл от всех свой разум, но хотя он прикинулся глупым, на самом деле его ум превосходил разумение обыкновенных людей. Это помогло ему не только обезопасить себя, но также найти средство отомстить за отца. Его умелая самозащита от опасности и суровая месть за родителя вызывают наше восхищение, и трудно сказать, за что его следует больше хвалить — за ум или смелость».

Сага об Амлете на этом не кончается. Он стал королем и правил вместе со своей женой, английской принцессой, она была ему достойной и верной супругой. После ее смерти Амлет женился на воинственной шотландской королеве Гертруде, которая была ему неверна и покинула его в беде. Как правитель Ютландии, Амлет был вассалом датской короны. После смерти Рёрика новый датский король не пожелал мириться с независимым поведением Амлета, между ними возникла борьба. Амлет был убит.

Такова древняя сага.

Почему хочется так подробно пересказать Саксона Грамматика? Потому что, обнаружив полное совпадение подробностей старой хроники и великой трагедии, мы заметили совершенно потрясшую нас в те годы вещь: одни и те же поступки могут совершать абсолютно разные люди — Амлет и Гамлет. Простая мысль, что в жизни так бывает, до этого как-то не приходила нам в голову. И начинались оценки.

Забытый всеми Амлет — вот тот, кто мог бы, казалось, стать героем. В те годы только-только начали появляться на наших экранах вестерны — фильмы с удачливыми, белозубыми, отчаянными героями, очень похожими на Амлета Саксона Грамматика. Он образец хитрости и рыцарской чести, он не колеблется и хочет одного: отомстить за смерть отца. При нем все: сила воли, хладнокровие. В его судьбе то, чему положено случаться с настоящим героем, — страшное испытание и конечное торжество. Такая судьба может увлечь.

А Гамлет Шекспира? Он другой. Хотя по схеме все то же. Вот убили его отца, вот он притворился сумасшедшим, вот он подменил письмо. Он все равно другой.

Какой же он?

Гамлет — один из самых интеллектуальных героев в мировой литературе. Но если взять и выписать подряд все его мысли, как предлагает А. Аникст, выяснится, что ничего особенно мудрого он не говорил. Нет в его словах глубочайших философских откровений.



И в небе, и на земле сокрыто больше,  
Чем снится вашей мудрости, Горацио...  
Что ему Гекуба, что он Гекубе, чтоб об ней рыдать...  
Так трусами нас делает раздумье.

В самом деле, ну и что?

А. Аникст пишет об этом парадоксе так: «Если мы сравним Гамлета и героя философской трагедии Гёте «Фауст», то увидим, что Фауст действительно великий мыслитель в том смысле, что его речи представляют собой глубокие откровения о жизни, и по сравнению с ним Гамлет в этом отношении покажется в самом деле не больше чем студентом».

Откуда же легенда о его интеллектуальности? И, выписав усердно доказательства того, что Гамлет не умен, снова перечитываешь пьесу. И снова та же напасть! Снова он умный. Снова вместе с ним переживаешь его боль и отчаяние.

Об этом парадоксе однажды писал актер Ливанов. Он искренне удивлялся: пьеса, писал он, могла бы жить и без своего главного героя. Король, королева, Полоний, Офелия, Горацио — там много больших характеров. Больших ролей, с точки зрения актера. Нужен ли там Гамлет? Как будто бы не обязательно. В пьесе как будто бы есть что играть актерам и есть что смотреть зрителям и без него.

А без него ни играть, ни смотреть нельзя!

В чем же здесь дело? Дело в пустяке! Дело в гениальности Шекспира. Он так строит каждую сцену, он ставит Гамлета в такие обстоятельства, что Гамлет или подводит итог, или испытует, или осмеивает, или прозревает то, что не дано прозреть другим. Он подсвечен Шекспиром со всех сторон. Отсюда возникает ощущение вершины.

Значит, дело не в каком-то особенном уме. Дело в нашем восприятии вершины, величия. Какого? «А человек он был», — говорит Гамлет Горацио о своем отце.

«Что это значит? Пустые слова?» — так спросила нас тем зимним утром Суламифь Яковлевна. Что мы ей тогда отвечали? Бормотали что-то невнятное.

И с тех пор сидит во мне неизлитая досада. Ведь удержалась, не потянула нас к ответу: «Мог бы быть он вашим героем, не мог бы быть он вашим героем?» А тут не вытерпела: «Что значат эти слова?» Ведь это все равно, что спросить: «Что значит быть человеком?» Ведь она же нас все-таки втайне уважала, она не позволяла себе задавать вопросы, на которые каждый дурак знает, как отвечать: «Быть человеком!» Это из серии детсадовских вопросов.

— Это быть честным, смелым, мужественным.

— Еще, дети, еще!



— Еще добрым!

Вот мы и бормотали про Гамлета что-то в этом роде.

Но нет худа без добра. С тех пор я слежу, если позволено здесь употребить столь обыденное выражение, за выходящей у нас «гамлетовской» литературой.

...Существует легенда, связанная с Гамлетом. Этой легенде скоро уже четыре-ста лет. Легенда о том, что Гамлет — эталон нерешительности. Гёте устами одного из своих героев так сказал о Гамлете: «Мне ясно, что хотел изобразить Шекспир: великое деяние, возложенное на душу, которой деяние это не под силу...

Прекрасное, чистое, благородное, высоконравственное существо, лишенное силы чувства, делающей героя, гибнет под бременем, которого он не мог ни снести, ни сбросить. Всякий долг для него священен, а этот непомерно тяжел. От него требуют невозможного — невозможного не самого по себе, а того, что для него невозможно...» И дальше — поэтическое сравнение: «Это все равно, как если бы дуб посадили в фарфоровую вазу, корни дуба разрослись, а ваза разбилась».

Фарфоровая ваза! Но ведь Гамлет непрерывно совершает поступки, а в конце на сцене валяется достаточное количество трупов. Поступки не доказательства, утверждает бóльшая часть гамлетовской критики. Надо совершать их вовремя. А один из критиков съязвил, что Шекспир заставил Гамлета колебаться и тот не убил короля тотчас же, то есть в первом действии, по одной причине: иначе не было бы следующих четырех актов, не было бы пьесы.

Но ведь Гамлет «человеком был», человеком в самом современном понимании этого слова: он не может просто поверить на слово, он хочет убедиться. Разве это признак безволия и слабости? Скорее, признак нормальности человеческой души, которая должна до конца пройти крестный путь познания.

Призрак отца открыл ему тайну своей смерти. В призраков тогда верили. И Гамлет поверил. Но ему важно было убедиться. И он перепроверяет, придумывает сцену с актера-





ми. Он всех перепроверяет, даже Офелию. И, перепроверяя, каждый раз совершает выбор. Он размышляет вслух там, где обычно люди молчат. Скрытая внутренняя работа души обнажена для зрителя.

Что же с ним происходит в конце концов? А может быть, то, что так хорошо сформулировал один из любимых героев школьных лет? Андрей Болконский в тяжкую минуту жизни говорит Пьеру Безухову: «Ах, душа моя, последнее время мне стало тяжело жить. Я вижу, что стал понимать слишком много».

С князем Андреем то, что происходит с Гамлетом, стало. К нему пришло понимание, и он не особенно рад этому. У него уже многое было в жизни. Он был честолюбив, у него была жена, она умерла. Он полюбил девушку, она ему изменила. И Наполеон проехал мимо него на белом коне и указал на него свите: «Вот прекрасная смерть». С князем Андреем это стало. А понимать стремился Пьер.

Следуя психологическим классификациям, князь Андрей — человек действия. Пьер — мыслитель. Это жизнь превратила князя Андрея в мыслителя. Он не создан для этой роли, и ему это ужасно. Писатель не знает, что с ним делать. Любой писатель должен был бы его убить. И Толстой тоже. Но, убивая князя Андрея, он оставляет вместо него Николеньку. Николенька — подрастающий принц. Ему суждено встретиться с людьми действия. Ему суждено соединить в себе деятельную натуру отца и созерцательность Пьера. В нескольких строчках Толстой перетрансформирует с помощью Николеньки всю направленность романа. Николенька — будущий декабрист. Николенька — Гамлет. В другой стране, в другую эпоху.

Так что же Гамлет — синтез князя Андрея и Пьера? Трудно решиться сделать столь категорический вывод, хотя, признаюсь, в шестнадцать лет очень этого хотелось: ведь мы искали доводы не в себе, не в жизни — в литературных героях.

То, что с князем Андреем стало, с Гамлетом стряслось. И... и надо действовать. «А человек он был...» Перепроверка, сомнение, выбор — чисто человеческие свойства, те свойства, которые современные психологи, кстати, определяют как ведущие свойства личности. Он стремится к тому, к чему стремится каждый человек и что так трудно дается в реальной жизни: он хочет, чтобы его внутренние убеждения совпали с его внешними действиями. И снова наисовременнейшая философская и психологическая проблема, ее обсуждают представители самых разных направлений и систем — разрыв между внутренними убеждениями и внешними действиями порождает массу конфликтов, неврозов, создает ощущение внутренней неустроенности.



Но есть еще одно: когда он убедился, он сделал все то, что сделал Амлет Саксона Грамматика. Он стал действовать. Он хочет восстановить справедливость, он хочет правды («я не хочу того, что кажется»). Не голый истины, которую сообщил ему призрак, а правды, той, за которую проливается кровь. Добиваясь этой правды, он ошибается и, что, пожалуй, самое человеческое, платит за эту правду. Он ткнул шпагой в ковер и убил отца девушки, которую любил. А девушка сошла с ума и утонула. Наконец, пытаюсь раскрыть эту правду всем, он гибнет.

Мог ли он не умереть в финале? Так хочется этого, вопреки всем законам построения трагедии. В одной из работ, посвященных шекспировской трагедии, высказывается такое соображение: «Если бы режиссер в сцене с мышеловкой, обладая предвидением фактов жизни, включил бы в представление и сцену гибели самого Гамлета, то поведение героя трагедии было бы совсем иным».

Но мы тогда и понятия не имели о научной проблеме «намерение — осуществление». Мы просто знали: Гамлет умнее всех, ведь он мог бы что-нибудь придумать, как придумывал до этого, перехитрить, обмануть, снова притвориться и... и, конечно же, стать справедливым королем.

А может, просто пришла та минута, когда наступила пора действовать: раскрывается правда, до конца обнаруживается преступность того, что происходит вокруг? Пришла та минута... У каждого из нас своя стена. И своя спина. И приходит та минута, когда спина касается стены и больше пути нет. И дальше начинается то великое, чему научил нас Шекспир. Можно сдаться, можно упасть на колени. Вот ты упал на колени, вот ты сдался, вот ты от всего отрекся. Или просто отступил и признал свои ошибки: «Да, я был Гамлет, принц датский, больше не буду».

Но если ты Гамлет, если ты принц, если за тобой правда, то попытка отречения бессмысленна. Ситуация безвыходна, тебя все равно убьют, раньше или позже. Не падай на колени! Так Шекспир учил действовать. Встречать лицом к лицу свою стену. Учил оставаться быть самим собой.

Произвольная трактовка! Чудовищная! Ненаучная. Гамлет совсем «не про то». Но что поделаешь! Для нас это было тогда «про то».

А дальше? «Дальше — тишина», — говорит умирающий Гамлет Горацио и просит «поведать правду обо мне неутоленным». Дальше тишина. Но всегда остаются неутоленные. Эти слова и эту истину замечаешь позднее.

Когда разбираешь причины гибели Гамлета, возникает еще один вопрос: почему так яростно обрушился на принца



королевский двор? Потому, что король боялся, что он узнает правду? Но еще до сцены с актерами принца хотели спроводить в Англию. На всякий случай? Нет, он мешал, он был опасен.

В XX веке «Гамлетом» много занимались профессиональные психологи. Много занимались им и философы, увидевшие в нем первого человека нового времени. Всякое профессиональное вмешательство неизбежно сужает предмет, о котором идет речь. На живую ткань искусства накладывается сетка пристрастий, излюбленных тем или иным автором научных идей. Но часто бывает полезно взглянуть на любимое, казалось бы, знакомое насквозь, чуть-чуть иными глазами.

...Мы сидели в компании психологов и разговаривали. Мы говорили в тот вечер о загадочности некоторых психологических механизмов, связанных с возрастом, с ростом человека, физическим и духовным. И тогда кто-то привел в пример «Гамлета».

— Почему он опасен? Не потому, что он может узнать правду. Можно отречься от престола, но нельзя отречься от молодости, от того, что ты принц, от своих двадцати лет. Не может он отречься от того, что он еще молод, а они стары и скоро умрут. Король — это, в конце концов, должность. От нее можно отречься. А принц? Он страшен не тем, что он является, а тем, чем он может стать.

— Иными словами, стрессы молодости, да? — спросила я. — И стрессы эти опасны?

— Ну конечно. Нельзя отречься от своего будущего. От самого себя. От принца. Принц — он бомба. Из него нельзя вынуть часовой механизм. Принц — это неосуществленное право. Неосуществленных прав на свете множество. Но есть право, которое обязательно осуществится, которому не в силах помешать дряблая старческая воля. Право это — молодость.

О «Гамлете» ли говорили мы в тот вечер? По существу, конечно, нет. Но можно ли его так увидеть? Можно!

Так можно увидеть, вполне профессионально, с привлечением современного философского и психологического аппарата. Но так оптимистично, что ли, можно почувствовать Гамлета только в определенных возрастных пределах. Когда ты сам еще молод. Когда ты молод, тебе кажется, что молодость опасна и победительна. Кому, кроме молодости, кажется, что она опасна?

Опасны не король Клавдий с Полонием. Опасны зрелые, умные люди. А молодость беззащитна. Ибо она полна бескорыстия: она умеет любить, жертвовать собой, она меньше боится смерти.



Мне бы очень хотелось встретиться с моими собеседниками лет через тридцать. Интересно, о чем мы будем говорить, обсуждая Гамлета через тридцать лет? Любопытнейшая и, кстати, сугубо научная психологическая проблема: что из пережитого человек в себе и тем самым в своем восприятии Гамлета отсечет, что нового в нем увидит, что свое в него, как теперь выражаются психологи, «спроектирует»?

Впрочем, есть одна математическая работа, где мне дан ответ на этот вопрос. В ней построена система доказательств, из которой следует, что логически невозможно предположить существование единого Гамлета. Есть единый текст, допустим, 160 страниц текста. «Гамлета» же как такового не существует, есть только его отражения, его зеркала, множество зеркал! А если учесть, что каждый из нас в течение жизни меняется и вместе с нами меняется «наш Гамлет», то сколько же их было! И сколько будет!

И понятны становятся многовековые споры: на определенную историческую эпоху, на определенный литературный стиль даже у самого беспристрастного исследователя накладывается свой личный опыт, решение собственных гамлетовских вопросов.

Не слишком ли часто начинает мелькать здесь словосочетание «становится понятно»?

Что же тут понятного? Можно попытаться объяснять происходящее вокруг Гамлета. Можно набраться храбрости и попытаться объяснить самого Гамлета.

Но невозможно внушить себе, что когда-то «Гамлета» не было. Вот в 1601 году он уже был, а в 1599 его еще не существовало. «Гамлет» для нас уже нечто материальное, почти телесное. Это уже реальность. Как реален город, в котором живешь.

Как вполне реальны встречи с живыми людьми, так или иначе повлиявшими на нашу жизнь.

Он реальность бóльшая, чем мы, созданные из крови, мускулов, стекла и бетона.

Исчезнет моя улица, мой дом, уйду в небытие я сам и мои близкие. А он, «Гамлет», эти 160 страниц текста, они останутся.

...Чудо искусства, должно быть, еще и в том, что в тяжелые минуты эта мысль кажется иногда утешительной.





## Сколько на свете стрессов...

Шекспировские герои — в постоянных сомнениях, выборах, срывах. Выражаясь языком современной науки — в стрессах. Шекспир, если рассматривать его творчество только с этой точки зрения, — уникальное учебное пособие для изучения различных стадий стресса, собранная, но до сих пор не обработанная картотека экспериментальных моделей, проигранных Шекспиром в историческом времени.

...Сотни лабораторий во всем мире заняты сейчас физиологией и психологией стресса. Появились термины — стрессовые профессии, стрессоспособность, стрессоры, стрессовыносливость.

Что это такое — стресс? Что значит это слово? Почему в последние годы оно приобрело некий универсальный смысл, охватывающий широкий круг явлений, связанных с человеческой психикой?

В переводе с английского «стресс» — «напряжение». Что-то случилось или должно случиться, и человек выдает реакцию на случившееся или на то, чему, по его мнению, только предстоит произойти. В узком смысле этого слова стресс, выражаясь по-научному, — фактор тревоги, вызывающий патологические изменения в человеческом организме. Что же случилось? Что стрессит человека, а что нет?

И здесь начинается то, что делает нашу жизнь так непохожей на жизнь шекспировских героев.

Есть в нашей обыденной жизни магическое словосочетание. Оно стрессит нас больше, чем любая техника, вместе взятая: надо успеть. Но при чем тут стресс, легко возразить. Только при том, что лихорадка двух коротеньких слов, а они вмещают в себя, кроме тех вещей, о которых мы уже говорили, и жажду славы, и неутоленное честолюбие, и неувиденные города, и непрочитанные книги, — лихорадка эта создает прекрасный фон для нервного срыва. По любому поводу и любой причине. В ситуации нервного напряжения повод и причина легко меняются местами. Человек бурно реагирует на пустяк, не заслуживающий внимания. Что же тогда случится, если произойдет не «пустяк»? Ведь жизнь, даже самая налаженная, хорошо организованная жизнь, где все подчинено разумной целесообразности, непредсказуема. Неприятность на работе, ссора дома, авария, спешка, гонка...

Где здесь стресс, а где обычные обстоятельства жизни? Или стресс — это нечто универсальное? Как резонно заметил один зарубежный исследователь стресса, «многие считают стрессом все, что происходит с человеком, если он не лежит у себя дома в постели.



Нам следует спросить себя также, должны ли мы выйти за пределы нормальной жизни, чтобы считать ситуацию стрессовой».

Что же такое нормальная жизнь? И где ее пределы? В каждом времени, в каждом веке — свои представления о «нормальной» жизни и свои ее пределы. Но к тому же у каждого человека свои индивидуальные границы «нормы». У каждого свой запас стрессовыносливости.

Каков он? — одна из проблем, которую пытаются выяснить психологи.

Выяснить и обсудить.

Обсудить... Знакомое слово! Сколько за ним стоит всякого! Обсудить — означает поспорить, едко, жестко, весело, интеллигентно, грубо: по-всякому спорят о науке люди науки, все зависит от темпераментов спорящих сторон.

А как много спорили и спорят о механизмах стресса! Спорили при мне психологи, изучавшие стресс в эксперименте, спорили психиатры, чьи пациенты нередко жертвы чрезмерных психических нагрузок, спорили руководители крупных предприятий, заинтересованные в том, чтобы на заводах и фабриках было как можно меньше несчастных случаев. Наконец, спорили те, кто приговорен об этом спорить всю свою жизнь, — спорили литераторы.

Итак, они спорили. Одни утверждали, что человек вообще не знал прежде таких состояний, не знал тех сокрушающих жизнь минут, которыми изобилует современная жизнь. Другие же, по большей части философы, возражали, что человек не изменился нисколько и что все, что с ним случается сейчас, уже бывало прежде, и все, что будет, тоже уже было. Кто прав? Что знал и чего не знал до нас человек в плане острых стрессовых реакций? Какие удары подстерегали его в древности? Стресс — это страх. Разве в древности страхов было меньше? Не было четко организованных цивилизацией опасностей — крушений поездов, наездов машин, аварий самолетов. Зато был другой страх, и нам не понять его, страх, разлитый в воздухе, сопутствовавший человеку от рождения до смерти — страх перед враждебными силами природы, эпидемиями, войнами, дурными знамениями. Человека всегда терзали страхи. Прежде они шли на людей извне. Может быть, с «вечными» страхами привыкали жить?

«— Куда ты идешь? — спросил восточный пилигрим, встретив на своем пути Чуму.

— Я иду в Багдад, мне нужно уморить пять тысяч человек.





Несколько дней спустя тот же пилигрим повстречал Чуму уже на пути домой.

— Ты сказала, что идешь в Багдад, чтобы уморить пять тысяч народа, а вместо того ты убила пятьдесят тысяч,— упрекнул он Чуму.

— Нет,— возразила Чума,— я уморила только пять тысяч, остальные умерли от страха...»

Известная средневековая притча.

А вот еще одно свидетельство. Описывая комету, появившуюся на небосклоне в 1520 году, современник заме-

чает: «Эта комета была так страшна, что повергала людей в ужас. Многие умерли — кто от страха, кто от болезни».

А вот история совсем другого рода. Средневековая хроника, сохранившая рассказ о том, как в городе, пораженном чумой, девушка и юноша любили друг друга. Было безумием выходить из дому, когда вокруг валялись горы трупов, и все живое, все, что еще могло двигаться, в панике бежало вон из города. Но любовь этих двух была тайной: вместе бежать они не могли, расстаться они не могли тоже. Они остались в городе. Каждый вечер, минуя горы трупов, она бежала к своему возлюбленному. Каждый вечер они ждали смерти, но смерть не приходила.

И кончилась чума, и люди вернулись в город и с удивлением обнаружили, что во всем городе осталось все-таки два живых человека — он и она. И люди сочли это великим чудом и знамение божьим. И после смерти обоих возлюбленных жители города поставили им памятник.

Почему же они уцелели в чумном городе? Прежде всего, им, конечно, повезло: их пощадила эпидемия. Все остальное они сделали сами: они не испугались. Они были бесстрашны. Потому что любили. И они выжили.

Правда, как отмечал еще современник этой истории великий врач Гален, радость, счастье, любовь вовсе не всегда благодетельны для организма, так же, как острая печаль. Гален указывал: можно умереть не только от страха, но и от радости. Он даже уточнял: это свойство мужчин — умирать от радости. Женщины от радости только падают в обморок. Если отнестись к словам Галена всерьез и всерьез обратиться к ли-



тературе, выяснится, что Гален ошибался. Античные историки приводят множество примеров внезапной радости, приводящей к смерти. К смерти женщин.

Тит Ливий в своей книге «Война с Ганнибалом» в главе «Смятение и отчаяние в Риме» рассказывает: «Знаменитая Тразименская битва — одно из самых памятных бедствий в истории римского народа. Пятнадцать тысяч римлян погибли в бою, десять тысяч спаслись бегством и рассеялись по всей стране, пробираясь, кто как мог, в Рим. Слухи о поражении наполнили Рим страхом и смятением. Несколько дней подряд у городских ворот стояло несметное множество людей: они ждали своих близких или хотя бы вестей о них. Стоило появиться путнику, как его тотчас обступали стеной и до тех пор не давали двинуться дальше, пока не выпросят все по порядку. И одни отходили, ликуя, а другие заливались слезами. Рассказывают, что одна женщина, увидев сына живым и невредимым, умерла от радости в его объятиях тут же, у ворот. Другая сидела у себя, справляя траур, — ей передали, что сын погиб, — и вдруг он входит в комнату. Мать не смогла ни подняться навстречу, ни хотя бы вымолвить слово приветствия: она мгновенно испустила дух».

Ну, а что касается мужчин... Диагор, родосский атлет, умер при виде трех своих сыновей, возвратившихся увенчанными с олимпийских игр. Сиракузский тиран Дионией Второй тоже умер от радости, когда узнал, что его трагедия выиграла приз.

...Комментируя высказывание Галена о случаях смерти от радости, автор известного труда об эмоциях, вышедшего столет назад в Лондоне, с грустью заметил: «Это правило справедливо, но с тою оговоркою, что теперь, когда эмоции гораздо менее сильны, чем в старые наивные времена, очень редко умирают от радости». Больше от горя. И страха.

Не правда ли, приятное и вечное заблуждение! Каждому поколению его время представляется сложным и «не наивным».

Семидесятые годы XIX века кажутся нам сплошной идиллией. Автору психологических этюдов представлялось, что земля трясется у него под ногами. Только что кончилась франко-прусская война. Только что пала Парижская коммуна. А конец XVIII века, а наполеоновские войны в начале века XIX?

Тут невольно вспоминаются обстоятельства смерти могущественного врага Наполеона, врага номер один, английского министра Вильяма Питта. Питт был неистов в своей ненависти к Наполеону с первых дней его карьеры. Он боролся с ним всеми возможными средствами. И когда коалиция европей-



ских государств, организованная и вдохновленная Англией, потерпела поражение на аустерлицких полях, английский парламент обвинил Питта в губительных иллюзиях, в том, что миллионы английских денег выброшены на ветер, в том, что коалиция действовала бездарно и несогласованно. Питт не выдержал нервного потрясения, заболел и слег. А спустя несколько недель скончался. «Аустерлиц убил самого упорного и талантливового врага Наполеона» — так говорили современники.

Да, делает вывод автор, люди стали слабы и впечатлительны. Даже великие люди! Он подробно останавливается на том, что происходит с человеком в ответ на «потрясения нервной системы».

Внезапная седина? Да, конечно. Вспомним историю. Генрих IV рассказывал, что во время Варфоломеевской ночи он всю ночь сидел, держась руками за голову, и что к утру на висках и на подбородке борода и волосы его поседели.

«Мы знаем одного капитана корабля сорока приблизительно лет,— делится своими наблюдениями над человеческой природой автор милой старой книги,— который претерпел два кораблекрушения. Первый раз он потерял всякую надежду спастись: его волосы быстро поседели. В другой раз, после известного промежутка времени, он снова попал в кораблекрушение. Они побелели еще больше. С тех пор он не мог решиться возвратиться обратно в море и вышел в отставку».

Из рассказов исторического характера самая трогательная, по мнению автора, это история Кварини, профессора греческого языка в Вероне, человека наиболее возвышенного ума эпохи Возрождения. Волосы Кварини поседели в одно мгновение при известии о потере ящика с манускриптами, за которыми он сам ездил в Константинополь.

«Не выражается ли вся эпоха Возрождения в этом маленьком факте? Греческие манускрипты потеряны! Это более, нежели семейное несчастье; это катастрофа на весь мир!»

Старые истории, собранные Хэком Тьюка в книге «Дух и тело, действие психики и воображения на физическую природу человека» можно пересказывать долго и с удовольствием. Исторические анекдоты, прокомментированные добрым человеком,— приятное чтение.

Но вот прошло лет двадцать после выхода книги Хэка Тьюка, и профессор Ланге в психофизиологическом этюде «Эмоции», подводя итоги своим размышлениям, записал: «Эмоции суть не только самые важные факторы индивидуальной жизни. Они представляют собою самые могущественные естественные силы, какие мы только знаем. Каждая страница истории народов, как и отдельных лиц, свидетельствует об их



непреодолимой власти. Бури страстей погубили более жизней и разрушили более стран, чем ураганы; их потоки потопили больше городов, чем наводнения, а потому нельзя не находить странным, что они не вызвали большого рвения для изучения их природы и сущности».

Экспериментальная психология только-только зарождалась, появлялись первые лаборатории, ставились первые опыты, появлялись и первые теории эмоций.

Но должно было пройти еще почти полвека, прежде чем изучение острых психологических состояний привело к созданию во многом спорной, но достаточно завершенной теории.

\* \* \*

В 1926 году студент-медик Ганс Селье впервые переступил порог клиники. Начиналась его первая студенческая практика. Он ходил, смотрел на больных, помогал врачам. И все время его не оставляла в покое настолько простая мысль, что он стеснялся в ней признаться: почему все больные так похожи друг на друга, вернее, почему так похожа их реакция на болезнь? Больные страдают от самых разных недугов, но картина болезни одна и та же — больной теряет аппетит, худеет, теряет интерес к жизни вне сферы болезни. Само выражение лица уже доказывает — человек болен.

Что это за «синдром просто болезнь», как назвал свое наблюдение Селье? Как недавно вспоминал сам Селье: «...Подхлестываемый юношеским энтузиазмом, я хотел безотлагательно приняться за работу. Однако запас знаний второкурсника позволил мне разве что сформулировать саму идею, которая мало чем отличалась от умозаключений наших доисторических предков. Чем глубже я постигал частную патологию, тем прочнее забывал свой простой, но неопределенный план — исследовать «синдром просто болезнь».

Не будем подробно останавливаться на том, как Ганс Селье учился в университетах Праги, Парижа и Рима, как в двадцать два года он стал доктором медицины, а в двадцать четыре — доктором философии. Скажем только одно: он добился своего. Он расшифровал таинственное сходство, делавшее всех больных похожими друг на друга. Он нашел для этого сходства удачное слово — **стресс**.

Но почему все началось с клиники, с больных? История науки довольно редко может ответить на подобные «почему». Здесь редкий случай: ответ не только возможен, но и легок. Болезнь — самая демонстративная модель крайнего выражения стресса.

Селье выделил в стрессе три фазы. Первая — это «реакция



тревоги», это время мобилизации всех защитных сил организма. Что-то произошло внутри человека или вовне. Организм отвечает. Его ответ легко регистрируется лабораторно: клетки коры надпочечников выбрасывают содержимое секреторных гранул в кровяное русло и полностью лишают себя запасных материалов. Кровь сгущается, содержание ионов хлора падает, происходит общее истощение тканей.

Вслед за первой наступает вторая стадия. Организм «привыкает» к стрессу. Физиологически это тоже явственно заметно: кровь разжижается, концентрация хлора в ней увеличивается. Вес тела возвращается к норме. Все как будто бы налаживается.

Но если стресс продолжается долго, неизбежно наступает третья стадия — «стадия истощения». Если стрессор, причина, вызвавшая стресс, слишком силен, эта стадия может окончиться смертью. Ибо, как пишет Селье, «адаптационная энергия всех живых существ есть величина конечная».

Вот какие грустные и вместе с тем утешительные выводы получила наука много лет спустя после того, как безвестный юноша вошел в одну из клиник Вены на обычную студенческую практику. Его выводы дали много нового и медицине, и прикладной психологии. Медицина, надо сказать, привыкала к ним с трудом. Врачам нелегко было принять и в самом деле слишком простую и, главное, носящую слишком общий характер идею о том, что у огромного числа болезней причина одна — нервное напряжение. И еще одну, столь же простую идею: одна и та же болезнь может быть вызвана бесчисленным количеством причин. Но при этом все причины схожи между собой — все они носят чисто стрессорный характер. В своих работах Селье в качестве примера любит приводить язвенную болезнь. Отчего эта болезнь столь широко распространена? Как она возникает? Язву может спровоцировать множество причин: и ожог, и отравление, и переохлаждение, и перегрев, и нервный срыв. Но в основе всегда одно — неожиданность, внезапный удар.

Селье объяснил еще одну новую для медицины вещь: взаимоотношения болезни и стресса двойки — стресс может вызвать болезнь. Но и болезнь способна вызвать стресс.

А что принесло учение Селье психологам? Ответ на это очередное «почему» тоже прост. Теория Селье подросла очень кстати.

40—50-е годы — это годы, когда резко возрастало количество стрессоров, когда рождались принципиально новые профессии, где стресс становился неременным спутником труда. Оказалось, что запас чисто психофизиологической храбрости такое же необходимое условие для работы, как для скрипача-



исполнителя — руки, для художника — просто глаза. Тут не о каком-то особенном таланте идет речь, а о непеременных спутниках его, о возможностях его реализации. Ведь бывают не только гениальные скрипачи, но и прирожденные летчики, машинисты, операторы...

Прирожденные, написала. А что же делал прирожденный машинист в каком-нибудь XIV веке? Это ощущение внутренней защищенности, эта антиаварийность, быстрота реакции, противостоящие стрессу... В какую деятельность могли воплощаться эти свойства? И были ли они? Не требует ли прогресс от человека чрезмерного? Ведь не всем она дана — психофизиологическая одаренность. А она нужна человечеству, и ее нужно много: чтобы самолеты летали, чтобы электровагоны не сходили с рельсов, чтобы операторы отдавали по радио правильные приказы.

Прогресс потребовал от человека много нового. Но это новое уже было, было. Оно развивалось в веках. Землепроходцы, путешественники, беглые люди, первооткрыватели в науке, наконец. Что такое их жизнь? Удары, стрессы, крушения. И почему-то победа.

«Я весь как на ладони, все пули в одного» — поется в одной песне. Так ведь это та самая ситуация. Пусть летят пули. Но мимо одних они пролетают, кажется, будто кто-то невидимый отводит их рукой. Другим судьба дарит их беспощадно. Нечто антистрессовое командует в человеке. И он выплывает на стрессе, как на гребне волны, в тех ситуациях, где, казалось бы, должен погибнуть.

При всех сомнениях, перепроверках, выборах, его одолевавших, эти состояния и ситуации хорошо понимал принц датский.

Хвала внезапности: нас безрассудство  
Иной раз выручает там, где гибнет  
Глубокий замысел,—

говорит Гамлет Горацио.

...«Надо успеть!» — вот в чем секрет овладения своим стрессовым состоянием, секрет победы.



## **«Я вырос на поле брани»**

Судьба Наполеона — классический пример величайшей стрессоспособности. Он участвовал в шестидесяти сражениях, всегда был в центре боя и всегда, как бы ни складывалась ситуация, оставался невредимым. Современникам, даже его соратникам, вполне трезвым, отнюдь не романтически настроенным воякам, он казался заговоренным от пуль.

Лучше всех сказал об этом Стендаль: «Он был окружен всем обаянием рока». Великий писатель, иронично и точно чувствующавший свое время, Стендаль с острым интересом наблюдал за великим современником. Стендалю повезло, он проделал с Наполеоном несколько военных кампаний, он имел с ним два долгих разговора, один, между прочим, в Московском Кремле. Стендаль знал, о чем говорил: пули судьбы летели мимо Наполеона.

Что же это за «обаяние рока», о котором говорил Стендаль, обаяние, заставлявшее всю Европу трепетать от ужаса при одном упоминании имени «разбойника Буонапарте»?

Может быть, стоит привести только несколько примеров, пока без всякого комментария.

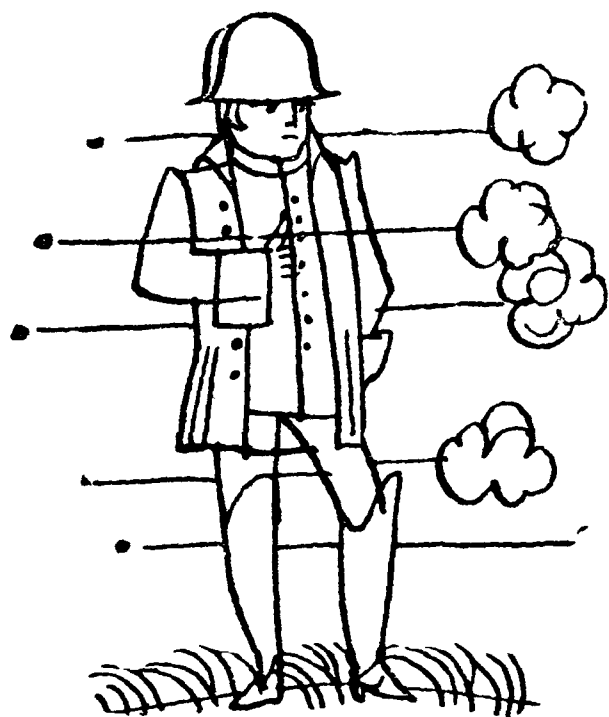
Сейчас важно отсечь все остальное, что мы знаем о Бонапарте. И его любимую поговорку «большие батальоны всегда правы», она точно отражает ту позицию, которой он придерживался всю жизнь. Забудем сейчас и другую его фразу, приоткрывающую иную грань его личности, слова, сказанные актеру-трагику Тальма, у которого он в молодости брал уроки: «Я, конечно, наиболее трагическое лицо нашего времени».

«Большие батальоны», «наиболее трагическое лицо» — тут есть о чем поразмышлять каждому (ведь не важно, что о Наполеоне написаны тысячи книг, все равно мы занимаемся проекцией, все равно, кроме общепринятого, канонического, «на нем треугольная шляпа и серый походный сюртук», у каждого — свой Наполеон, конечно, если хоть раз в жизни человек задумывался над тем, что такое история и что такое личность в этой самой истории).

1796 год. Французская республика «защищается», нападая на итальянские владения Австрии. 10 мая. Битва под Лоди. Маленькое местечко, но чтобы взять его, нужно перейти речку. Мост охраняет десятитысячный гарнизон австрийцев. У моста завязался страшный бой. Главнокомандующий во главе гренадерского батальона бросился на мост под градом пуль. Двадцать австрийских орудий осыпали его картечью. Гренадеры взяли мост и отбросили австрийцев, которые оставили возле него две тысячи убитыми и ранеными.



Прошло полгода. И снова мост. Аркольский. Во главе австрийцев генерал Альвинци, один из лучших генералов Австрийской империи. Мост охраняют отборные полки Габсбургской монархии. Трижды французы бросаются на мост и трижды отбрасывают их австрийцы. И тогда Бонапарт повторяет то, что он уже сделал в Лоди, он бросается вперед со знаменем в руках. Возле него падают солдаты и адъютанты, рядом, совсем рядом, в каких-нибудь пятидесяти сантиметрах. Бонапарт добегают невредимым. Бой длится трое суток подряд с небольшими перерывами. Альвинци разбит и отброшен.



Лоди и Арколе — начало легенды о «маленьком капрале», отце солдат, делившем с ними все превратности походной жизни. Но так ли это? Наполеон никогда не рисковал собой без крайней на то необходимости.

1806 год. Битва при Эйлау, одна из самых кровопролитных битв того времени. «Русские,— пишет в своей книге «Наполеон» академик Е. Тарле,—потеряли одну треть армии. Огромные потери были и у Наполеона. Русская артиллерия оказалась гораздо многочисленней французской.

Наполеон с пехотными полками стоял на кладбище Эйлау, в самом центре схватки, и чуть не был убит русскими ядрами, падавшими вокруг него. На его голову поминутно сыпались ветки деревьев, обламываемые пролетающими ядрами и пулями... Тут, под Эйлау, он видел, что снова, как под Лоди, как на Аркольском мосту, наступила минута крайней необходимости. Там надо было первому броситься на мост, чтобы увлечь замаявшихся гренадер. Здесь требовалось заставить свою пехоту терпеливо стоять часами под русскими ядрами и не бежать от огня... (Совсем иной вид храбрости, не правда ли? Совсем иной вид стресса!) Он отдавал приказание через тех редких адъютантов, которым удавалось уцелеть при приближении к его позиции. У его ног лежало несколько трупов офицеров и солдат. Пехотные роты редели и постепенно заменялись гренадерами... Наполеон продолжал стоять и дождался удачной атаки на главные силы русских».

Проходит еще год. Битва при Фридланде. Рисковать нет никакой надобности. Наполеон покоритель Европы. Он лично руководит боем. Когда над его головой пролетела бомба и стоявший рядом солдат быстро нагнулся, император сказал испуганному солдату: «Если бы эта бомба была предназначе-



на для тебя, то даже если бы ты спрятался на сто футов под землю, она бы тебя нашла».

Что это? Слепой фатализм? Стендалевское ощущение обаяния своего рока? Наполеон любил повторять: «На той пуле, которая меня убьет, будет начертано мое имя».

И современники верили его словам. Да как не верить! Ведь было же в его жизни и такое. Горящая бомба у него на глазах упала перед одним из его «молодых» батальонов. Солдаты в страхе подались назад и с трепетом ожидали взрыва. Наполеон, чтобы ободрить молодых, неопытных солдат, прищипорил свою лошадь и, дав лошади понюхать горящий фитиль, бестрепетно дождался взрыва и — взлетел на воздух.

Он покатился в пыли вместе с изуродованной лошадью, но встал невредимым среди криков одобрения своих солдат и спокойно потребовал другого коня. Пересев на него, он помчался прочь, не обращая внимания на ураганный огонь.

Да, так и не была отлита ни пуля, ни ядро, на которых было бы начертано его имя. И вот отступление из России и гибель великой армии. Понял ли он в эти трагические месяцы иллюзорность своих целей? Надеялся ли он на победу? «У свиты составилось впечатление, что он тайно искал смерти».

1814 год. Битва при Арси-сюр-Об. Наполеон направился к такому месту боя, которое было очищено от солдат, так как держаться там было невозможно. Бросились за императором, чтобы его удержать. Маршал Себастьян сказал: «Оставьте же его, ведь вы видите, что он делает это нарочно, он хочет покончить с собой». «Но ни картечь, ни ядра его не брали», — комментирует этот эпизод академик Тарле.

А эпизод времен Ста дней, первый день высадки Наполеона во Францию, когда у него не было ничего — ни войска, ни генералов, только пушка, подаренная матерью?

7 марта 1815 года он с небольшой свитой приблизился к деревне Ламюр. В деревне стоял гарнизон королевских войск.

Он приказал своим немногим солдатам взять ружье под левую руку и повернуть дулом в землю. «Вперед!» Наполеон подошел вплотную к солдатам, которые замерли с ружьями наперевес, не спуская глаз с приближающейся к ним твердым шагом одинокой фигуры.

— Солдаты пятого полка (он действительно знал своих солдат в лицо и узнал сейчас тоже), — раздалось среди мертвой тишины, — вы меня узнаете?

Наполеон расстегнул сюртук и раскрыл грудь.

— Кто из вас хочет стрелять в своего императора? Стреляйте!

...Солдаты целовали его руки, колени, плакали от восторга и вели себя, как в припадке массового помешательства. Их с



трудом можно было успокоить, построить в ряды и повести в Гренобль.

А потом они пошли дальше — на Париж.

Что было в этой безумной храбрости? Действовал ли тут самый сложный механизм, до сих пор не разгаданный психологами, но сформулированный предельно просто в известной песне — «Смелого пуля боится, смелого штык не берет»? Или ему просто суждено было умереть от рака желудка на острове Святой Елены?

Поневоле впадаешь в мистицизм, читая жизнеописания Наполеона Бонапарта. И забываешь новейшие психологические гипотезы, потому что обыкновенным, научным, немистическим образом трудно объяснить невероятную стрессоустойчивость этого человека. Наверное, тут нужно искать объяснения не только и не столько в психофизиологических особенностях его организма. В чем-то другом.

Во время итальянской кампании, в период битв под Лоди и при Арколе, в армии говорили, что молодой генерал тяжело болен. Он и в самом деле был тяжело болен; сесть на лошадь стоило ему огромного напряжения, за которым следовал полный упадок сил. В пору Аркольского моста ему было совсем плохо. Он дошел до полного изнеможения. И в этом состоянии он во время одной из последних битв Итальянского похода загнал насмерть одну за другой трех лошадей. «Впалые щеки и мертвенная бледность лица еще усиливали впечатление невзрачности, которое производил его маленький рост, — пишет Стендаль. — Эмигранты говорили о нем: «Он так желт, что на него приятно смотреть», — и пили за его близкую смерть... После Арколе физические силы молодого полководца, казалось, стали угасать, но духовная мощь придавала ему энергию, с каждым днем вызывавшую все большее изумление».

Значит, духовная мощь, воля, цели, подчинившие себе все.

И прежде всего честолюбие, чудовищное, ненасытное, ревнивое. Правда, сам он его отрицал: «У меня нет честолюбия». Впрочем, далее следовало объяснение: «Оно так свойственно мне, так тесно со мной связано, как нечто врожденное, как кровь, которая течет у меня в жилах, как воздух, которым я дышу». И еще: «Я знаю только одну страсть, одну любовницу — это Франция; я сплю с ней, она при мне неотлучно, она не щадит для меня ни своей крови, ни своих сокровищ. Если мне нужны 500 000 человек, она мне их дарит беспрекословно... Моя любовница — это моя власть».

Никогда, даже после самых блистательных побед, его честолюбие не было утолено до конца. Альберт Захарович Манфред в своей недавно вышедшей книге «Наполеон Бонапарт» пишет, что наиболее полное счастье Наполеон, вероятно, ис-



пытывал в дни Тильзита: «Это было как во сне — почти неправдоподобное осуществление всех мечтаний» — и подтверждает свою точку зрения словами самого Наполеона, сказанными много лет спустя на острове Святой Елены.

Да, конечно, в дни Тильзита было утоленное честолюбие (как-никак полный господин Европы), было чувство облегчения (мир с Россией был ему остро необходим).

Но было ли счастье — в обычном, простом, человеческом смысле этого слова? Было ли ему вообще доступно ощущение счастья?

Мог ли успокоиться человек, сказавший на другой день после своей коронации: «Я слишком поздно явился на свет. Сейчас нельзя сделать ничего подлинно великого. Карьера моя блестяща, я не отрицаю, я пробил себе прекрасную дорогу. Но какая разница по сравнению с античным миром! Взгляните на Александра, когда он после завоевания Азии объявил себя сыном Юпитера, кто, кроме... Аристотеля да нескольких афинских педантов, сомневался в этом? Весь Восток поверил ему. Ну, а если бы я сейчас вздумал провозгласить себя сыном Отца Всевышнего и заявил бы, что хочу воздать ему хвалу и благодарение? Не нашлось бы ни одной торговки, которая не высмеяла бы меня в глаза при первом моем появлении. Нет, нет. Народы стали слишком просвещенны. В наше время нечего больше делать».

Итак, честолюбие. Но честолюбие еще никого не защитило от пуль. (Скорее наоборот.) Одним честолюбием заколдованность не объяснишь. Что же еще?

...В 1945 году, в конце войны, вышла работа известного советского психолога Теплова «Ум полководца». Это исследование было написано в годы войны не случайно: психология войны, секреты победы не могли не занимать психологов. Впрочем, не только их. Ведь «Наполеон» Тарле тоже появился в годы, когда разгоралась война в Европе.

Теплов подробно разбирает ум полководца как проблему «практического интеллекта». До сих пор, пишет он, психологию занимали только вопросы абстрактного мышления. Большинство психологов сознательно или бессознательно принимали за единственный образец умственной работы работу ученых, философов, вообще теоретиков. Между тем в жизни мыслят не только теоретики. Всякая война — это прежде всего война интеллектов — интеллектов особого рода, вот что доказывал Теплов в своей работе. Ум полководца, как принято было считать в 1945 году, — одно из высших проявлений человеческого ума, ибо он должен работать и принимать ответственные решения в жестких условиях времени.

Но что такое принимать решения в условиях войны? Как



писал один из военных теоретиков Клаузевиц, «военная деятельность представляет собой совокупность действий, происходящих в области тьмы или, по меньшей мере, сумерек».

Довольно смутное определение, не правда ли? Но с ним вполне перекликается русский военный историк генерал Драгомиров, когда он пишет о Наполеоне: «...у него была чисто демоническая способность заглянуть в душу противника, разгадать его духовный склад и намерения». Демоническая способность... Иными словами, гениальная интуиция, провидение, вдохновение особого рода. Но тут уже Драгомирову мог бы возразить сам Наполеон. «Вдохновение — это быстро сделанный расчет», — часто повторял он.

Может быть, в этой формулировке намек на отгадку секрета наполеоновской неуязвимости? Быстро сделан расчет — он выхватывает знамя и перебегает Аркольский мост **таким образом**, что его не задевает ни один снаряд. Первокласный артиллерист, он-то знает, как, через какие промежутки стреляют австрийские пушки. И в эти-то промежутки он и проскакивает. Значит, расчет. Но когда он успевает его сделать? «На самом деле, — пишет Теплов, — при той скорости протекания психического процесса он (процесс) становится уже другим, приобретает иное качество, осуществляется иными механизмами... Полководец **вынужден** всю работу над решением проблемы сжать в очень короткий срок, так что вся эта работа становится «осиянием», «интуицией». (Заметим в скобках, что Наполеон обладал совершенно особым складом ума. «Трудно было вообразить себе мозг более дисциплинированный, всегда готовый к услугам, способный на такую постоянную приспособляемость, такое быстрое и полное сосредоточение, — вспоминал один из его соратников. — Гибкость его в исключительном умении мгновенно перемещать способности и силы и сосредоточивать их в данную минуту на том предмете, которым он заинтересован, будь то букашка или слон, отдельная личность или целая армия... Когда он чем-нибудь занят, остальное не существует для него; это своего рода охота, от которой его уже ничто не оторвет».)

Итак, в определении стресса, стрессоспособности, стрессорешений нет и не может быть простоты. В свойстве, которым столь щедро был наделен Бонапарт, сходятся тысячи самых разнообразных проявлений личности, ее темперамента, ума, мощи, заложенной в ней от природы.

Что касается расплат за стресс...

Были они у него или нет? В книге Моргенштерна «Психографология», вышедшей в 1903 году, воспроизводятся факсимиле подписей Наполеона под приказами по армии после решающих сражений. Вверх, вверх бегут буквы подписей мо-



лодого Бонапарта. Вверх летят после Аустерлица, кляксами взрывается гусиное перо после Бородина. На полпути обрывается подпись в приказе об оставлении Москвы. Жалкая закорючка — Лейпциг. Наконец, последняя подпись на острове Святой Елены неузнаваема: буквы не просто клонятся — падают вертикально вниз.

Дорого платил Наполеон за свои стрессы! (Занись его личного врача накануне битвы при Бородине: «Постоянный кашель, дыхание затрудненное и неровное, пульс частый, лихорадочный, неправильный, моча мутная, с осадком, выделяется болезненно...»)

И не была ему присуща легендарная неуязвимость. Она оказалась мифом! Когда Наполеон умер, на его теле были обнаружены следы ранений, о которых никто не знал: Наполеон скрывал их, боясь посеять панику.

А когда он умер... «Я проходил мимо Пале-Рояля, — рассказывает современник, один из французских писателей, — и вдруг услышал крик газетчиков: «Смерть Бонапарта». Эти крики, которые прежде повергли бы в трепет всю Европу, звучали так обыденно! Я заходил, — продолжает он, — в несколько кафе, но везде заметил то же безучастие, то же холодное равнодушие. Никто, казалось, не был ни заинтересован, ни смущен».

Наступили другие времена. Но это уже про другое, про то, о чем мы условились не вспоминать, про «большие батальоны», про «наиболее трагическое лицо эпохи», про фразу, сказанную ему на его коронации одним старым республиканцем из военных в ответ на вопрос новоиспеченного императора, хорошо ли проходит церемония:

«Очень хорошо, ваше величество, жаль только, что сегодня недостает 100 тысяч людей, которые сложили свои головы, чтобы сделать подобные церемонии невозможными».

Опустим и его слова, в запальчивости брошенные Меттерниху: «...Я вырос на поле брани, такой человек, как я, плюет на жизнь миллиона людей».

...Появляются иногда в истории человечества личности огромной интеллектуальной и психической мощи. Как в атомном ядре, высвобождаются в них эти интеллектуальные и психические ресурсы и обрушиваются на мир. Куда бывают направлены эти силы? Во имя чего?

Размышляя о влиянии личности Наполеона на судьбы Франции, французский историк XIX века Ипполит Тэн сурово заметил: «Положительно при таком характере и с такими наклонностями невозможно жить: гений его слишком велик и слишком зловреден».

...Но это уже другая тема.



## Сколько на свете ведьм?

Началось все сугубо драматично. Меня поймала гадалка. В Москве, на станции метро, настоящая гадалка, в шали, в юбке цветной. Наговорила много чего, поразив современным подходом: ничего не пророчила, только предупреждала. (Может, у тебя все будет в жизни так, может, иначе, зависит от того-то.) Мне предлагалось действовать, действовать не хотелось.

И вместо того чтобы действовать, пришлось заняться интроспекцией — самонаблюдением. Следующим за интроспекцией шагом было штудирование научной проблемы: откуда в нас потребность в предвидении будущего и почему в связи с этим гадание — столь живучая вещь.

Совпадают ли карточные прогнозы с отдельной человеческой судьбой? Какое это имеет значение! Ведь главное-то совпадает: он, она, верность, разлука, счастье, несчастье. Ведь это-то есть у каждого! Карты — это роман, это линия судьбы, это картотека всех ситуаций, которые возможны в романе. Жизнь каждого человека — тоже роман, только незаписанный. Каждому интересно (и страшно!) узнать сюжет романа, написанного только про него.

Это и есть карты.

Но почему только карты? Любое гадание — краткий конспект будущего, так считали древние. Недаром гадание достигло в античности уровня государственного учреждения. Древние называли гадание мантикой. Мантикой увлекались Пифагор и его ученики. Сократ считал мантику орудием успеха, а следовательно, счастья. Для Сократа счастье людей — цель мироздания. И потому мантика, коль скоро она способствует счастью, не нуждается ни в каких философских обоснованиях.

Философы античности по-разному относились к мантике. Один из учеников Анаксагора Еврипид утверждал более чем смело для своего времени: «Лучший гадатель тот, кто хорошо соображает». Правда, он повторял при этом высоко прогрессивные мысли своего учителя, говорившего, что предвидение возможно только на основании точных наблюдений и опыта.

В самом деле, мантика сильно стесняла жизнь! О чем только и как ни гадали. Гадали обо всем! Гадали по знамениям. Гром, молния, ветер, радуга, комета, огненный метеор, огни на мачтах кораблей. У римлян была особая «метслужба» предсказаний, лежавшая на обязанности авгуров.

Гадали, кладя на огонь кости. По изменениям кости судили об изменениях в будущем. Это был весьма распространенный способ гадания.

В России гадали по лучине. Ясно горит — долго жить, с





искрами — будут болезни, потухнет — умрет гадающий. «Ты гори, гори, моя лучинушка, догорю с тобой и я». Это не просто образ догорающей жизни. В народном сознании запечатлелся след, таинственная связь между древним гаданием и течением человеческой судьбы.

Современные дети гадают на спичках. Вставляют в коробок несколько спичек, зажигают и следят: какая спичка быстрее догорит, тот быстрее умрет, какая к какой клонится, тот того больше любит.

Лучину наши дети никогда не видели, им, выросшим при электрическом освещении, объяснить даже невозможно, что это такое, а старый обряд живет, перепрыгивая через поколения (мы-то так не гадали!). Какими путями лучина успела перетрансформироваться в спичку, непонятно.

Почти все народы мира гадали на воде. Древние греки и германцы — по журчанию ручьев, по гулу стремнин и водопадов. В новое время гадали не столько на воде, сколько на предметах, погруженных в воду, — по расплавленному олову, воску, даже золоту.

Гадали по птицам, гадали по чиханью. Гадали по «трепетанью» разных частей тела — рук, ног, глаз, ушей, бровей. В России была даже гадательная книжка, называлась «Трепетник».

А хиромантия, а математические гадания? А сновидения? Разгадка снов — одна из самых захватывающих областей гадания. Сны толкуют и теперь. С научной точки зрения. Из толкования снов извлекают многозначную информацию психологи. Конечно, никто не пытается разглядеть в снах будущее. Но психофизиологическое состояние, эмоциональный тонус — все это находит в сновидениях определенное отражение. Недаром так подробно изучают сейчас сновидения у людей «острых» профессий.

С научной точки зрения изучают и карточные игры. Это кажется непонятным. Сны помещаются как бы внутри человека, и потому кажется естественным: они несут информацию о том, что с нами происходит. Карты вне человека. Какой в них может заключаться секрет?

Но почему людей так тянет и страшит карточный прогноз? Почему, когда нам предсказывают будущее, появляется ощущение, словно чужим ветром пахнуло? Почему?

...В Тартуском университете выходят ежегодные сборники «Труды по знаковым системам». Знаковые системы — это лю-



бые языки, служащие для общения, связи между людьми. Игральные карты — тоже язык, выработанный на протяжении столетий. Во втором номере Тартуских сборников я обнаружила две серьезные статьи по карточному вопросу. Лингвисты М. Лекомцева и Б. Успенский рассматривали механизм гадания: раскладку карт, словарь карт, масти, наименования, те значения, которые они несут. Например, десятка пик — большая неожиданность, трефовый король — письмо, и так далее. Они приводили и картинки-схемы: кучки карт, разложенных в определенном порядке: «для вас», «для мысли», «для сердца», «чего не ожидаете», «что вас успокоит».

Лекомцева и Успенский писали: «К гаданию обычно обращаются, чтобы получить уверенность в той или иной программе поведения («что судьба скажет»). Из этого исходит А (то есть гадающий). У А имеются прежде всего психологические задачи: ему нужно сильно подействовать на того, кому гадают (обозначим его Б) и привести его в крайнее психическое состояние — либо спокойное, либо взволнованное. Б ищет не просто совета или участия, но объективной информации относительно будущего (причем считается, что А обладает мистической способностью дать такую информацию). Таким образом, другая задача А — дать программу поведения».

А дальше начинается моделирование. Но какое?

«Для убедительности гадания от А требуется не только представить будущее, но и изложить настоящее и прошлое, где Б может контролировать А. Здесь возникает конфликтная ситуация, поскольку и А и Б знают правила гадания (значения карт), Б к тому же знает свое настоящее и прошлое, но не сообщает о нем А. Ситуацию относительно настоящего и прошлого можно описать как парную игру с пассивным противником, где делаются личные ходы».

«Таким образом, — подводится итог, — гадание прошлого и настоящего представляет собой игру, при исходе которой завоевывается доверие Б, если же этого не получится (то есть при проигрыше игры), А обычно отказывается от продолжения гадания («не вышла карта»). Говорят еще «карта устала».

И еще одна статья о картах — статья Б. Егорова; он пишет о двух способах гадания — «честном» и «нечестном».

«Нечестный» способ — это способ профессиональный: «когда гадалка ведет со своей наивной жертвой игру — отгадывания (отгадывание прошлого и настоящего). При такой игре можно говорить о бесчисленных степенях свободы в предсказаниях, так как для профессиональной гадалки карты — чистая фикция, ибо информация получается не от карт, а от





внешнего и внутреннего облика объекта, от его реакции на слова гадалки, даже предсказание будущего делается такой гадалкой чаще всего не по картам: на основе изучения характера жертвы конструируется ее будущее, способное дать наиболее «корыстный» эффект».

Вот это было уже почти про всех нас, когда с нас требуют «позолотить ручку», поймав где-нибудь на улице, на рынке, да мало ли где. Егоров кончает свои размышления о семиотически «нечестном», то есть

профессиональном гадании такими словами: «При наличии бесконечного множества степеней свободы и соответственно вероятностных исходов, подобный метод гадания вообще не подлежит научному изучению как знаковая система (он может представить, однако, большой интерес для теории игр и для психологов)».

«Честное» же гадание, по мнению Егорова, — это, как правило, жесткая система, почти лишенная свободы выбора. Распространено оно обычно в кругу знакомых лиц и при автогадании. Логика рассуждений, очевидно, такова. Зачем обманывать своих друзей? Зачем обманывать себя? Тем более, что в «честной» системе у каждой карты только одно значение. Тем более, что система эта родилась в процессе многовекового развития. И в этом смысле она особенно интересна, потому что это стройная система сюжетов.

Каждая раскладка карт — это история жизни, это сюжет.

Конечно же, авторы статей об игральных картах писали их вовсе не для того, чтобы разобраться в «механизмах» гадания и в правилах игры. Карточные правила входят составной частью, пусть очень узкой, в широкую проблему знаковых систем.

Но вернемся к картам. По подсчетам Б. Егорова, число карточных сюжетов необычайно велико, хотя и конечно. «Даже если пренебречь вариантами, порожденными порядком карт внутри группы... и учитывать карты как объекты, затем в группах («на сердце», «что было», «что рядом», «что будет»), то по формуле сочетаний количество сюжетов будет равно  $12 \cdot 10^{22}$ . При учете же всех вариантов, возникших из-за разного расположения (перестановок) карт, внутри каждой из периферийных групп это число должно быть увеличено еще в сто раз и превратиться в двенадцать септильонов».

И дальше автор статьи делает очаровательный подсчет.



Если три миллиарда жителей земного шара будут каждую минуту гадать на картах, то есть ежеминутно делать новую раскладку карт, они исчерпают все варианты через десять миллиардов лет непрерывной работы.

Двенадцать септильонов сюжетов! И всего 36 карт, из которых они получаются! Математика!

\* \* \*

Но вернемся к прогнозу...

Прогнозирование будущего — это то, о чем мечтали люди с древнейших времен и о чем будут мечтать вечно.

Прогноз — это гадание древних на внутренностях животных. Мираж, иллюзия, но прогноз. И в него верили.

Прогноз — это случайное совпадение на картах. Тоже мираж. И тоже вера.

Прогноз — это три ведьмы в «Макбете» у Шекспира.

Целые институты заняты сейчас предсказанием «горячих» точек в науке и технике: куда целесообразнее в ближайшее время бросить силы ученых, общества. Широко разрабатываются и проблемы психологических последствий прогноза: меняется ли что-то в поведении исследователя, коллектива в ходе эксперимента, когда предсказан результат. Ибо всякий прогноз (даже самый невинный, карточный) может действовать двояко: либо укрепить и усилить веру в предсказанное, либо снять ее. Прогнозирование — увлекательное направление социологических и психологических исследований.

Для нашего же рассказа важное еще и потому, что дает богатейшую почву для размышлений о том, как меняется в веках психология человека.

По мере роста цивилизации возникает как будто бы все меньше обыденных ситуаций, где стоит прогнозировать. Я не гадаю, ехать или не ехать на симпозиум в Тбилиси: ведь я уже не боюсь, что в горах перевернется возок, что черкесы нападут. Я не гадаю, стоит ли есть репу 30 апреля, как настоятельно советует «Изборник» 1075 года. Я не гадаю даже о том, о чем гадали в конце XIX века: «В настоящее время русский народ гадает об урожае, погоде и замужестве, изредка о смерти». (Словарь Брокгауза и Ефрона, 1892 год издания.)

Теперь вроде бы и гадать стало не о чем. И так все ясно. Человек вышел из дому — вернется. Уехал в командировку — тоже, вероятней всего, вернется. Есть ли репу 30 апреля — мы и так ее не едим. Выпить ли от простуды перед уходом из дому в холодный ноябрьский день стакан девясильного вина, то есть водки, настоянной на целебном корне девясила? Чего тут гадать, нету вина девясильного. Выпить — так вообще нельзя, работать надо. А простужусь — антибиотиками вылечат.



Но вот совсем недавняя ситуация: война, эвакуация, вечер, коптилка на столе, уйма бытовых неустроенностей. Женщина, выпавшая из цивилизации. И вот — платок на плечах, карты разложены на столе. Что, она верит в гадание? Нет, конечно. Но... «Все единожды потрясенные души легко склоняются к суевериям» — это заметил еще Тацит.

...Я помню деревянный флигель где-то в районе Земляного вала. Последний год войны. Маленькую худосочную особу привели в гости, посадили в продавленное кресло и забыли. Старухи занялись гаданием, задавая картам те вопросы, которые задавали друг другу все: когда кончится война и вернется ли с войны муж, сын, брат. Седая, стриженная, в очках что-то записывала, кто-то плакал, кто-то топил «буржуйку». Картины глядели со стен отчужденно-высокомерно.

Война окончилась, и еще какое-то время, пока надеялись: убитые не убиты, пока верили: вернутся те, кто пропал без вести, продолжали втихомолку гадать, пересказывать сны. В Москве в двери часто звонили беженцы, пили обжигающий кипяток, рассказывали свою жизнь. Прошло несколько лет. Поток беженцев, бесприютных людей, сорванных войной, постепенно иссякал. Жизнь стабилизировалась. Мера неясности, непрогнозируемости будущего резко упала.

«Бытие определяет сознание»: суевериям снова не осталось места в жизни.

Цивилизация вступила в свои права.

\* \* \*

Мысленно сделаем шаг на триста лет назад. А если еще на тысячу лет? На две?

Что знали о мире древние? Они жили почти в полном дефиците информации о мире. Они жили во власти иллюзий. Они выдумывали мир, чтобы восполнить отсутствие информации. Именно в этом смысле употреблено здесь слово «иллюзия». (Может быть, психическое развитие человека во времени заключается в мере его освобождения от иллюзий?)

И потому гадание — совершенно особая психологическая проблема для древнего мира: его назначение, как сказали бы мы теперь, в уменьшении энтропии в языке событий. Плиний ворчал на стеснительные законы гадания: они, по его мнению, не давали жить спокойно! Человек научного склада ума, он был вправе раздражаться, что родился не вовремя, что его удел только предполагать, прозревать, гадать. Ему хотелось быть исследователем. Время, в которое он жил, делало его угадчиком.

...Потребность в той или иной степени прогноза, видимо,



особым образом связана со свойствами личности. Те, кто в стародавние времена предпочитали покой и оседлость, не очень нуждались в прогнозе. Если, разумеется, жили в спокойные эпохи; трудно представить себе, что афиняне времен Сократа и Алкивиада были равнодушны к прогнозу: а вдруг спартанцы нападут, а вдруг персы, а вдруг ветер разметает по морю эскадру, готовую к далекому плаванию.



Но в годы относительно-го благополучия не так-то и нужен был прогноз среднему обывателю — и в античном мире, и в средние века. Был налаженный, отработанный, предельно ритуализированный быт, была уверенность: завтра будет то же, что сегодня, была кровать, на которой рожали и бабка и прабабка, был порог дома, о который спотыкались поколения детей — были якоря, за них держались и ими в какой-то мере прогнозировалась жизнь.

Только беспокойные, стрессоустойчивые, как мы их называли, люди испытывали острую необходимость в прогнозе — по понятиям древнего мира в пророчествах и предсказаниях. Ведь им, этим людям, хотелось не просто жить. Им хотелось действовать. Значит, предвидеть последствия своих действий, предвидеть будущее.

Но и тут не было и не могло быть однозначности. Очень поразному во все времена относились люди к дефициту информации о мире.

Одна из самых колоритных фигур в этом плане — Юлий Цезарь. Он не верил в гадание. «Никакие суеверия не могли заставить его отложить намеченное предприятие, — пишет Светоний. — Он не отложил выступления против Сципиона и Юбы из-за того, что при жертвоприношении животное вырвалось у него из рук. Даже когда он оступился, сходя с корабля, то обратил это в хорошее предзнаменование, воскликнув: «Ты в моих руках, Африка!»

«Он дошел до такой заносчивости, что когда гадатель однажды возвестил о несчастном будущем — зарезанное животное оказалось без сердца, то заявил: «Все будет хорошо, коли я пожелаю, а в том, что у скотины нету сердца, ничего



удивительного нет». Больше того, иногда он сам осмеливался — слыханное ли дело — выступать в роли предсказателя. Он часто повторял, что, если с ним что-нибудь случится, государство постигнут огромные несчастья.

Почему приметы, гадания потеряли для него характер знака, предупреждения, лишились не общепринятого смысла, а смысла вообще? В чем истоки столь полной психологической независимости от атмосферы времени?

«Рок головы ищет», — говорит через двадцать веков (!) Платон Каратаев Пьеру Безухову. Цезарь не желал подставлять свою голову року. Иначе рухнула бы, по-видимому, вся система его ценностей, иначе исчез бы психологический феномен, вошедший в историю под кодом Юлий Цезарь.

...Разбор биографии Цезаря по Светонию — наглядный пример того, как едва нарождающаяся наука — историческая психология — по намекам, отдельным фразам может реставрировать не только общие закономерности, но даже черточки характера давно ушедших людей.

\* \* \*

Почему людей во все времена так тянуло узнать свое будущее? (Пример Цезаря вовсе не означает, что прогноз был ему безразличен, он наверняка был ему необходим, как всякому человеку, но еще больше нужно было ощущение того, что будущее формирует не таинственное нечто извне, а он сам, его воля, ум.)

И тут появляется прозаическое объяснение, не так давно выдвинутое наукой. Потребность в прогнозе — свойство всего живого, она заложена в нас на физиологическом уровне. Она — необходимое требование эволюции. Каждого, кто не умел прогнозировать, эволюция безжалостно отсекала. Вероятностное прогнозирование (так называется одно из самых плодотворных направлений современной психофизиологии) — это работа мозга, в которой мы не отдаем себе отчета. Прежде чем действовать, мы без конца строим модели мира. Как протянуть руку, чтобы достать нужный предмет, как наступить ногой, чтобы не споткнуться, как перейти улицу. Это простейшие модели. Но есть модели и посложнее.

В современной жизни как будто бы все меньше ситуаций, где стоит прогнозировать ближайшее будущее: в самом деле, ушел на работу, вернется. Это так, конечно. А неприятность, а болезнь, да мало ли что! От утра к вечеру так же, как и тысячу лет назад, мы движемся на ощупь, как бы с палочкой. Стоит ли после этого удивляться нашей жажде узнать будущее: она так естественна!



Впереди у каждого из нас, особенно в ранней молодости, свои, если использовать карточную терминологию, расклады карт, свои наборы сюжетов.

Конечно, когда мы прогнозируем жизнь, мы опираемся на тот набор сюжетов, который нам дан. Мы живем в определенном историческом времени, в определенном обществе. Сколько ни мечтай в двенадцать лет о стивенсоновском острове сокровищ, мечта не сбудется: давно умер последний пират. Сколько ни готовь себя к роли великого путешественника, все равно им не станешь: давно открыто все на земле.

Означает ли это, что, подрастая, человек не должен примерять на себя те сюжеты, которые волновали воображение поколений живших до него людей? И вот тут оказывается, что детские мечты и сухой прогноз взрослого человека неуловимо связаны между собой.

В детстве мы примеряем на себя великое множество масок. Мы еще ничего собой не представляем, и тем легче вообразить себя кем угодно. Говоря языком науки, слишком много у нас степеней свободы, наш потенциал слишком велик и слишком далек от реализации. Почему бы не стать пиратом, мушкетером, Суворовым, Пушкиным, Эйнштейном. Главное — захотеть!

Но вот начинается юность. Более четко вырисовывается этот самый потенциал. Трудно уже вообразить себя Пушкиным и Суворовым. Великим авиаконструктором легче. И великим хирургом тоже. Ушло в прошлое необозримое море степеней свободы. Зато яснее видны оставшиеся. Их тоже, если сравнивать со всей предстоящей жизнью, много. Кто знает, кем я буду! Может, я всю жизнь буду проектировать одну-единственную деталь в самолете, а может, действительно стану знаменитым авиаконструктором. Но что бы со мной ни произошло, это будет следствием и реализацией того, что я воображал о себе в юности. Главное случилось: «дефицит информации» был восполнен. О будущем, обо мне самом, о том, кем я стану, о том, что я смогу.

...Воздушные замки нашего детства и юности обладают великой силой. Если бы не они, никто бы никогда не стал не только Эйнштейном, а просто хорошим учителем физики. Это они, столь несправедливо и психологически безграмотно осмеиваемые воздушные замки, дают нам заряд на всю жизнь (заметьте, над юношескими мечтами иронизируют обычно только те, кого придавили развалины рухнувших замков, хотя вроде бы принято считать, что от воздушных замков развалин не остается).

Истинное вступление в жизнь, с точки зрения соотношения мечты и прогноза, — это то время, когда человек осознает, ка-



кие реальные пути перед ним открыты. Когда он научается взвешивать и оценивать свое место в обществе, свои знания, таланты, волю. Но для того чтобы знать, чего же он хочет, он должен в детстве и ранней юности страшно много пережить, проиграть в себе, нафантазировать.

Только после этого наступит время сознательного выбора. И тогда уже никакие прогнозы родственников и друзей не собьют с дороги. (Яд псевдопрогнозов, который вливают в юные уши близкие, действует подчас не менее разрушительно, чем знаменитые средневековые яды.) Только после этого мы перестаем ждать, что все прекрасное в этом мире должно само собой свалиться нам на голову. Только после этого, сделав первый выбор, мы начинаем действовать.

Спустя годы, зрелым человеком понимаешь, что любой выбор сделать мучительно трудно. Не потому, что колеблешься и не знаешь, как поступить. И не потому, что не хочешь. Или, наоборот, слишком хочешь. И не потому, что гложет сомнение: что-то не исполнилось из того, что должно было исполниться непременно. Даже если исполнилось все задуманное и все сверх задуманного. Все равно время от времени нас охватывает неопределенное грустное чувство тоски по несбывшемуся. Каждый из нас испытывал его хоть однажды в жизни. Это всеобщее человеческое состояние.

В подоплеке его лежат, по-видимому, фундаментальные законы жизнедеятельности, которые только-только начинают приоткрываться науке. Несколько десятилетий назад это направление работ называли «физиологией активности», сейчас все чаще говорят о «психологии активности».

Работы эти утверждают: активность живого существа возрастает при ситуации некоторой неопределенности. То есть мы чувствуем себя тем лучше, чем больше расходуем энергии на преодоление неясной ситуации, полная определенность атрофирует жизненную активность. Это уровень психофизиологических рассуждений, сверхсовременный, подтверждаемый серией красивых экспериментов.

Анализируя эти проблемы на философском уровне, мы приходим к вечному вопросу о свободе воли. Психофизиология и философия хорошо дополняют друг друга.

Полная свобода в выборе — нелегкое состояние. Трудно сделать конкретный выбор, если можно сделать любой. Придется просчитывать варианты, придется остановиться на том, который, с твоей точки зрения, хорош. Но дать прогноз самому себе — это своими руками лишить себя дальнейших выборов, это значит утратить драгоценное чувство неопределенности.

Отсутствие вариантов, пожалуй, еще хуже. В сущности, ты



уже только катишься по рельсам, проложенным вовсе не тобой. В XIX веке это называлось «слепая покорность судьбе».

...У Пушкина есть небольшой отрывок: «Участь моя решена. Я женюсь...» Герой его сделал предложение девушке, «с которой встреча казалась блаженством». Два года он мечтал об этой минуте, «ожидание решительного ответа было самым болезненным чувством жизни моей,— признается он.— Дело в том,— читаем мы дальше поразительную по непонятности в связи со всем вышесказанным фразу,— что я боялся не одного отказа. Один из моих приятелей говаривал: «Не понимаю, каким образом можно свататься, если знаешь наверное, что не будет отказа».

Вот он, вечный парадокс: человек счастлив, он добился того, чего хотел, и... ему страшно. Вовсе не потому, что очень скоро священник произнесет «невозвратимые слова» (так написал позднее Пушкин в «Дубровском»). Его пугает не невозвратимость таинства брака, он к ней стремится. Его пугает завершенность, окончательность будущей жизни. (В представлении человека XIX века куда бóльшая, чем в нашем, нынешнем.)

Отзвук пушкинской фразы, видимо не случайный, находим у замечательного знатока эпохи Тынянова. Его роман «Смерть Вазир Мухтара» начинается так: «Еще ничего не было решено». У Пушкина герой принимает решение и страшится своего выбора. У Тынянова его герой — Александр Сергеевич Грибоедов утешает себя тем, что еще ничего не решено, тогда как на самом деле все не просто решено, все предрешено: его судьба литератора окончена, его загоняют в угол, ему суждено вскоре исчезнуть в буквальном смысле этого слова: в Тегеране после резни найдут чей-то труп, приложат к нему руку с знакомым перстнем, и получится Грибоедов, великий писатель, вечная гордость России.

Два крайних психических состояния, счастливо-отчаянное и обреченно-самоутешительное. И оба трудны. Перед одним героем, вымышленным, хотя пушкинский отрывок считается автобиографическим, есть выборы. У другого выборов не было, и он смутно догадывается об этом.

...Сюжеты, психологические коллизии первой трети XIX века (коллизии, в какой-то мере доступные маленькой группе людей: миллионы крепостных жили четко запрограммированной жизнью, в которой вообще не было места проблеме выбора).

Как меняется содержание всех этих проблем на протяжении истории? Как соседствует в психике человека вечное и преходящее?



Есть специальная научная проблема — сюжетология, проблема «первоэлемента», то есть поиск первоначальных простейших единиц, из которых строится повествование. Это не психология, конечно, это уже поэтика. Но для нашего рассказа это попытка через другую науку ответить на вопросы, волнующие современного человека.

Попытка эта целесообразна и вот с какой точки зрения. Наш опыт изучения литературы как предмета кончается в школе. В школе мы усваиваем прочно и навсегда: жизнь, наука и литература взаимосвязаны в рамках одной науки — литературоведения. На уроках литературы нам преподают начатки литературоведения. Нам говорят: есть образы, есть темы, есть сюжет и композиция. Когда нам говорят о событиях, вызвавших к жизни то или иное произведение, рассказывают об авторе, немножко добавляют о прототипах. Сводятся все эти связи с жизнью к классическому примеру из Льва Толстого: «Я взял Соню, перетолок с Таней. Получилась Наташа» (Ростова).

Вроде бы литература, вроде бы наука, вроде бы жизнь. На самом деле ни то, ни другое, ни третье. Ведь нам же, когда мы уходим из школы и напрочь забываем, что такое литературоведение, нам все это совершенно неважно! Нам важно совсем другое. Нам важно ощущение, что все прочитанное имеет непосредственное отношение к нам самим, к нашей жизни.

...Одним из первых еще в конце прошлого века занялся вопросом сюжетологии академик А. Н. Веселовский<sup>1</sup>. Он искал в веках, во времени «простейшую повествовательную единицу, образно ответившую на разные запросы первобытного ума или бытового наблюдения». Веселовский задался вопросом, дозволено ли в области литературных сюжетов «поставить вопрос о типических схемах... схемах, передававшихся в ряду поколений как готовые формулы, способные оживиться новым настроением, вызвать новообразования? Современная повествовательная литература с ее сложной сюжетностью и фотографическим воспроизведением действительности, по-видимому, устраняет самую возможность подобного вопроса, но когда для будущих поколений она очутится в такой же далекой перспективе, как для нас древность, от доисторической до средневековой, когда синтез времени, этого великого упростителя, пройдя по сложности явлений, сократит их до величины точек, уходящих вглубь, их линии сольются с теми, которые открываются нам теперь, когда мы оглянемся на далекое поэтиче-

<sup>1</sup> А. Н. Веселовский. Историческая поэтика. Л., изд-во «Художественная литература», 1940.



ское творчество,— и явления схематизма и повторяемости водворятся на всем протяжении».

...Сейчас нас интересует сюжет, связанный с прогнозом. Вот он оброс плотью и кровью. Вот легли рядом — любовь, предательство, смерть.

Веселовский одним из первых в мировой поэтике заговорил о явлении повторяемости сюжетов на протяжении истории развития литературы.

Вот Лесков, вот русская провинция, вот женщина, совершившая преступление,— «Леди Макбет Мценского уезда».

Вот японский фильм на ту же тему. Очень страшный.

Вот стихи, где та же ситуация, убийство, вот поэт Николай Ушаков:

Леди Макбет,  
где патроны,  
где револьвер боевой?  
Не по честному закону  
поступили  
вы со мной.  
То не бор в воротах,  
леди,—  
не хочу таиться я,  
то за нами,  
леди,  
едет  
конная милиция.

И еще стихи, звучавшие как заклинание, стихи человека, погибшего в Отечественную войну—Бориса Лапина. В них есть образ, взятый из «Макбета»:

Учись не помнить черных глаз.  
Учись не ждать небес.  
Тогда ты встретишь смертный час,  
Как свой Бирнамский лес.

И наконец, есть еще скандальная пьеса, которая долго шла на Бродвее, и власти сочли, что самое благоразумное не вмешиваться, сделать вид, что они ничего не поняли. Потому что пьеса эта называется «Леди Макбэрд». (Леди Бэрд — имя жены Линдона Джонсона, который стал президентом после того, как был убит Джон Кеннеди.)

О чем эта пьеса, шедшая на Бродвее? Может быть, вовсе не о судьбе женщины по имени леди Бэрд, жены человека по





имени Линдон Джонсон, ставшего президентом после того, как убили человека по имени Джон Кеннеди?

Помните, о чем там у Шекспира? Вы помните, как нет, не леди Макбэрд, а леди Макбет никак не могла отмыть от крови руки и все мыла и мыла их по ночам, смущая своего придворного лекаря? Ее муж до этого был вовсе не вице-президентом, но почти вице-королем, одним из первых вельмож страны.

Помните, что там было дальше? По наущению Макбета был убит полководец Банко. И вот Макбет, король, входит и видит, что на его троне сидит призрак убитого Банко.

Когда Макбет понимает, что это всего лишь призрак, он продолжает действовать, он продолжает бороться за власть. (Ведь короли не уходят в отставку.) У человека по имени Линдон Джонсон нервы оказались слабее, чем у человека по имени Макбет. Потому что, когда перед ним со всех экранов телевизоров, с первых полос газет начали мелькать призраки (лицо брата Джона Кеннеди — Роберта, так на него похожего), он не выдержал, снял свою кандидатуру и не участвовал в предвыборных игрищах.

У Джонсона сдали нервы — так считали многие американцы, — он выпал из игры. Хотя он как будто бы никогда в игре и не участвовал. Были другие люди, которые это делали. Были еще и люди, которые убивали. Они убили второго брата.

Все это к вопросу о жизни сюжетов в историческом времени, об аналогах, которые могут быть у великой литературы. «Макбет» — аналог действительности. И именно поэтому как бы «первоэлемент» (в нашем рассказе) для более поздних произведений искусства. «Макбет» спустя два века страшными зеркалами отразился в опере Шостаковича «Катерина Измайлова».

...Несколько лет назад, после многолетнего перерыва, в Московском театре оперы и балета имени Станиславского премьера «Катерины Измайловой». Овации, без конца вызы-



вают Шостаковича. Он выходит на сцену, как всегда, неловко пятясь назад и странным образом продвигаясь вперед. Выходит, смущается, кланяется нам, потрясенным макбетовскими зеркалами.

Это остается в памяти надолго: высвечиваются вдруг связи, скрытые в быстротекущей суеде буден,— Шекспир, Лесков, Шостакович.

...Но сейчас нас интересует прогноз, то есть три ведьмы в «Макбете» у Шекспира.

Первая ведьма говорит Макбету то, что есть:

Да славится Макбет, Гламисский тан!

Вторая ведьма — то, что скоро случится:

Да славится Макбет, Кавдорский тан!

Третья — то, чему суждено произойти:

Да славится Макбет, король грядущий!

Шекспир, пользуясь современным языком, совершает операцию условного перехода; он делает то же самое, что и в «Гамлете» с призраком отравленного короля. Он вводит в действие ведьм, веря или не веря в возможность их реального существования — это для него неважно, — а дальше, когда условный переход совершен, разворачивается глубоко реалистическая трагедия.

«Макбет» — это трагедия того, что происходит с человеком, когда он думает, что знает будущее. Что же бывает с человеком, когда ему предсказана цель? Хорошо ли это? Первый прогноз, данный Макбету (да славится Кавдорский тан), сбывается благодаря его личному мужеству: он победил в битве.

Значит, механизм предсказания работает. Можно ли удержаться, чтобы не поторопить его, не подтолкнуть? Человек начинает приближать достижение предсказанной цели. Иногда это хорошо. Иногда это безразлично. Иногда это пагубно: человек начинает считать, что все средства хороши...

В этой пьесе поставлена проблема этическая. С точки зрения современной психологии в ней есть и проблема научная: изменится ли поведение человека, если оно прогнозировано. Макбет неправильно прочел прогноз. Один за другим прогнозы сбывались, один за другим гибли вокруг него люди, прогноз это позволял — убивать. Макбет чувствовал себя все более защищенным.



А почему?

Он неправильно декодировал прогноз. Ему было предсказано:

Лей кровь и попирай людской закон.  
Макбет для тех, кто Женщиной рожден,  
Неуязвим.

И еще:

Будь смел, как лев. Да не вселят смятение  
В тебя ни заговор, ни возмущенье:  
Пока на Дунсинанский холм в поход  
Бирнамский лес деревья не пошлет,  
Макбет несокрушим.

Но пошел на него в поход оживший Бирнамский лес. И это был не лес, а полки шотландцев, прикрывшиеся ветвями, срубленными в Бирнамском лесу. И был Макбет убит человеком, произведенным на свет, естественно, женщиной. (Убийца появился на свет с помощью кесарева сечения — значит, не так, как все.)

Макбет гибнет, недоумевая, почему же его подвел прогноз.

...Жизнь человеческая строится на ситуациях двоякого рода. Есть класс ситуаций, когда мы твердо знаем, как поступить, и стараемся сделать это хорошо.

Ситуация другого рода — ситуации Макбета. Можно поступить так, можно иначе. Можно не предать. Можно просто незаметно отступить. Ситуация выбора.

Да, но почему же это ситуация Макбета? Ведь ведьмы не оставили Макбету выбора. Они сказали: будет так, так и так. Лей кровь, пожалуйста, сколько хочешь. Макбет поверил и начал действовать. А прогноз его обманул.

Но кто его заставлял верить искусительницам-ведьмам? А может быть, ведьмы уже существовали внутри него, когда появились те, на помеле? Может быть, ведьмы на помеле были всего лишь проекцией его души? Трагедия Макбета не в том, что он поверил, а в том, как он начал действовать. Трагедия Макбета в том, что он начал вкладывать в прогноз свое. Можно брать свое из природы, из того, чем она тебя наделила (кто сказал, что прогноз неверен, кто сказал, что Макбет не мог стать королем без крови и убийств, в силу подлинных своих заслуг?). Макбет вкладывает в природу свое, своих выращенных в душе ведьм, и воображает, будто это природа, будто это они ему говорят.



Джон Стейнбек написал странный роман. Герой его Итен Аллен Хоули стоит на грани падения. Он понимает, что пора действовать, что он растяпа, бездеятельный добряк. Он все понимает, но когда он слышит о деньгах, «у него словно вкус тухлого яйца во рту». Он мучается, он сомневается, он догадывается: деньги не принесут ему лично ни радости, ни счастья. Но семья. Но престиж. Будущее детей, уязвленное самолюбие жены.

И вот бесстыдная, коварная женщина раскидывает ему карты и говорит, что его ждет успех, слава, большие деньги.

Чем не «Макбет»?

И вот он думает, как же поступить. Он смотрит на небо и размышляет: «Звезды не приказывают, но склоняют... разве они не склоняют меня думать о том, о чем я вовсе думать не хочу? Это ли не влияние! А вот могут ли они склонить меня к деловой сметке, которой я никогда не отличался, к стяжательству, чуждому моей природе? Возможно ли, чтобы под влиянием карт я захотел того, чего не хочу?»

Он осторожно беседует с этой женщиной, Марджи Янг Хант:

«...— Кое в чем вы попали в самую точку. Насчет некоторых моих мыслей, некоторых поступков... например, что настало время для перемен.

— Вы, верно, думаете, что я подтасовала карты?

— Неважно. Если и подтасовали, что вас заставило подтасовать так, а не иначе? Об этом вы не думали?»

Он разговаривал, и прислушивался к себе, и понимал, что он уже готов, ему хотелось только одного — чтобы это поскорее случилось.

И все-таки он проверяет третий раз (почему нужно, чтобы ведьм обязательно было три?) и снова раздумывает перед гаданием:

«— Я не знаю, что чему предшествует — гадание правде или правда гаданию... гадалке чутье может подсказать то, что неизбежно должно случиться.

— Так то гадалка. А карты откуда знают?

— Карты сами не ложатся, их кто-то раскладывает».

Карты раскладывает все та же Марджи Янг Хант. И вдруг смешивает их в кучу:

«— Не могу... сейчас, когда я смотрела в карты, они вдруг куда-то исчезли, и вместо них я увидела... змею, частью в старой коже, пыльной и стертой, частью в новой и блестящей. Вот и понимайте как хотите».

Свершилось! Итен Аллен Хоули поменял кожу, дальше все



случилось быстро: он донес на хозяина лавки, и она перешла к нему за бесценок, он довел до смерти своего друга, и получил в наследство кусок его земли.

А дальше? А дальше Хоули суждено «тащиться через минное поле истины» о самом себе. Прогноз его тоже подвел. Но в отличие от Макбета совсем по-другому. Все свершилось так, как было задумано. Хоули спрогнозировал все правильно. Все, кроме самого себя: в конце романа он склоняется к мыслям о самоубийстве.

\* \* \*

Ну хорошо. А о чем все-таки написан «Макбет»? Об убийстве Джона Фицджеральда Кеннеди? Наверное, нет. О Катерине Измайловой, героине Лескова? Об Итене Аллене Хоули? О каком-то давно умершем шотландце?

Наверное, «Макбет» написан о любви, о крови, о власти, о сильных и слабых людях. Поэтому леди Макбет могла жить в Мценском уезде. Потому что там была любовь, искушение, грех. Это была уголовная трагедия. Поэтому жил в Америке и был убит Джон Фицджеральд Кеннеди. Потому что там власть, месть, честолюбие, угроза, страх. Это была политическая трагедия.

«Макбет» написан о том, чем в изобилии полна человеческая жизнь. Это так. Но главное — пьеса написана о Макбете, том самом давно погибшем шотландце. Если бы все повествование не было завязано через острый сюжет, через леди, любящую своего мужа и готовую ради него на любое преступление, все бы рассыпалось.

Получились бы игральные карты. Конспект.

Не Шекспир.

Средневековая гадалка.

...И все-таки для нас, людей XX века, «Макбет» написан еще об одном (интересно, что увидят в нем люди XXI столетия?). В «Макбете» Шекспир задумался над вопросом, что будет с человеком, с людьми, его окружающими, если дать человеку прогноз поведения.

Пусть все будет. Пусть научатся давать прогноз. Не карты, не три ведьмы Макбета — точный научный прогноз. Пусть электронно-вычислительные машины станут сочинять музыку почище Баха, и будущий Генрих Нейгауз в будущей книге «Об искусстве фортепьянной игры» никогда больше не воскликнет: «Когда я играю Баха, я в гармонии с миром, я благословляю его».

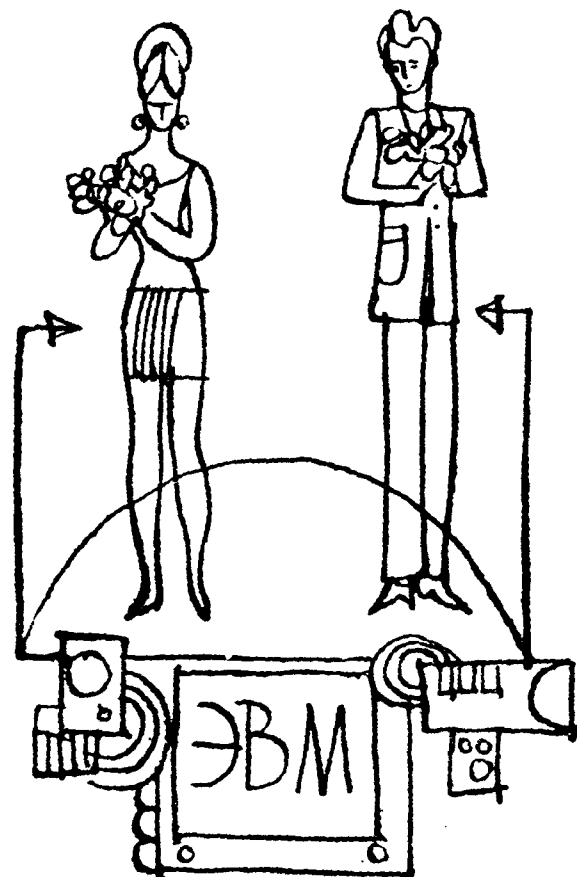
Пусть мы, люди, станем засыпать на электрических матрацах, и они будут укачивать нас в ритме биотоков нашего мозга.



Пусть робот железной рукой будет зашнуровывать нам ботинки, а другой тут же массировать лысину.

Пусть, освобождая себя от любви, бессонницы, ярости, мы будем глотать психофармакологические таблетки.

Пусть ЭВМ станут предсказывать, кому на ком стоит жениться. Вот уж поистине точный научный прогноз, прошедший длительную эволюцию. Сначала древние крутили на ниточках решето: на ком остановится, тот виноват; потом в России с этой же целью — найти во-ра — крутили решето на пальце; потом решето преобразовалось в



«бутылочку». Бутылочку тоже нужно было крутить: на ком она остановится, тому с той целоваться. И вот игра в «бутылочку» превратилась в игру в электронную сваху: электронное решето просеивает кандидатуры женихов и невест. И сорок румяных холостяков пляшут без памяти от радости: «Я хочу на ней жениться». И сорок докторов всяких наук, очевидно женатых и потому смело теоретизирующих, ликуют: «Ближний результат электронных прогнозов прекрасен».

А что будет дальше, вы не подумали, вас это не волнует?

— Помилуйте, — обижаются сорок умных докторов наук, — мы ведь только знакомить хотим, могут жениться, могут не жениться.

Откуда такая беспечность в решении чужих судеб? Откуда, наконец, такая вопиющая психологическая безграмотность? Когда людей знакомят с определенной целью, прогноз тем самым превращают в проект. Ведь это же яснее ясного.

Но пусть, пусть тешатся беспечные доктора наук в свободное от работы время. Пусть мечтают фантасты.

В одном из фантастических рассказов действует портсигар, предсказатель будущего. Он провалился к нам из будущего во временную щель. Человек спрашивает его обо всем. Портсигар бесчувственным голосом вещает своему владельцу: «Ты поступишь неплохо, если сделаешь то-то». Он может спросить, и портсигар, к примеру, ответит: как проехать на Пушкинскую площадь и идти ли сегодня вечером в гости, поступать ли в университет и что для этого сделать. Жениться или не жениться, если тебе 22 года. Портсигар выкидывает цифры: процент разводов вступивших в брак в 22 года такой-то. Лучше



в 24 года. А что будет в 25? И так далее. Портсигар выкидывает корреляции.

Представьте себе, что будет, если когда-нибудь появится подобный «портсигар» — не внутренности жертвенных животных, не цыганка с замусоленной колодой карт, а нечто информированное, беспристрастное, лукавое в своей беспристрастности.

Что будет? Будет плохо!

Человек освободит себя, или ему покажется, что он освободился от главного — от выбора. Этого величайшего достижения и тягчайшего бремени, которое и делает нас людьми. Самое смешное, что ведь все равно придется выбирать, главное всегда надо решать самому; странно думать, что, подстраховавшись со всех сторон, запасшись электронными аргументами, обессилив себя ими, отучив себя от необходимости ответственности, человек обретет счастье. Проблема Макбета, проблема выбора останется навсегда. Ибо без выбора нет личности.

И тут выявляется детски наивная истина. Беззащитная в своей наивности. Конечный критерий любого прогноза всего один — вот тут как раз никакого выбора нет! Идти к цели можно только путями чести и добра.

Пусть, пусть тешатся доктора наук. Но гений, та самая совесть человечества всегда задается детским вопросом, который можно было бы сформулировать так: не что будет, а ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ... То есть зачем это будет, станет ли людям от этого лучше. Так Гераклит сказал задолго до Шекспира: «Не лучше было бы людям, если бы их желания исполнились». Любое желание может сбыться, но средства достижения могут необратимо деформировать цель.

\* \* \*

Все мы мечтаем о том, чтобы любое наше желание сбылось. И как можно скорее! Когда мы растем, мы твердо убеждены, что все желания действительно исполнятся (в Макбете подкупает не детская, с нашей точки зрения, вера в ведьм, а детская вера в то, что все желания непременно сбываются).

Одна из самых прекрасных и точных моделей исполнения желаний в те годы, когда мы растем, — игры. Ты играешь в то и так, как тебе хочется. Любое твоё желание исполняется тут же, на месте.

Захотел — мушкетер.

Захотел — разведчик.

Захотел — казак.

Захотел — разбойник.



Кто-то в игре нарушил правила, нарушил твою модель — выходишь из игры: «Мне надоело, играйте без меня».

(У взрослых, к сожалению, так не получается.)

Почти все мы играли в героев Дюма и Стивенсона. Литературная игра (об этом уже шла речь) остро необходима растущему человеку. Переживание в игре прошлого, как сегодняшнего своего настоящего, оказывается нужным, чтобы, подрастая, человек становился человеком.

...Лично я не знакома ни с кем, кто в детстве или ранней юности играл бы в Гамлета (а ведь сколько на свете Гамлетов!) или в Макбета (а ведь сколько на свете ведьм!). Все так зрелищно, так легко воспроизводимо в пьесах Шекспира: те же шпаги, те же кольчуги, те же бесконечные дуэли и драки.

Схватить домашнюю щетку и изобразить ведьму, прилетающую к Макбету. Стащить с постели простыню и превратиться в призрак отца Гамлета. Упасть на пол, загребая руками, — и вот тебе готовая утопленница Офелия.

Играйте!

Никто не играет в Шекспира.

Видимо, в великую литературу невозможно играть. Она совсем иначе устроена. С ее помощью невозможно молниеносно выполнять любые желания растущего человека. Она учит чему-то другому.

...Но не об этом сейчас речь. Мы ведь ведем разговор о нас самих, о своей жизни во времени, реальном, том, которое на часах, историческом, том, которое когда-то было, о времени выдуманном, которое тоже было, потому что, играя, мы в нем тоже жили.

Мы ведем разговор о том, как меняемся и мы и сама наука, как меняется в веках психический склад человека.

Читая книги о Сильвере и д'Артаньяне, мы в них играем и, играя, становимся собой.

Читая Шекспира...

До чего поразительно интересно развивается современная наука. Мало того, что она сама по себе битком набита парадоксами. Но и сами пути ее развития, ее опыт, ее методы осветили и — освятили! — многие особенности человеческой пси-





хики, многие странности тех чудаковатых представителей рода человеческого, над которыми во все века посмеивался так называемый здравый смысл.

...Во все века иронизировали над естествоиспытателями природы. Во все века называли их чудаками. Во все века считали их людьми бестолковыми, никчемными и непрактичными, оторванными от главного — от реальных земных дел. Только наука XX века спокойно и демонстративно показала: ключи к тем загадкам, над разгадкой которых бились десятки поколений «чудаков», таятся как раз там, в сфере поисков «чудаков» — в небе, в далеких звездах и галактиках, не только в земных, конкретных делах. Многие химические элементы были сначала предсказаны с помощью «неба», а потом открыты на земле. Недра земные «разверзлись» после того, как «разверзлись» науке звезды небесные.

Трезвая наука XX века неожиданно разъяснила: чудак, звездочеты, мечтатели в науке были, с точки зрения современного здравого смысла, самыми практичными на свете людьми.

А вдруг нечто похожее происходит сейчас в мире наук о человеке? Интерес к отдаленнейшим галактикам человеческого духа в последние годы огромен. Какое бесчисленное количество исследований появилось, связанных с первобытным мышлением, с мифологией, развитием древнейших языков, историей забытых народов. Работы эти сложные, чисто теоретического характера, интересуют — и это выглядит парадоксально — самые широкие круги читателей.

То, что еще двадцать — тридцать лет назад презрительно именовалось гуманитарией, то, что считалось синонимом бесплодной ненужности, оказывается остро необходимым и отдельному человеку, и науке в целом. Мы не знаем пока, каков будет практический выход этой волны интереса к самим себе, к своим прошлым историческим обликам. Мы и не можем знать, мы — свидетели и соучастники самого начала этого процесса. Больше того, мы — свидетели еще одного заметного явления: литература прошлого становится научным инструментом познания.

...Читая Шекспира...

Разве Шекспир не отдаленная галактика?

Но позвольте, могут тут возразить, при чем тут Шекспир и пути развития современной науки? При чем тут электронно-вычислительные машины, доктора наук и проблемы стресса? Как Шекспир может помочь решить насущные вопросы прогнозирования будущего, психологии активности, профессионального отбора? При чем тут работа крановщиков, шоферов, трактористов? Какое отношение имеют к Шекспиру психофи-



физиологические показатели стресса у пилотов сверхзвуковых самолетов? При Шекспире и понятий-то таких не существовало.

Конечно, не существовало. Это сверхновые термины. Они были неведомы не только Шекспиру, но и шекспироведам начала нашего века. Но разве химические элементы, остававшиеся загадкой, пока чудаки их не предсказали, имели какие-то научные названия? Неназванные, они существовали от века.

Так и стресс существовал от века, и вероятностное прогнозирование, и психология активности — без этих психических свойств и состояний люди попросту не стали бы людьми.

Одним из выдающихся знатоков сложнейших психических состояний был Шекспир. И когда в XX веке мы пытаемся понять, из каких «элементов» мы лепились и лепимся, мы неизбежно заглядываем в Шекспира.

И наша наука, и мы сами неожиданно оказались в положении вынужденных чудаков.

Приходит в жизни час: человек оказывается **вынужденным** размышлять о Гамлете, Макбете, короле Лире. Приходит час: обстоятельства нашей собственной жизни заставляют нас углубиться в, казалось бы, ненужный быт, в ненужный век, в ненужные — не наши! — обстоятельства давно отшумевших страстей и судеб.

Но ведь наука XX века доказала непреложно: чудаки романтики в свете опыта тысячелетий — самые деловые из всех живших на земле людей.

Может быть, самые трезвые реалисты на свете сейчас те (с точки зрения будущего и науки будущего), кто ночами читает Шекспира, кто штудировать трудные, малопонятные исследования о прошлых временах?

Расшифровать Гамлета и Макбета, чтобы попытаться «расшифровать» себя.

Расшифровать психику человека минувших эпох, чтобы углубиться в исследование собственных психических структур.

Расшифровать древнейший, давно сметенный ветрами истории быт, чтобы понять истоки своего собственного.

Но об этом — в следующей главе.





---

## ГЛАВА ПЯТАЯ,

*где разговор  
идет как будто бы о древних  
древностях, о давно  
исчезнувшем народе,  
вавилонянах, а на самом деле  
о нас с вами, о том, как  
складывалась в течение веков  
и тысячелетий психика  
человека, о том, как  
с помощью безвозвратно  
исчезнувших народов,  
их истории и культуры  
новая отрасль науки,  
историческая психология,  
пытается понять, что же это  
такое—человек.*



## Объявление

На стенде «Мосгорсправка» висело объявление: «Даю **БЕСПЛАТНО** уроки шумерского и аккадского языков. Звонить вечером по телефону... адрес...»

Вывешенное в центре города, выхваченное случайно в сутолоке толпы, в мелькании светофоров, машин, троллейбусов объявление сбивало с ног своей неожиданностью. Требовалось по крайней мере несколько минут, чтобы его осмыслить, и еще столько же, чтобы прийти в себя.

Шумерский язык... Мертвый уже в VIII веке до н. э. Язык, которым 28 веков назад владели лишь избранные: писцы, жрецы, чиновники. Язык III—II тысячелетий до н. э., окаменевший в глиняных таблицах и пролежавший в земле до середины XIX столетия. Сколько человек с тех пор, как его расшифровали в середине семидесятых годов прошлого века, занималось им на протяжении столетия? Две тысячи, три, тысяча? Может, и меньше.

КОМУ В МОСКВЕ ПОЗАРЕЗ НУЖНО ИЗУЧИТЬ ШУМЕРСКИЙ ЯЗЫК?  
КОМУ В МОСКВЕ ПОЗАРЕЗ НЕЙМЕТСЯ УЧИТЬСЯ ШУМЕРСКОМУ ЯЗЫКУ?

Лично мне он не нужен. В текущей своей работе я вполне обойдусь без клинописи. Мне нужно другое: выяснить, не розыгрыш ли все это. И если не розыгрыш, то во-первых: что за человек дал подобное объявление, во-вторых: кто прибежал на его зов?

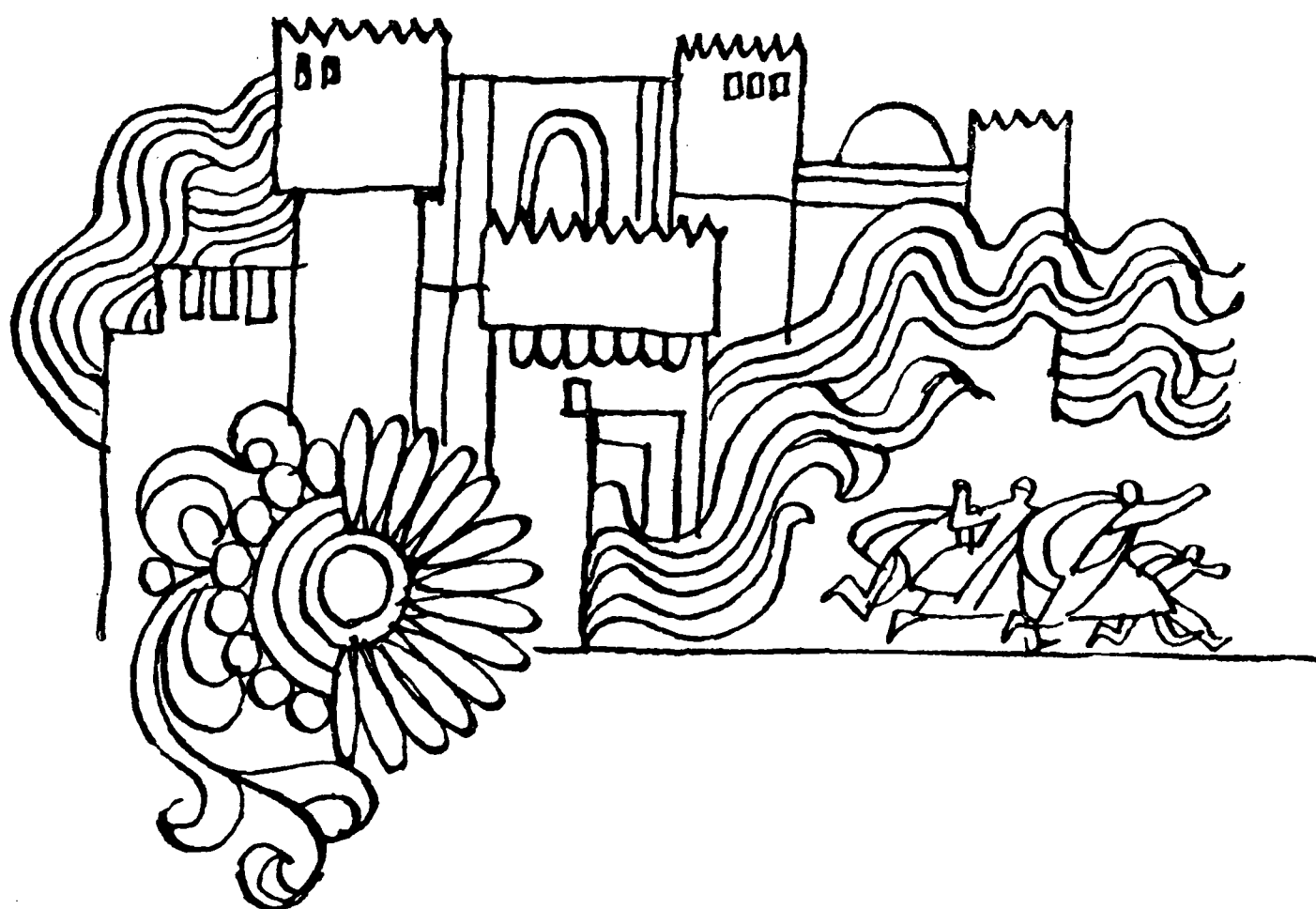
...Дверь открыл человек молодой, светловолосый.

В глазах его стыла сосредоточенная серьезность, сразу отменявшая возможность шуток и игры. Да, он — автор объявления. К сожалению, я опоздала: группа уже набрана, состоялось три первых занятия. В группе шесть человек. Слишком много, трудно заниматься. Включить в группу седьмой? Посмотрим, посмотрим...

Молодой, светловолосый, он вглядывался в меня, пытаясь «высмотреть» серьезность







моих намерений. Что привело человека на край Москвы — необходимость знания языка, потребность в знании истории? Если нужен язык, то насколько продвинута, какими древними языками владею. Если собираюсь заняться историей, то каким именно периодом в многотысячелетней истории Двуречья. Вариант третий, вполне допустимый: насколько всерьез я отношусь к перспективе знать клинопись просто так, «для души»?

Что было отвечать под этим взыскательным взглядом?

Пришлось задавать вопросы — атаковать самой. Почему серьезный человек, специалист, собирается тратить свободное время столь нерационально: конечные итоги благотворительности такого редчайшего свойства вовсе не ясны. Дальше. Кому, по его мнению, нужны шумеры и Вавилон в деловой, будничной, строго организованной жизни города? В области истории древнего Востока можно быть либо специалистом, либо... никем. Специалисты обитают в университетах, в институтах востоковедения. Их там учат, и они там учат. Неспециалисты...

Можно собирать марки, почтовые открытки, спичечные коробки, бутылки, старинную мебель. Нельзя собирать вымершие языки. В них не поиграешь, не разложишь по альбомам, не расставишь по углам. Не покажешь друзьям — не поймут и не оценят. На какой контингент рассчитывал он, вывешивая свое объявление? Шумерский язык не может стать хобби. Не польский же это, не считаешь на нем детективы. Изданной литературы на нем очень мало. Она настолько специфична, так много надо знать вокруг нее, чтобы получить удовольствие, что удовольствие это превратится в труд



непосильной тяжести, несовместный с другими делами и обязанностями. Шумерский и аккадский могут быть только профессией. Нет, я не спорю. Они могли бы стать для дилетанта причудой, страстью, делом жизни, но при одном условии: если бы языки эти не были расшифрованы. Но поскольку их давно расшифровали, они больше не тайна, не загадка. За ними нельзя охотиться. Посему они автоматически становятся делом, профессией. Конечно же, увлекательные охоты за тайнами можно устраивать и внутри языка. Но в том-то и парадокс, что цели охоты определяются, когда человек уже внутри. А для этого надо попасть внутрь. Вовне же...

И незаметно начался спор. Хотя спор, пожалуй, слишком мягкое слово. Полчаса назад еще незнакомые, не скованные условностями давнего общения люди, мы незаметно стали покрикивать друг на друга. Мой собеседник, мой обидчик оперировал в критике тысячелетиями: Древней Грецией, Египтом. Он утверждал, что человек, читающий в подлиннике Эсхила, Софокла, Еврипида, Аристофана, и есть самый нормальный на свете человек, пусть он и занят на работе совсем другим, ходит, допустим, на службу в НИИ и чертит чертежи к новейшим машинам.

В ответ я говорила, что все это сейчас совершенно невозможно и неизвестно, станет ли возможно в будущем, что все это отжившие свой век праздные мечтания; человеку, работающему в научно-исследовательском институте, некогда и незачем читать по-древнегречески. Пусть хоть в переводе классиков прочтет. И то сомнительно, станет ли. И это при том условии, возражала я, что латынь и древнегреческий — давно обжитая, освоенная земля. Несколько поколений учили их в качестве обязательных. Языки эти, история народов, их носителей, — наше европейское прошлое, часть нашей культуры.

Помнит об этом человек, идущий на работу в свое техническое заведение, или не помнит, неважно! Он и не обязан ежеминутно вспоминать об этом: не каждую же минуту вспоминает взрослый человек своих отца и мать. Важно, что от этого факта никуда не скроешься. Греция и Рим растворились в нашей жизни в миллионах, миллиардах подробностей — бытовых, языковых, литературных, философских.

Факту нашей приобщенности к ним по меньшей мере шестьсот—семьсот лет, если вести отсчет от начала эпохи Возрождения, вернувшей нам античность.

Древнему Египту в европейском сознании тоже несколько столетий. Окончательно он был открыт учеными, прихваченными с собой в Египет генералом Наполеоном Бонапартом, уже рвущимся к власти, но еще помнившим о своих юношеских мечтах стать ученым. Открытие древней цивилизации —





единственная удача неудачного похода, окончившегося катастрофой.

Столетиями входит в нашу жизнь, оживает в воображении и исторической памяти Древний Египет — его пирамиды, династии фараонов, его великолепная скульптура, его сложная мифология. Десятки тысяч научных работ написаны о колыбели цивилизации. Десятки тысяч исследователей отдали свою жизнь собиранию, систематизации, уточнению того, как там все у них происходило. Сотни искусствоведов посвятили свою профессиональную судьбу исследованию только древнеегипетского искусства. Их стараниями каждый пятиклассник обязан теперь знать и четко ответить на вопрос в конце параграфа: древнеегипетское искусство — это голова в профиль, глаз смотрит на зрителя, плечи в фас, руки в профиль, таз развернут, ноги же опять в профиль. Идеальный в своем роде показ человеческого тела. Не показ — целый рассказ: что делали, чем занимались, куда шли, перед кем склоняли «головы в профиль»<sup>1</sup>.

К концу XIX века Египет был уже хорошо освоен и перелопачен не только историками, но и художниками, оформителями, ювелирами. Родился эклектичный, вороватый, отхвативший у всех понемножку стилей стиль. (Сейчас, спустя почти 80 лет, он снова вошел в моду на Западе.) Он был стилем так называемой массовой культуры «под античность», под античность бойко штамповали мебель, вазы, посуду, пепельницы, чернильные приборы, дома, целые улицы.

...Нелепо выкладывать моему обидчику — даже в качестве самообороны — тривиальные для любого историка факты. Все это ему известно лучше, чем мне. К тому же, в запальчивости спора, сама того не замечая, я лью воду на его мельницу. На систему его пока не высказанных доказательств. Я даже догадываюсь, что он мне сейчас ответит.

Конечно, его вавилонянам не повезло. Их открыли — лопатой отрыли — позже всех. Мы к ним не успели привыкнуть. Мы знаем их всего каких-то сто лет, даже меньше. Наши предки их не освоили, не ввели в обиход культуры, в систему тех или иных доказательств. То, что происходило в Двуречье когда-то, три тысячи лет назад, не пронизано для нас множеством

---

<sup>1</sup> М. Э. М а т ъ е. Искусство Древнего Египта. М., изд-во «Искусство», 1970.



знакомых, привычных, растворившихся в живописи, поэзии, прозе и потому не нуждающихся в специальных пояснениях ассоциаций.

Ассоциации, связанные только с ними, не успели накопиться ни в науке, ни в философии: сто лет — слишком небольшой срок. Количество знаний не успело перейти в качество приятия. И принятия на интеллектуальное вооружение.

Система их мифологии для непрофессионалов по-прежнему слишком далека и малопонятна: слишком много у них было местных богов, слишком много трудно запоминающихся склок происходило между труднозапоминающимися богами.

Сохранившейся от них литературой вроде бы никто не зачитывается. Не особенно часто издаются сборники их мифов и легенд.

В их бывшие владения, в их разрушенные города туристские бюро не устраивают поездки: это не пирамида Хеопса, не сфинксы, не Афины и не древнеримский Капитолий. Никто не хочет ехать в удручающе плохой климат лицезреть удручающе неприкаянные развалины.

Их развалины не сохранились. Не сохранились и лабиринты стен и подземелий. По музеям мира развезены, инвентаризированы, подробно описаны их сокровища. Их глиняные таблички крошечком лежат по различным хранилищам, библиотекам, университетам. Они издаются для узкого круга профессионалов.

Не очень им повезло, низкорослым и некрасивым, высоким и красивым — сложному конгломерату племен, населявших Двуречье. Может быть, в этом все дело?

Их открыли, отрыли, расшифровали накануне. Надвигался XX век с массой собственных сложных проблем: ассоциации XX века черпались из иных источников. Вот если бы (идея абсурдна, но вдруг!), вопреки всякой логике, Наполеон Бонапарт решился покорять не Египет, а нынешнюю территорию Ирака, кто знает, какая судьба ожидала бы шумеров, ассирийцев и вавилонян. Может быть, ничто бы не изменилось, они вытеснили бы в нашем сердце древних египтян?.. И приходит грустный ответ: ничто бы не изменилось. У исследователей наполеоновской эпохи не было бы времени и причин углубляться в ничем не замечательную глину.

...Совсем немногим известно много об исчезнувших городах и людях Двуречья.

Многим, абсолютному большинству, неизвестно о них почти ничего. Включение их истории, их быта, нравов, подвигов и поражений, их достижений в круг нашего обыденного сознания, в повседневное формирование нашей личности только начинается.



Когда нам исполняется восемь — десять лет, многие из нас доводят родителей до изнеможения, заставляя читать древнегреческие мифы, — нам это нужно! Нам нужно знать о подвигах Геракла, чтобы черпать в них уверенность: нам тоже предстоит совершать подвиги! В пятом классе нам это снова нужно. Уже без помощи родителей ищутся и передаются из рук в руки книжки. И письма приходят в газеты и журналы: где достать «Мифы Древней Греции», что почитать о Древнем Риме, о войнах его с Ганнибалом.

Редакции спрашивают: от какой болезни именно умер фараон Тутанхамон, а если не от болезни, то что с ним точно случилось. Редакции спрашивают: правда ли Нефертити была такой красивой?.. Покачивая на цепочке пластмассовой головой, Нефертити украшает платья миллионов женщин во всех концах мира. Нефертити — самая популярная звезда последнего десятилетия!

Никто не выясняет в письмах обстоятельств жизни и смерти великого Гильгамеша. Никого почему-то не волнует, была ли у него жена.

...Внезапно, в какую-то минуту я перестала спорить с автором поразительного объявления в «Мосгорсправку»: я догадалась, он надеется — со временем в редакции начнут приходить письма, выпытывающие подробности о Гильгамеше. Правда, подробностей не будет: почти не сохранилось сведений о жизни Гильгамеша, известно одно только — он реально существовал. И все-таки автор объявления рассчитывает ускорить рост нашей любознательности. По-своему. Так, как он умеет, он обучит мертвым — а для него живым — языкам шесть человек, а те шестеро... Шестеро — это уже очень много!

Словом, мне удалось получить приглашение на очередное занятие.

На очередном занятии выяснилось: трое добровольцев из шести были мне хорошо известны. Два первокурсника и одна второкурсница — давние мои знакомцы. Мы познакомились несколько лет назад, а потом потеряли друг друга из вида.

## На этой странной олимпиаде

Несколько лет назад это было. Несколько лет назад проходила та давняя олимпиада. Воспоминания мои, когда я увидела знакомые, уже потерявшие детскую припухлость физиономии, потекли почему-то с конца, с того момента, когда вышеозначенным физиономиям вручались призы и грамоты.



...Победители, неловко сутулясь, выходили к президиуму. Председатель каждому жал руку, ответственный секретарь вручал премию и тоже жал руку. Оргкомитет улыбался. Зал неумоимо и бескорыстно хлопал: Помню, как смущенно тащили от столика президиума эти трое пачки толстенных книг и словарей. Помню выражения лиц «начальства» из президиума.

Свежевыбритый, свежевystриженный, отутюженный оргкомитет улыбался: два месяца веселья, бесконечных заседаний, переговоров на высшем уровне с деканом, чтобы были в воскресенье открыты аудитории университета, с типографией, чтобы не забыли отбронзовать двадцать экземпляров почетных грамот, а остальные напечатать в два цвета, дни розыгрышей, беготни, ночных бдений — словом, два месяца вполне утомительной работы были позади. И потому, наверное, что слишком много и щедро вложено в олимпиаду душевных сил, так жадно-внимательно всматривался оргкомитет в тот давний весенний день в лица победителей. Что их ждет? Что с ними станет, с этими мальчиками и девочками, придут ли они снова в университет? Или унесет их в иные учебные и ученые миры на иные, не гуманитарные факультеты.

Помню, у дверей стоял «некто с мехмата», караулил и тоже всматривался в лица, таинственно подзывая к себе и молча протягивая листок. А там было написано: «Восьмиклассник! Для тебя организован математический кружок при МГУ. На занятиях ты будешь решать интересные задачи. Вот некоторые из них... Приходи...»

— Переманивает,— кивнули мне на него.— Этот тип всюду шастает. У нас, на психфаке, на биофаке. Совести у них нет, только себе хотят хороших людей.

Помню прощальные улыбки, внезапную пустоту зала. Только первая премия по седьмым классам, та, что, сморщившись, аккуратно выводит сейчас в толстой общей тетрадке клинописные шумерские значки, беспомощно топталась на месте. Дело в том, что первая премия по седьмым классам получила в подарок 14 книг и соображала, как дотащить их домой.

Помню, какой поднялся шум: «У кого есть веревка? У кого есть веревка?» Не было у оргкомитета в хозяйстве веревочки. И тогда один из распорядителей извлек из портфеля синюю авоську: «Дарю!»

Синяя авоська спустилась по старинным мраморным лестницам, вышла в университетский дворик, остановилась у телефонных автоматов. Рядом с красной кабинкой топталась вторая премия — сторожила две пачки бесценных (интересно, кому они в Москве нужны?) книг. Потом они снова объединились, потоптались, рассовывая книги по карманам и за шиво-



рот. И вот уже авоська, сопровождаемая двумя первыми премиями, поплыла по Моховой.

...Две первые премии и еще одна, оставшаяся тогда без наград, личность, выводя шумерские закорючки, с любопытством косятся в мою сторону.

\* \* \*

Помню, я ходила тогда на разборы их задачек.

«Агне! Агнайас! Агни!» — О огонь! О огни! О два огня!

Вот условие той давней задачи.

Здесь приведено несколько форм слова «огонь» в древнеиндийском языке санскрит. Ими представлены все имеющиеся в санскрите падежи и числа (но не все комбинации падежей и чисел). Для каждой формы с помощью русских переводов указаны все ее значения... Сколько падежей в санскрите? Сколько чисел в санскрите? Предложите название для каждого из этих падежей и чисел (можете использовать для этого известные вам грамматические термины).

Помню зябкую беззащитность, охватывавшую на этих разборах. Допустим, я учусь в седьмом классе, допустим, на дверях моей школы появляется афиша — меня позвали на олимпиаду, где надо знать все! Допустим, я терпимо отношусь к русскому языку, похуже к математике и совсем плохо (так часто бывает) к иностранному. Психологию же в школе вообще не преподают. И все-таки, все-таки мне любопытно, что там может происходить, на этой странной олимпиаде, которая собирается соединить в себе заведомо несоединимые вещи.

Допустим, я все-таки решилась. В час назначенный нам всем раздают листочки.

Помню, на олимпиаде давали таблицы местоимений на прекрасном и никому не ведомом языке хануноо.

Предлагали отрывок из Зографского евангелия (XI век) и просили перевести его со старославянского, стараясь, по возможности, не сокращать, не добавлять ничего, сохранять порядок слов, и, в заключение, рекомендовали сделать какие-нибудь наблюдения над старославянским языком на основе данного текста.

— Ксерете афтон тон антропон?

— Нэ, ксеро.

— Пйос инэ афтос о антропос?

А это диалог на новогреческом языке, записанный русскими буквами. Извольте-ка переведите его на русский язык.

На той давней олимпиаде требовалось знание 15 языков.

...А впрямь ли требовалось?

Все началось с задач известного советского лингвиста За-



лизняка. Лет десять подряд он сочинял их только для внутреннего употребления: развлекался сам и развлекал друзей. Это были первые в мире задачи по структурной лингвистике. Правда, задачи в лингвистике существуют испокон веков: вопросы в конце параграфов школьных учебников, разве это не задача?

Зализняк строил свои задачи на принципиально новой основе. Точные методы в лингвистике только-только пробивали себе дорогу. В забавных задачах содержался вовсе не забавный, а полемический подтекст: они доказывали, что в языке есть элементы, поддающиеся формализации, что путем чисто логических операций можно моделировать фрагменты неизвестных языков. Зализняк составлял текст на языке *X* и переводил его на язык *Y*. При переходе от фразы к фразе в языке *X* менялись только определенные элементы. Естественно, это отражалось в переводе на язык *Y*. В конце давалось поистине сенсационное задание: переведите несколько фраз одного неизвестного языка на другой, столь же неизвестный.

Классические билингвы<sup>1</sup> Зализняка, в сущности, воспроизводили билингвы древних...

И вот из хаоса и языкового беспорядка с напряжением, натугой, недоумением даже человек извлекал некий блок и с его помощью конструировал не искусственные языковые построения, а живые реальные фразы. Только умение логически мыслить, сопоставлять, систематизировать разницу, только терпение... и никаких, ровно никаких специальных знаний.

Ошарашенный, затюканный, потрясенный семиклассник, придя на олимпиаду, полчаса-час оправлялся от сильнейшего психологического шока, а потом с изумлением обнаруживал брешь в неприступной вязи арабского, в окончаниях португальского, и постепенно до него доходило, что в каждой задаче полностью заключено ее решение...

\* \* \*

Любопытные это были годы — годы начала первых «странных» олимпиад. Кругом рождались «странные» школьные мероприятия — странные олимпиады, странные новые школы, появлялись странные школьные преподаватели.

Академик Колмогоров впервые вошел в класс со школьным журналом под мышкой и, как тысячи обыкновенных учителей, добросовестно отметил, кого сегодня нет. В ту осень он сказал кому-то из своих, вовсе не для печати: «Я отдам школе

---

<sup>1</sup> Б и л и н г в ы — текст одного содержания, записанный рядом на двух языках.



три года жизни», и фраза эта пошла гулять по Москве, ее повторяли на разные лады.

К тому времени в ослепительном березняке уже вовсю жила новосибирская физматшкола. В том же далеком году на кафедре педагогики Новосибирского университета мне показали архив знаменитых сибирских олимпиад — несколько ящиков, плотно набитых карточками — решениями задач.

В ту весну был диспут о физматшколе: «Как, кого и для чего мы учим». Он начался в 7 вечера и был не закончен — прерван — в четыре часа утра. В битком набитом «знаменателе» — небольшом зале на первом этаже — вперемежку сидели аспиранты, доктора наук, студенты, академики. Речь, в сущности, шла об одном: об идеальной школе будущего, о том, как готовить ребят к приходу в новый, изменивший свои очертания мир, как научить слушать его ритмы (прежде всего ритмы мира, а потом уже науки), как освободить их от гипноза традиционных школьных догм и устаревших представлений, ведь все равно каждый человек, и исследователь тем более, избавляется от них сам, но какой ценой! Так лучше сделать это раньше, чтобы раньше начать, чтобы больше успеть, чтобы с детства появились ясные ориентиры в беспорядочном хаосе знаний. Помню, как, зажатый где-то в углу — пройти в середину, на круг, было невозможно, — один из ведущих новосибирских ученых запальчиво говорил: «На своих олимпиадах мы соблазняем лучших. Вот уже несколько лет идеальными методами, все время их совершенствуя, мы срезаем под шерстинку школьную верхушку Сибири. Срезаем, привозим к себе, определяем в ФМШ и... радуемся: смену себе растим. Вы что же думаете, мы, снобы, создали себе одну, уникальную школу, обеспечили себе кадры, а дальше хоть трава не расти? Имеем ли мы на это нравственное право? Я думаю, нет. Я думаю, мы должны работать на всю страну или хотя бы на всю Сибирь»...

С тех пор, когда я слышу разговоры о том, что крестовый поход ученых в школу — все эти олимпиады, семинары, спец-интернаты — продиктован отнюдь не возвышенным, а, скорее всего, прозрачно-утилитарными мотивами: «Недаром они суетятся, эти физики, математики, химики, лингвисты, знаем мы их, каждый растит для себя» — с тех пор я вспоминаю новосибирский диспут, его председателя, нелепо-лохматого физика, вспоминаю почему-то, как он вскакивал, пытаюсь навести порядок, и при этом дико размахивал невесть откуда взявшимися бутафорскими досками, на них мелькали пестрые, вырезанные из иллюстрированного журнала слова — «сегодня» — «завтра».

«Сегодня — завтра». Ударение на втором слове «завтра».



«Предвидимое будущее». Что удивительного в том, что первыми забеспокоились ученые.

У лингвистов же, психологов, психолингвистов, специалистов в области массовых коммуникаций накапливались особые причины для беспокойства. Информационная ситуация века такова, что требует от каждого из нас, не только от профессионалов, ясного и точного владения словом, ясного и точного общения друг с другом. Научиться правильно говорить, однозначно понимать друг друга, научиться правильно пользоваться языком — незаметно эти вопросы превращаются в государственную проблему первостепенной важности. Она еще только вырисовывается в дальней дали, эта грандиозная научная проблема, ею еще никто в мире не занимается, но она грядет, и к ней пора готовиться.

Беды, убытки, которые терпит государство от языковой сумятицы и недоразумений, от того, что одинаковые вещи называют по-разному, а разные — одинаково, от языковой путаницы в деловых бумагах, научных трудах, технической документации, с трудом поддаются перерасчету на рубли и копейки. Но они существуют, эти убытки.

В школе есть предмет — русский язык. Математика, физика, химия — науки, это ребята знают, а русский — предмет, слово-то какое скучное, обтекаемое, полное неопределенности. Психологии же вообще нет. Ни науки. Ни предмета. Ни слова такого даже. Выход из положения: языкознание — хотя бы оно для начала — должно перейти в разряд строгой и точной науки. Не традиционный свод скучных правил и занудливых из них исключений, а знание того, как устроен язык, на котором мы все говорим, как он передает информацию, какими способами — разве это не интересно? Только поняв механизм действия языка, можно почувствовать древние механизмы его обаяния.

Наука о психологии восприятия речи, о языке в школе. Как она будет строиться? Пока видны только слабые, еле различимые контуры.

Олимпиады в Московском университете, разбивающие привычные стандарты мышления, — самый первый робкий шаг на пути превращения сугубо гуманитарных предметов в строгие и точные.

\* \* \*

В анонсе первых олимпиад — «традиционные» — была заявка на долголетие. Заявка обязывала срочно обзаводиться традициями. И они появились. Стойкие традиции, неукоснительно соблюдаемые и по сей день.

Традиция первая, оформленная приказом, — проводить олимпиады весело.



Традиция вторая — строжайшая секретность. Оргкомитет, а также работающая при нем задача́ная комиссия — до сих пор! — собираются на свою каббалу только в подвале, предпочитая всем прочим помещениям звуконепроницаемую комнату. Ключ в замке поворачивается — очередное заседание открыто! Протоколы заседаний, варианты задач и сейчас хранятся в сейфе. Сейф опять же стоит в подвале.

Членам оргкомитета категорически запрещено обсуждать задачи при случайных личных встречах, как-то: на лестницах, в коридорах, в аудитории — вдруг кто-нибудь подслушает, расскажет знакомым подшефным детям.

Отсюда еще одна традиция: у каждой задачи свой шифр. Названия шифров полны мистики и поэзии: «слепые исполнены», «ты да я», «верблюды», «дулмурдук в минус первой». При зашифровке традиционны несколько принципов. Называть словом, которое есть в задаче, или, наоборот, которого вовсе нет. Скажем, скучноватая задача. Ну, совсем не сахар для ребят. Тем более, не шоколад. Как ее назвать? «Шоколад», конечно.

Коль речь пошла о задачах, стоит вспомнить, как на моих глазах свирепел оргкомитет, ибо он в тот год ввел еще одно условие: «Председатель предыдущей олимпиады не должен понимать даже условий задач следующей».

Кстати, оргкомитет посчитал, что в среднем каждый из его членов имеет право претендовать на любой олимпиаде не больше чем на десятое-одиннадцатое место.

— А как же ваши олимпиадники? — изумилась я тогда.

— Олимпиадники? Они же хитрые. Они же не испорчены высшим образованием. Глядишь, и решат.

\* \* \*

Как их выбирали тогда, как их вообще, лучших, выбирать?

По количеству очков? А если человек знает несколько языков? Поощрять это обстоятельство высоким баллом или не стоит: в конце концов, для решения задач языки знать вовсе не требуется.

Помню, как мне хмуро объявили: «Ваш любимчик получает, к сожалению, официальную премию и наш тайный хулигательный отзыв».

На «ваш» я тогда не отреагировала. Что же там отпираться. Познакомилась я случайно с одним семиклассником — подумать только, изучающим сейчас вкупе с другими шумерский язык по объявлению в «Мосгорсправке»! — еще на первом туре. Разговорилась. А потом, едва сдавали работы, бегала



в профессорскую, заглядывала через плечо дежурного по аудитории: как там мой — решил, все ли?

Но «к сожалению» и «хулительный отзыв»... Это заявление трудно оставить без внимания.

— Почему же это «к сожалению»? Потому что лучше всех решил нулевую задачу? («На всех известных вам языках напишите, зачем сюда пришли».)

На шести языках — английском, немецком, итальянском, латыни, польском, суахили — мой подшефный объяснил, что ему нравится приходить в университет и решать задачки про разные языки и на разных языках.

— За полиглотство караете? А как же тогда быть с его приятелем? В нулевой задаче по-английски (в школе его проходит) ошибок насажал, а вот по-старофранцузски очень складно изложил, для чего к вам пришел.

— Глупостями они занимаются, ваши любимчики, вот что. Дадим им премии — совсем испортим. Понесутся языки набирать. Ну, выучат они к следующей олимпиаде, допустим, португальский язык. А на нем, между прочим, уже говорят 50 миллионов. И не гордятся. Способные ребята, а ведь пропадут для науки, если вовремя не опомнятся. Вы что думаете, они наши задачи решали? Ломали себе голову, как другие, искали к ним логические ключи? Да ничего подобного, они просто знали.

«Они» — это Никита и Миша. Оба с детства привержены старинным книгам, словарям, языкам. Одного в семье поощряли: отец переводчик; другого, Никиту, наоборот: «Хватит с тебя троек по-английскому».

Они познакомились на разборе на прошлой олимпиаде, и тут же надо было расставаться. Выяснилось, живут они друг от друга далеко и у обоих нет телефонов. Решили переписываться. Первым написал Никита на звонкой латыни. Ответ пришел по-итальянски и содержал разбор латинских ошибок адресата. Уязвленный Никита на итальянском же указал, что итальянский его нового друга столь же не безупречен, сколь и его латынь. В ответ пришло послание на эсперанто. А потом переписка оборвалась: обоим поставили телефоны, и они условились разговаривать по-польски...

Оргкомитет за всю эту деятельность их грубо порицал.





— Признайтесь, вы же просто ревнуете,— сказала я тогда.— Мальчишки любят возиться со словарями, они с таким торжеством сообщили, что в суахили вообще нет слова «зеленый» и Хемингуэй, значит, зря назвал свою книжку «Зеленые холмы Африки»! Они же не просто языки шпарят, они за языками видят историю, литературу, психологию. А вы норовите превратить их в ученых сухарей.

— Как же вы не понимаете? — Оргкомитет вежливо маскировал свое коллективное удивление перед моей тупостью.— В науке нельзя быть потребителями. А ваши любимчики уже достаточно образованны, чтобы почувствовать потребность что-то ей отдать, а не только взять. Узнать и открыть то, чего никто не знает.

— Господи, да вы хотите их в машин превратить! Им же пятнадцать лет! Четырнадцать!

— Да, конечно. Темные они еще! Но пора, пора им за ум браться. Пусть найдут что-нибудь новое. Пусть самую малость. Пусть наврут поначалу. Но пусть поймут, что охота за языками сама по себе для науки бесплодна. Языки — только инструментарий.

...Интересно, зачем мои бывшие любимчики явились на занятия? Шумерский и аккадский — уже инструментарий для них или по-прежнему охота?

\* \* \*

И снова вспомнился мне финал той давней олимпиады. Забавно затянувшийся финал.

Последнюю финишную неделю оргкомитет почти не спал: считал, пересчитывал очки. И в этом году было то же самое. И в предпоследний вечер все уже успели устать и охрипнуть от споров, когда один из членов оргкомитета подошел к доске и неожиданно для всех — и, кажется, для себя тоже — быстро написал формулу. Прекрасную формулу. Замечательную формулу, остроумную формулу, потому что она сразу упрощала дело: она теснила ненавистную, ненадежную интуицию. Наконец-то вводила она точные оценочные принципы. Раньше оргкомитет действовал по старинке: ставил отметки «на глазок» за каждую задачу, потом их складывал.

Формула вводила новое понятие — вес задачи, где  $A$  — априорная оценка трудности и важности задачи,  $P$  — число тех, кто отважился взяться за эту задачу,  $T$  — число тех, кто решил ее хорошо.

Помню, полночь близилась, когда оргкомитет в восемь рук за полтора часа закончил подсчет победителей по новой методике. Быстро разграфили ватманские листы бумаги, написали фамилии, проставили цифры. С тем и разошлись.



А наутро, на последнем заседании... Наутро все началось сначала. Конечно, формуле верили. Но вдруг! Вдруг что-то не учли, забыли, не заметили оттенков. И снова, в который раз, пошли по рукам листочки предполагаемых призеров.

А тут еще появился некто сугубо математический. Страшно обрадовался формуле и предложил уточнить ее и дополнить.

Последнее заседание оргкомитета продолжалось семь часов без перерыва: очень трудное это дело — стремиться к максимальной справедливости!

\* \* \*

По традиции закрывать олимпиаду, то есть выступать с тронной речью, должен был почтенный ученый, желательно с бородой. Но с бородами трудно. Этот пункт устава соблюдался редко.

Профессор-психолог Николай Иванович Жинкин тоже без бороды, но он держал классическую речь, какие умеют произносить только пожилые интеллигентные люди. Он говорил о языке, мышлении, психике, психологии, о том, что современный специалист в этих ускользающе неопределенных профессиях должен знать очень много — математику, физиологию, экспериментальную психологию, философию, теорию коммуникаций. Новейшие термины перемежались в его речи воспоминаниями о старом университете, парадоксальными советами («разучивайтесь читать книжки, учитесь думать», «радуйтесь, когда перестанете понимать, значит, набрали на что-то стоящее»).

К концу тронной речи профессор поднялся до высокой патетики. Аудитория растроганно и благодарно слушала — профессор возвышал ее в собственных глазах, он утверждал даже, что трудно родиться в более благоприятное время: «Все сместилось, смешалось в Доме науки. Каждый может стать первооткрывателем».

— Вы думаете, вы пришли сюда сами, по своей воле? — вопрошал он аудиторию. — Нет, ошибаетесь, вас сюда привела история.

Пожалуй, это была единственная оплошность в великолепной речи. Николай Иванович замахнулся на самое важное и болезненное — на духовную самостоятельность и свободу выбора.

— Схоластика! — прошептала первая премия.

— Нет, мистика! — поправила его вторая.

— Вовсе нет, — повернулась к ним девочка с косичками. Косички такая редкость, что эти двое взглянули на их обладательницу с невольным почтением. — Вовсе нет, обыкновенная гипербола, чтобы нам, малышам, понятней было, — почти пропела она.



...Вот тогда-то председатель и объявил ту давнюю олимпиаду закрытой.

\* \* \*

Сколько же лет с тех пор прошло? Три, четыре? Во всяком случае олимпиадники мои с тех пор не угомонились, прибежали «набирать языки» на край Москвы. Сидят втроем рядышком, корябают шумерские каракули — две «первые премии» и та самая девочка, правда, уже без косичек.

Нет, не зря проводятся в университете «странные» олимпиады. Совсем даже не зря. Только вот удалось ли оргкомитету заманить эту троицу в свои сети?

На мой вопрос, зачем они сюда пожаловали, они ответили: их цель — прочитать в подлиннике «Эпос о Гильгамеше»; сначала они выучат шумерский, потом аккадский, на котором и записан Гильгамеш.

На вопрос, где они сейчас и чем занимаются, они весело сообщили, что убежали от лингвистов. Девочка учится на психологическом факультете университета, решила специализироваться в области науки, которая практически только-только создается, — в области исторической психологии. Ее интересуют первые очаги цивилизации. Работ по исторической психологии мало. Больше всего по древним грекам. Она же намерена заняться шумерами и поздним Вавилоном. Для этого ей нужно знание их языков. Одной психологией, той, которая преподается на психфаке, ей не обойтись.

«Девочка с косичками» осталась очень серьезной девочкой и тогда, когда обрезала свои несовременно-серьезные косички.

«Первые же премии», бывшие любимчики, учатся, как выяснилось, на историческом факультете, на классическом отделении.

— А зачем же тогда шумеры и Вавилон?

— А можно не отвечать на ваш вопрос? — спросили «первые премии». — Про Гильгамеша мы же вам намекнули...

\* \* \*

И вправду намекнули! Предстоит расшифровать намек. Что прельстило их в том фантастическом далеком и фантастически непонятном мире? Куда более непонятном, чем мир Древней Греции и Рима. Куда более фантастическом, чем миры действительно фантастические и выдуманные. Выдуманные «миры» Стивенсона, Дюма, Вальтера Скотта — насколько они ближе нам мира Гильгамеша.

...Парадокс нашего психологического восприятия заключается в том, что, в отличие от выдуманного писателем мира, мир Гильгамеша действительно существовал.



**«Принеси  
с собой  
дверь»**

«Девочка с косичками» мечтает изучать отдаленнейшие галактики человеческого духа, те самые, реально существовавшие когда-то, что кажется нам — по незнанию нашему — фантастичней самых фантастических из выдуманных литературных галактик.

Но она вовсе не похожа на романтически настроенную особу: серьезность, деловитость, собранность, точный план действий. Коль скоро ей предстоит разрабатывать новую науку — историческую психологию, необходимы знания — аппарат современной психологии плюс знание языков и истории Двуречья.

Трудно? Еще бы! Чтобы что-то успеть сделать, надо рано начать, надо смолodu накопить научный багаж. Потому и ездит моя деловая, отнюдь не чудаковатая девочка через всю Москву на уроки шумерского и аккадского языков. Почему бы не заняться языками в университете? Деловой ответ: «В домашней обстановке, в ситуации общего энтузиазма все запоминается гораздо быстрее. Происходит уплотнение общего психического усилия. И это благотворно сказывается на результатах запоминания».

«Девочке с косичками» хочется проследить, как на ранних этапах цивилизации воплощалась в вещном мире психика человека, каковы были законы их взаимодействия. Труд и регулирующие его умственные структуры — вот то главное в человеке, что выделяет сейчас историческая психология в качестве рабочей гипотезы.

Очень многое в области исторической психологии сделано известным советским историком Борисом Федоровичем Поршневым<sup>1</sup>. Немалый вклад внесла французская школа историков-марксистов.

«Труд — основная деятельность человеческого общества и в то же время его главная психологическая функция, — пишет французский исследователь Иньянс Мейерсон. — Труд — стержень личности человека XX века, в труде он является более всего самим собой... человек только предчувствует, чем мог бы быть для него труд!»

А раз так, то, очевидно, можно изучать психику человека по продуктам его труда. В исторической психологии фигура человека правомерно выступает как то неизвестное, свойства которого должны быть восстановлены по результатам его созидательной деятельности... В последовательности творений

---

<sup>1</sup> См. сб. «История и психология». М., изд-во «Наука», 1971. Б. Ф. Поршнев. О начале человеческой истории (проблемы палеопсихологии). М., изд-во «Мысль», 1974.



психолог должен найти ум, который их создал, выявить его уровни, аспекты, трансформацию и, таким образом, через историю творений воссоздать историю ума, историю психических функций.

Впереди огромный по трудоемкости психологический анализ — ревизия материальной и духовной культуры человечества. Естественно, на первых порах психологов зачаровывают переходные моменты в истории человечества.

Распад первобытнообщинного строя, выделение классов, рост городов, развитие ремесел — весь этот привычный перечень впервые в истории науки предстоит рассмотреть под новым углом зрения: как усложнялся в процессе этих изменений человек.

Для того чтобы заняться такого рода исследованиями, нужна новая, пока еще не существующая профессия... Вот и ездит моя олимпиадная девочка через всю Москву, учит шумерские и аккадские закорючки. В университетских аудиториях, в читальных залах, в метро, в пересадках с автобуса на автобус — учит!

...Новые профессии прорастают в науке неприметно.

\* \* \*

Чем она собирается заняться в первую очередь? Шумерами? В общем-то, это и не удивительно, ведь Вавилон и Египет — это колыбели, где начиналась культура человечества. Именно там зародилось все то, что привело впоследствии к появлению нас самих.

Это они изобрели письменность. Это у них была очень высокая грамотность. Это у них была достаточно высокая точность астрономических вычислений<sup>1</sup>. (По ним удалось восстановить всю хронологию эпохи Старого Вавилона.) Это они доказали теорему Пифагора по крайней мере за тысячу лет до великого грека. Это они разбили год на месяцы и недели, а сутки на часы и минуты. Это их медицинский справочник занимал сорок глиняных табличек, и в законах царя Хаммурапи, правившего во втором тысячелетии до нашей эры, врач — привычное действующее лицо, чьи права охраняются законом, чей гонорар специально оговаривается.

«Если врач сделает человеку тяжелый надрез бронзовым ножом и излечит (этого) человека или снимет бельмо человека бронзовым ножом и вылечит глаз человека, (то) он должен получить 10 сиклей серебра».

---

<sup>1</sup> Н. М. Никольский. Культура древней Вавилонии. Минск, Изд-во Академии наук БССР, 1959.



Они уже многое умели, врачи Междуречья.

«Если врач срастит сломанную кость человеку или вылечит болезненную опухоль (?), то больной должен отдать врачу 5 сиклей серебра». Древние врачи уже руководствовались тем принципом, на котором основывается современная медицина: «Болезнь не может быть успокоена повязками, и жало смерти не может быть вырвано, если врач не узнает существа болезни».

У них была уже профессия ветеринара:

«Если лекарь волов или овец сделает тяжелый надрез волю или овце и причинит смерть животному, то он должен отдать хозяину вола или овцы  $\frac{1}{4}$  его покупной цены».

У них было уже множество профессий, были цирюльники, были строители домов:

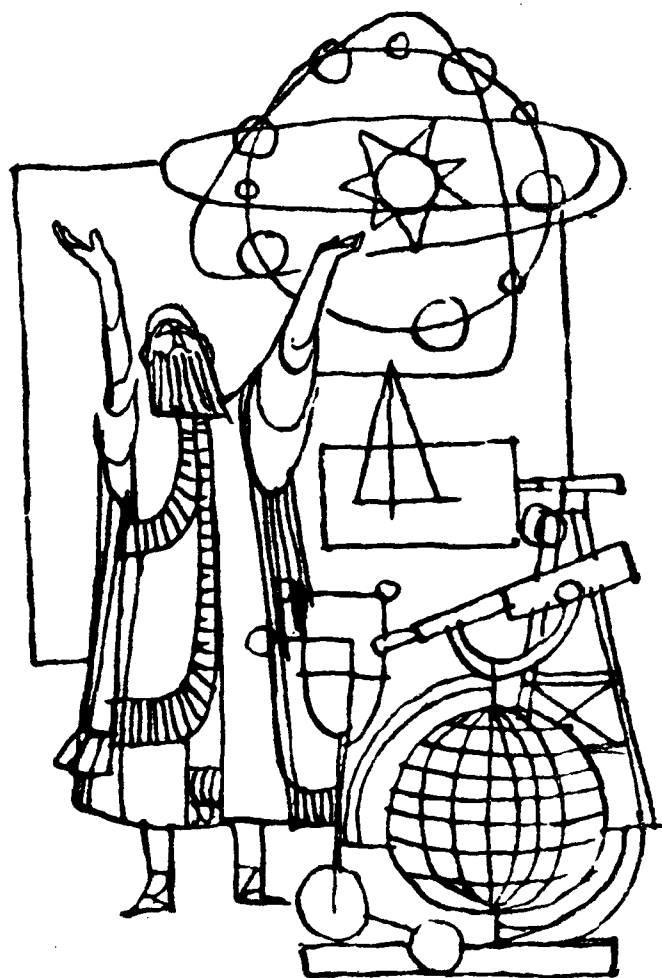
«Если строитель построит человеку дом и сделает свою работу непрочной, так что построенный им дом обвалится и причинит смерть хозяину дома, то этого строителя должно убить».

Еще за тысячу лет до Хаммурапи это было общество, где происходило стремительное разделение труда, где появились многочисленные ремесленники, где корабельщики уже вовсю строили корабли и с них брали штраф, если они строили халтурно: «Если корабельщик соорудит человеку судно и сделает свою работу ненадежно, так что судно в том же году станет течь или получит другой недостаток, то корабельщик должен сломать это судно, сделать прочное за собственный счет и отдать прочное судно хозяину судна».

Все уже было: и корабельщики, и строители, и врачи, и гончары, и кузнецы, и плотники.

...Страшно далекое для нас общество. Но обиход его уже вполне понятен. У людей уже есть профессии, не у всех, но у многих, и хотя эти профессии пока не освобождают их от необходимости вместе со своей семьей, своей общиной возделывать землю, многие люди уже делают разное.

Общество уже не может довольствоваться только обычным правом: око за око, зуб за зуб в буквальном смысле этого слова — тебе выбили глаз и ты в ответ выбил глаз, тебе сломали руку и ты в ответ сломал руку. Подобные законы действовали из поколения в поколение в течение многих сотен и ты-







сяч лет, все решал совет старейшин или народное собрание. Теперь появились писанные законы, значит, появились люди, судившие по этим законам: уже изобретен прообраз современного суда.

И уже есть литература, огромная культурная традиция уже существует, есть множество мифов и сказаний о богах, уже есть поэмы, которые сочиняются, дополняются, переделываются на протяжении столетий. Главная из них, «Поэма о Гильгамеше», создана за тысячу лет до «Илиады» Гомера.

Вавилонские дети учили ее и знали наизусть, совсем как древнегреческие дети учились грамоте и декламации по поэмам Гомера. Ее рассказывали по вечерам у костров пастухи, ее пели царям артисты. Она вобрала в себя душевный опыт народа, его попытки осознать мир, в который приходит человек. Это первое сохраненное литературой пробуждение высокого в человеке.

Гильгамешу отвечают на вечные вопросы:

Гильгамеш! Куда ты стремишься?  
Жизни, что ищешь, не найдешь ты!  
...ты хочешь, Гильгамеш, чего не бывало <sup>1</sup>.

Герой поэмы Гильгамеш после внезапной смерти своего друга Энкиду задумался над тем, что и он тоже умрет:

Дни и ночи над ним я плакал,  
Не предавая его могиле,—  
Не встанет ли друг мой в ответ на мой голос.  
Шесть ночей миновало, семь дней миновало,  
Пока в его нос не проникли черви.  
Устрашился я смерти, не найти мне жизни.  
Словно разбойник, брожу я в пустыне:  
Мысль о герое не дает мне покоя.  
Так же, как он, и я ль не лягу ль,  
Чтоб не встать во веки веков?

---

<sup>1</sup> Здесь и далее цитаты из поэмы «О все выдавшем» даются в переводе И. Дьяконова.



Гильгамеш отправился в трудный путь в поисках бессмертия. Он испытал в пути все, что мыслимо и немыслимо было пережить человеку по представлениям древних вавилонян. По своим первоначальным строчкам поэма так и называлась: «О все видавшем».

О все видавшем до края мира,  
О познавшем моря, перешедшем все горы.  
О врагов покорившем вместе с другом.  
О постигшем премудрость, о все прорицавшем.  
Сокровенное видел он, тайное ведал.  
Принес нам весть о днях до потопа.  
В дальний путь ходил, но устал и вернулся.

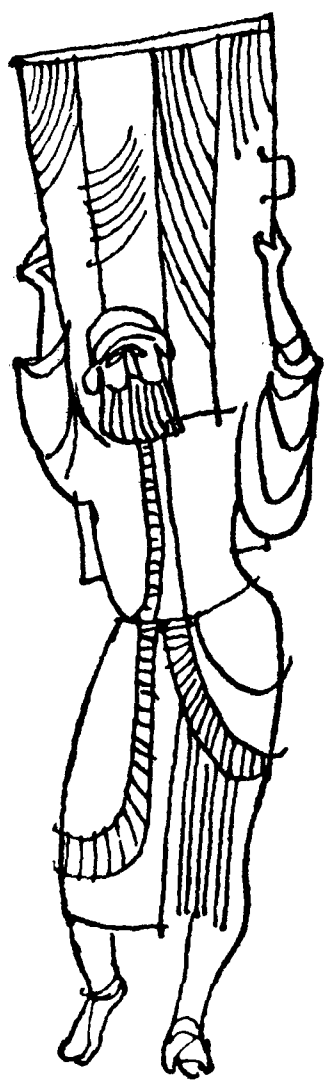
Он вернулся очень усталым, ибо боги не сумели ему помочь, бессмертия нет для смертных:

Судьба людская проходит, ничто не останется в мире!

Эту горькую мудрость они ощутили почти четыре тысячи лет назад.

\* \* \*

...Родилась она в трудном мире. 50-градусная жара, безоблачное небо, строгая регулярность бесчисленных каналов и дамб. Дожди бывают очень редко, но когда бывают, то это уже не просто дождь, а грозовой ливень, молниеносно — в буквальном смысле этого слова — превращающий землю в море грязи. А какая страшная там весна, хуже, чем в нашей тайге, и не защитишься никакой современной мазью или пастой: сначала с весной оживают полчища блох, потом налетают песчаные мухи. Их сменяют финиковые осы, оставляющие горящие нарывы, с которыми так трудно бороться. От ос никуда не скроешься: финиковые пальмы везде. Рощи финиковых пальм обрамляют края селений. Финики едят, финиками торгуют, финиковыми косточками топят. Финики — это волокно, сухие ветки, высокие шесты для разных надобностей, молодые побеги для кормежки скота. Финики — это мед, пиво, вино, сладости. Недаром на многих рельефах, запечатлевших победы и войны, непременно деталь — стройный ствол, игольчатые листья, пара симметрично свисающих плодов — любимая, привычная кормилица пальма. Под ней сражаются, ее, едва расправившись с побежденными, рубят под корень победители, на ней развешивают военные трофеи, под ней пируют и пьют вино, к ней прислоняются, чтобы отдохнуть.





На рельефах не просто пальма — «мировое дерево», очень сложный символ древних.

Кругом пальма — лесов мало, они разделены на участки и строго охраняются по приказу царей.

Настоящее дерево привозят с севера, на кораблях, дерево — великий дефицит. И когда люди покидают дом, они забирают с собой двери. Из-за двери, сделанной из кедра, прогневались на Энкиду, друга Гильгамеша, боги — ему снится об этом вещий сон.

...Из-за двери деревянной беда случилась!  
Энкиду с дверью беседует, как с человеком:  
«Деревянная дверь без толка и смысла,  
Никакого в ней разуменья нету!  
Для тебя я дерево искал...  
Пока не увидел высокого кедра.  
Изготовил, принес тебя...  
Знал бы я, дверь, что такова будет плата,  
Что благо такое ты принесешь мне,  
Взял бы топор я, порубил бы в щепы,  
Циновку привязал бы в дверном проеме!»

В великий эпос попадает дверь, как деталь всем понятная, как мотив для действий героев обоснованный: из ливанских лесов стоило принести в родной город бревна для двери.

А там, совсем недалеко от драгоценных домашних дверей, за крепкими глинобитными стенами, отделяющими поселения от остального мира, — мир враждебный и неосвоенный, туда опасно выходить одному, там трудно пасти скот, там столько львов, что пастух вынужден по совместительству быть охотником. Закон Хаммурапи спокойно констатирует: «Если человек поймает быка или осла и его убьет в степи лев, то убыток ложится только на его хозяина». Впрочем, и на улицах городов не так уж безопасно: «Если бык, идя по улице, забодает человека и причинит ему смерть, это не основание для претензии».

Город еще не вполне город, это поселения людей, занятых обработкой земли, и потому скот, разгуливающий по узким улицам, — явление нормальное, нарушения порядка в этом нет. Но уж если «бык человека бодлив и соседи заявят ему, что он бодлив, а тот не притупит ему рогов и не спутает своего быка, и этот бык забодает сына человека и причинит ему смерть, то он должен отдать  $\frac{1}{2}$  мины серебра. Если погибший — раб человека, то он должен отдать  $\frac{1}{3}$  мины серебра».

Мир, где многое уже напоминает наш мир, наши повседневные заботы о хлебе насущном. А путешествие Гильгаме-



ша в поисках бессмертия, его тоска, его страх похожи на вечный страх человека перед смертью.

Похожи, но очень отдаленно: начало начал.

\* \* \*

...Тысячи лет всходило и заходило солнце, и от зари до заката по берегам узких каналов и рек работали люди, рыхлили землю, сеяли семена, следили за поливкой, собирали огромные урожаи, немыслимые для древнего мира, отдавали большую их часть начальству — кредиторам, царям, храмам. После трудного дня ужинали, скудно и неторопливо — ячменная каша с кунжутным маслом, лук, чеснок, финики, вяленая рыба. Свежая рыба бывала редко: слишком рискованно хранить ее долго в такую жару. Мясо ели несколько раз в год, только по храмовым праздникам. От еды простые вавилоняне вряд ли получали особенное удовольствие. Впрочем, это была участь всех молодых народов, родоначальников цивилизации: все они не то чтобы голодали, но подголаживали.

Тысячи лет без передышки все надо преодолевать: палящий зной и зимнюю стужу, эпидемии и голод. Надо быть готовым и к войне, и к возможному рабству, вернее, сложной системе зависимости, о формах их без конца спорят историки, — и к тому, что тебя сгонят с земли предков.

Одни сплошные «почему» обращены к внешнему миру, и нет на них ни одного разумного, с нашей точки зрения, ответа... Вернее, так: практических знаний накоплено уже множество. Люди уже пытаются осмысливать происходящее с разных сторон и оценивать по-разному, логика здравого смысла развита превосходно: простая и сложная, стройная и противоречивая, она помогает играть с природой и выигрывать у нее. Но она не в состоянии ответить на множество «почему». И потому так называемый здравый смысл нередко отсутствует в тех случаях, когда коллективный опыт, а он в древнем мире всегда важнее личного, не может ответить на тот или иной вопрос. И вместо ответов, как способ самозащиты, как продолжение игры с природой, — заклинания, колдовские обряды, боги-покровители. Жертвы и обряды не формальность, а опять-таки практическое принятие мер предосторожности: если ты что-нибудь нарушил, сам виноват, не нарушай правил игры — не ты их придумал, и до тебя люди жили и были не глупее тебя. А если ты ничего не нарушил и тебе все равно плохо, то тогда просто непонятно, за что же это, и тогда рождается «Повесть о невинном страдальце»: я все соблюдал, я такой праведный, за что же на меня обрушиваются все бедствия? Где же справедливость?



В VIII—VI веках до н. э. Вавилония была ареной непрерывных войн: гибли люди, разрушались города, приходила в запустение основа основ жизни — система ирригации. В VII веке Вавилон снесли с лица земли ассирийцы, разрушили дамбы, затопили город, превратили его в болота. Потом они же, опомнившись, его восстановили: слишком большим престижем пользовался Вавилон в глазах всего древневосточного мира.

Непрерывные катаклизмы потрясали эту маленькую, плодородную, многострадальную землю. И тем не менее человек рождался и жил приблизительно в одинаковом мире, с одинаково ожидаемыми опасностями и неприятностями. На протяжении жизни одного, двух, пяти поколений ничего существенно не менялось: те же обряды, те же тысячелетней давности заклинания, тот же скудный рацион. Главное в жизни — традиция. Храм стоял всегда. И школа при нем была всегда, с сотворения мира. Все было так, и все будет так же. Как башни, вылепленные неуверенной детской рукой из мокрого песка, создавались и рушились государства, целые народы угонялись в рабство. Кожу сдирали с пленников ассирийцы, народы исчезали с лица земли совсем, напрочь, растворяясь среди иноплеменников.

И все равно упрямо, вопреки всему, вещный мир неподвижен, и в этой неподвижности — безопасность.

Технически новое изобреталось медленно-медленно, незаметно для глаза. Очертания мира оставались прежними: те же каналы, те же лодки, те же глинобитные дома, только, может быть, чуть повыше стены, чуть ярче одежда, чуть тщательнее следит человек за своей внешностью, чуть удобнее спит — дед спал на полу, а он, глядишь, на кровати, правда, только он один, а семья по-прежнему вповалку.

Эти «чуть-чуть» разглядеть невозможно, почувствовать тем более. Мир менялся стремительно для тогдашних темпов развития общества, но хорош он был только тем, что не менялся совсем.

...Наши прадеды не узнали бы мира, в котором мы живем, Александр Блок в начале XX века старался не пропустить ни одного полета на аэроплане.

Во второй половине XIX века в «Преступлении и наказании» один из самых зловещих героев Достоевского Свидригайлов собирается перед самоубийством полетать на воздушном шаре: через бездну преступлений, обманов, извращений всякого рода прошел он, устала и тоскует его душа, даже сво-



бода, полученная им после того, как он отравил жену, оказывается ненужной, ему хочется испытать новое, неизвестное, может, и погибнуть при этом. И вот рождается горячая мечта о воздушном шаре как о прорыве в новые, неведомые доселе человеку состояния.

Ко времени Блока воздушные шары были вытеснены неуклюжими аэропланами. Блок смотрел на маленькие деревянные самолетики, подпрыгивающие в блеклом петербургском небе, и чувствовал — это будущее, в котором ему не суждено жить. Он прозревал его в своих стихах, задумывался о нем в своих записных книжках, но если бы ему сказали, что через шестьдесят лет нечто созданное людьми долетит до планеты Марс, он вряд ли бы в это поверил: знаток классической древности, всю жизнь неустанно обращавшийся к истории, воспринимавший давно прошедшее с тоской и болью современника, он-то знал наверняка: время не может двигаться так быстро — для того чтобы попасть на Марс, нужны века, а не десятилетия.

\* \* \*

Блок был поэтом, то есть человеком, способным быстрее поверить в фантастическое, нежели обычный, трезво мыслящий человек.

...Специалисты по прогнозам в области науки и техники предсказывают нам, что к двухтысячному году мы будем жить в мире иной техники, иных скоростей, иных архитектурных очертаний. Мы принимаем их прогноз как данность и не особенно интересуемся, как оно все будет не через тысячу, всего через 25 лет. Мы знаем: все будет так, как не было. Потому что наука может преподнести нам любые неожиданности. Тогда зачем гадать понапрасну? Надо просто жить. Люди поколения Блока знали: все будет не совсем так, как было.

Древние знали: и через тысячу лет все будет так, как было.

...Но давайте вернемся обратно, на две тысячи с половиной лет назад, вернемся в Вавилон. За много километров ощущимо присутствие великого города. Вот уже потянулись пригороды, вот уже начинаются загородные сады и усадьбы. А дальше — ворота. Дальше три ряда высоких зубчатых стен огромной ширины — по ним можно проехать на колеснице. Стены укреплены башнями. Башни располагаются через каждые сорок — сорок пять метров. Десять квадратных километров занимает он по площади, двести тысяч человек живет в этом городе. Тут надо заметить, что прославленные Афины спустя век — это два квадратных километра, Рим — три, Рим эпохи императоров, то есть спустя шесть веков, — шестнадцать километров.





Даже после своего падения, в годы упадка Вавилон казался и Геродоту и сподвижникам Александра Македонского городом фантастическим — и по своим масштабам, и по своему богатству, и по величавой красоте.

Восемь широких проспектов разделяли город, от них отходили улицы, немощенные, но очень чистые, выметенные, прибранные. От улиц ветвились переулки и тупики. Улицы тоже были похожи на длинные стены с проемами: городской дом выходил на улицу глухими стенами — вся жизнь была сосредоточена внутри дома.

Аренда домов была делом привычным. В огромном городе появлялось много пришлого народа, земля стоила дорого, дома тоже, проще было снять дом, чем его покупать или строить. Квартплату платили дважды в год, раза три в год принято было угощать хозяина. К тому же за свой счет полагалось делать текущий ремонт и украшать дом зеленью во время праздников.

Снимая дом, арендатор сначала заключал контракт, потом перевозил утварь. И среди всего прочего дверь по-прежнему занимала почетное место, дверь продолжала путешествовать с человеком и его семьей.

...Восемь проспектов вели к воротам города. Как впоследствии в Афинах рыночная площадь Агора, как в Риме времен цезарей форум и Марсово поле служили прибежищем для праздношатающихся, любопытных, зевак и сплетников, как в Риме можно было покрутиться вокруг шарлатанов, торгующих различными снадобьями, вокруг дрессировщиков редких зверей, фокусников и непризнанных поэтов, читавших свои стихи, как в Риме, где на рыночных площадях передавались последние новости и поносились политика очередного императора, которого еще не успели убить или отравить, где обсуждались проблемы войны и мира, где носились непроверяемые слухи о том, что парфяне-де уже овладели Арменией или германцы перешли через Рейн, а императорским приспешникам хоть бы что, где переодетые солдаты-соглядатаи бросались в глаза опытной римской толпе так же заметно, как в современных фильмах для детей о дореволюционной жизни царские шпики в гороховых пальто и черных котелках, — так в Вавилоне жизнь города, хлопотливая, веселая, многоязычная, со-



средоточивалась на пристанях. Возле них на улицах, в переулках, тупиках помещались лавки и мастерские, по-видимому, где-то неподалеку располагались и рынки, к сожалению, от них не осталось никаких следов. На пристанях покупали и продавали, там ссорились, дрались и мирились, там сновали лоточники, разносчики, лавочники. Там вавилоняне с длинными бородами, в льняных хитонах с удовольствием проводили время. Там стояли они часами, обсуждая цены и текущие новости; на руке перстень с печатью, в руке посох искусной работы, как писал впоследствии внимательный наблюдатель Геродот. На посохе обычно вырезано яблоко, роза, лилия или орел. Носить посох без изображения не принято. Впрочем, посохи и печатки были далеко не у всех, далеко не все вавилоняне были богаты; большею частью это была голь перекатная.

Два языка были в ходу, и каждый деловой человек владел ими безусловно. Торговались обычно по-арамейски, контракты писали тут же, на базаре, на улице либо по-арамейски краской на кусочках пергамента, кожи, папируса, на дощечках, либо по-вавилонски, на глиняных табличках клинописью.

Там легко было потерять голову, там легко было проиграть, там трудно было сориентироваться с непривычки — слишком изобилен, многокрасочен, вызывающе разнообразен был базар: про Вавилон говорили, что там можно купить все, что есть в Азии. «Из всех стран на свете, насколько я знаю, эта земля производит, безусловно, самые лучшие плоды Деметры», — утверждал Геродот. Вавилония выставляла плоды земли. Иноземные купцы сверху по рекам привозили то, чего в этой стране не было. В стране, изрезанной каналами, вода — самый удобный способ передвижения. Деревянные корабли и лодки на веслах и под парусами, рыбацьи челноки из тростника — все это на небольших, с нашей точки зрения, пространствах, все это в пределах десятков и сотен километров.

Все это плывет, движется, волнуется, опасается разбойников — торопится под прикрытие мощных стен Вавилона. По царским дорогам стучат повозки, запряженные ослами, мулами, волами. Вьючные караваны ослов и верблюдов ведут купцы из других стран. В Вавилоне изобретен особый тип судов, Геродот называл их самым удивительным из всего, что есть в этой стране. Впрочем, в скобках он оговаривает — «кроме самого города Вавилона»: «Суда, на которых плавают вниз по реке в Вавилон, совершенно круглые и целиком сделаны из кожи. В Армении, которая лежит выше Ассирии, вавилоняне нарезают ивовые прутья для остова корабля. Снаружи остов обтягивают плотными шнурами, наподобие круглого днища корабля. Они не расширяют кормовой части судна и



не заостряют носа, но делают судно круглым, как щит. Затем набивают все судно соломой для обертки груза и, нагрузив, пускают плыть вниз по течению. Перевозят они вниз по реке главным образом глиняные сосуды с финикийским вином. Управляют судном с помощью двух рулевых весел, которыми стоя загребают двое людей. Один при этом тянет судно веслом к себе, а другой отталкивает. Такие суда строят очень большого размера и поменьше... На каждом судне находится живой осел, а на больших — несколько. По прибытии в Вавилон купцы распродают свой товар, а затем с публичных торгов сбывают и плетеный остов судна, и всю солому. А шкуры навьючивают на ослов и возвращаются в Армению. Вверх по реке из-за быстрого течения плыть невозможно. Поэтому и суда строят не из дерева, а из шкур. Когда же купцы на своих ослах прибывают в Армению, то строят новые суда таким же способом. Таковы у них речные суда»<sup>1</sup>.

...Жизнь малоподвижная в своей медленной изменчивости. Жизнь бойкая, верткая, рассчитанная на быстрый глаз и острую практическую сметку.

Привозимое со всех сторон тогдашнего мира стекалось в Вавилон. Вавилонские ремесленники тоже в свою очередь могли предложить немало. Обилие скота означало обилие кожи. Из нее делали обувь, колчаны, щиты, панцири, шлемы, особые бурдюки, которые выдавались каждому солдату и входили в состав амуниции.

До нашего времени дошли ассирийские рельефы: воины в коротких юбочках, опершись на неизменные финиковые пальмы, с натугой надувают мехи, воины в шлемах на уже надутых бурдюках переправляются через реку, вокруг них вьются там и сям в изобилии рыбки, большие и маленькие. Только эти рыбки, нарисованные для достоверности древними художниками, нарушают стойкую ассоциацию с парением космонавтов в безвоздушном пространстве: такие же странные одеяния, такие же странные позы, будто не плывет человек, а обнимает пустоту.

Бурдюков изготовлялось много. Войны, крупные и мелкие, шли беспрерывно. Каждый порядочный правитель обязан был раз в год отправиться в поход грабить соседей. Делалось это в Вавилоне всегда в одно и то же время, в тот месяц, который соответствует нашему июню.

А как переливалась, должно быть, под солнцем в торговых рядах прославленная вавилонская мебель! Дорогая, полированная, из привозного дерева — кипариса, кедра, дуба и бука, инкрустированная золотом, серебром, слоновой костью... Сун-

---

<sup>1</sup> Геродот. История. Л., изд-во «Наука», 1972.



дуки, столы, стулья, скамеечки для ног, шкатулки и ларцы — все это были фирменные изделия вавилонских мастеров, высоко ценимые во всем древнем мире.

А циновки, ковры, корзины, сумки, а флаконы из вавилонского стекла? Вавилонское стекло тоже ценилось, хотя главным поставщиком его в древнем мире считалась Финикия. Как можно было не прихватить их с собой домой? Как можно было не закупать их для продажи в далеких и диких краях?

А глиняная вавилонская посуда, лучшая на Востоке? Глина, как и финиковая пальма, занимала особое место в душе вавилонянина. Глину он чувствовал особенно хорошо, использовал особенно умело и разнообразно: от глиняных конвертов для писем до... глиняных гробов.

Глине поклонялись: статуэтки «личных» богов также обязательны в каждом доме, как в каждой русской избе обязательна в красном углу икона. На глиняных топчанах спали. На глине ели. Из глины строили хижины и дворцы, глиняные светильники освещали темные южные ночи. Глину и прах после смерти суждено было есть покойникам. Наконец, из глины, по поверьям вавилонян, был создан человек. (Энкиду, друг Гильгамеша, был сделан быстро и без хлопот: «Отщипнула богиня глины, бросила кусочек на землю»...)

Глину просто очень любили. Посуде придавали изысканные, удобные для рук формы. Для наших рук вавилонская глина была бы, конечно же, непривычно тяжела: пластмассовое блюдо куда легче. Но блюдо это от нас далеко-далеко, его делали на неведомых нам пахучих химических заводах из неведомых веществ. Цепочки сложных формул стоят между человеком и копеечным пластмассовым ширпотребом, заполонившим мир, между человеком и вещью из домашнего обихода. Глина же была рядом, под рукой, нагнись и возьми горсть, ощути тепло земли, из которой ты создан и куда возвратишься.

И была еще в моде вавилонская одежда и вышивка. После изготовления ее отдавали валяльщикам и прачечникам. Они вытапывали ее ногами в чанах с раствором из масла с добавкой поташа, соды, квасцов и мочи — мыло-то изобретено еще не было. Потом ее выколачивали вальками, полоскали, сушили, белили на солнце, щетками из чертополоха наводили ворс.





А вавилонское пиво, вино, масло, а косметика и парфюмерия? А драгоценности?

...И все это выплескивалось на продажу, все это обсуждалось, щупалось, перещупывалось. Конечно, на торгах вряд ли бывали богатые купцы, только их приказчики, там не толкались, теряя время, главы крупных торговых фирм, туда вряд ли наведывались собственной персоной такие ведущие фигуры вавилонской жизни, как ростовщики: у них были свои представители, свои доверенные люди, свои рабы, наконец, которые вели дела не хуже хозяев.

И так из века в век шла в великом Вавилоне своя, очень активная жизнь, где у каждого уже было множество весьма разнообразных интересов.

«Каждый идет своей дорогой, у каждого своя корысть!»

И все-таки...

**О злых  
и добрых**

Насколько ближе и понятней для нас выдуманный мир Стивенсона. Насколько легче вникнуть нам в мотивы и жалобы любого самого отъявленного негодяя из

шайки Сильвера. Тут все ясно.

«— Скажи, Окорок, долго мы будем вилять, как марки-тантская лодка? Клянусь громом, мне до смерти надоел капитан. Довольно ему мною командовать! Я хочу жить в капитанской каюте, мне нужны ихние разносолы и вина» — так Израэль Гендс, второй боцман «Испаньолы», пожевав табак и сплюнув его на палубу, изливал душу Сильверу.

Сильвер искренне возмущен:

«— Израэль, твоя башка очень недорого стоит, потому что в ней никогда не было мозгов. Но слушать ты можешь, уши у тебя длинные. Так слушай: ты будешь спать по-прежнему в кубрике, ты будешь есть грубую пищу, ты будешь послушен, ты будешь учтив и ты не выпьешь ни капли вина до тех пор, пока я не скажу тебе нужного слова. Во всем положишься на меня, сынок.

— Разве я отказываюсь? — проворчал второй боцман. — Я только спрашиваю: когда?»

Вот тут уж Сильвер не выдержал.

«— Когда? — закричал Сильвер. — Ладно, я скажу тебе когда. Как можно позже, вот когда. Капитан Смоллетт перво-степенный моряк, для нашей же выгоды ведет наш корабль. У сквайра и доктора имеется карта, но разве я знаю, где они прячут ее! И ты тоже не знаешь. Так вот, пускай сквайр и доктор найдут сокровища и помогут нам погрузить их на корабль. А тогда мы посмотрим... Была бы моя воля, я позволил бы



капитану Смоллетту довести нас на обратном пути хотя бы до пассата. Тогда знал бы, по крайней мере, что плывешь правильно и что не придется выдавать пресную воду по ложечке в день. Но я знаю, что вы за народ. Придется расправиться с ними на острове, чуть только они перетащат сокровища сюда, на корабль. А очень жаль. Но вам бы только поскорее добраться до выпивки. По правде сказать, у меня сердце болит, когда я думаю, что придется возвращаться с такими людьми, как вы.

— Полегче, Долговязый! — крикнул Израэль. — Ведь с тобой никто не спорит».

В этой сцене нам все ясно. Есть просто бандиты, им хочется жить в капитанской каюте. А кому не хочется? Естественное желание, но осуществить его они собираются очень просто — прирезать капитана. Есть Сильвер, ему тоже хочется жить в капитанской каюте, но он умнее, он понимает, что в мире, где он живет, для того, чтобы стать капитаном, надо обладать запасом знаний. Пираты же ничего не знают, ничего не могут, они умеют только вздергивать врагов на рею.

Тут все ясно. Богатство любой ценой, сокровища — самое главное для этих людей. Но в романе есть и другие люди, есть мальчик Джим. Для него главное — приключение, отвага, честь.

Мир выдуманный, но до чего же доступный пониманию. Подлость, коварство, честь, борьба за правду, белые паруса. До чего же хочется жить в этом мире! До чего трудно примириться с тем, что его больше нет. «Так прощаемся мы с серебристою, самою заветною мечтой» — альпинисты, геологи и туристы поют эту песню о флибустьерах.

Пьем за яростных и непохожих,  
За презревших грошевой уют,  
Плещет по ветру веселый Роджер,  
Люди Флинта...

Кто хоть раз в жизни не пел или хотя бы страстно не мечтал подпевать «Бригантине» Павла Когана? Он сочинил эту песню незадолго до начала войны, а потом очень скоро погиб на фронте, защищая Родину, отстаивая в том числе и право каждого человека на мечту и приключение, на которые посягал фашизм.

\* \* \*

...Прошлое накладывается на настоящее. Мы с наслаждением примеряем исторические костюмы. Но ведь не все под-



ряд. Некоторые. Мы с азартом примеряем выдуманные Стивенсоном пиратские ситуации.

Кто бы захотел примерить реальный, не выдуманный костюм древнего вавилонянина? Кто бы захотел пожить его жизнью хоть день? Кто хотел бы задаться его заботами, его опасностями, утрашиться его страхами, радоваться его радостями?

Мир не выдуманный, а бывший в реальности, но настолько далекий, что любой фантаст смело мог бы перенести его на другую планету. Прилететь невидимкой, послоняться, разинув от изумления невидимый рот, по городам, поторчать на базарах, попробовать пиво и брагу, впрочем, по отзывам ассириологов, очень скверную, постоять на улицах возле больных; их выносили на людные перекрестки, чтобы прохожие могли дать ценный совет, а вдруг кто-нибудь болел похожей болезнью и излечился; пройти мимо больного, не расспросив, в чем дело, считалось зазорным. Может, даже осторожно — невидимкой дать какой-нибудь совет, скрываясь за спины зевак. А как соблазнительно было бы проникнуть во дворцы и в святая святых — храмы? А, лениво расслабившись, сидеть на набережной, любуясь панорамой города, щуря глаза от ослепляющего блеска медных ворот?

Посидеть, походить, испробовать, испытать, проникнуть в секреты... но жить их жизнью? Зачем? Она чужая.

Почему же чужая? Серебро, долги, добрые и злые, богатые и бедные.

\* \* \*

Когда появились эти понятия? Тысячи лет жили-были просто люди, члены первобытнообщинного племени. Бесспорно, они были разными: были среди них более жестокие и менее жестокие, отзывчивые и бессердечные.

Щедрых не было! По-настоящему щедрый, экономически, что ли, щедрый — это тот, кто что-то отдает другим. Для того чтобы быть добрым в этом смысле, надо иметь свое, отдельное, что можно отдать.

Добрый человек — хороший человек.

В этом смысле в первобытном обществе все люди были хорошими: отдавать друг другу было нечего. Все было общее. А с появлением рабовладельческого строя появился прибавочный продукт. Его надо было делить. Раньше все регулировалось отношениями между людьми. Теперь появились законы: появились бедные и богатые. Оказалось, что можно брать в долг, можно кому-то завещать имущество, можно отдавать деньги в рост, и они будут расти так же неуклонно и необъяснимо, как ячмень на полях, как финики на пальмах. Пока все



были бедные, все были честные: воровать нечего. А тут, в новом мире, добра уже много. Его надо регулировать. И вот тут-то и начался настоящий Вавилон: люди побежали зарабатывать деньги.

Теперь появились добрые и недобрые.

Старая первобытнообщинная нравственность умирала, новая еще не зародилась. Но человечество в своем восхождении не могло не пройти эту школу. Люди не перестают от этого быть людьми. Просто мучительная школа доброты и недоброты затянулась на много тысяч лет.

\* \* \*

...И вот великий драматург нашего века Бертольд Брехт. Его малоизвестная пьеса «Разговоры беженцев»<sup>1</sup>. Написана она в 1941 году, в эмиграции, в Финляндии. Два немецких эмигранта ведут долгие разговоры на вокзале в Хельсинки. «В ресторане на вокзале сидели двое и, время от времени опасливо оглядываясь, рассуждали о политике. Один из них был высокий, полный, с холеными белыми руками, другой — коренастый, в его руки въелись капельки металла».

Итак, что же случилось через две с половиной тысячи лет со словом «добрый»?

«К а л л е. У слова «добрый» какой-то противный привкус.

Ц и ф ф е л ь. У американцев для доброго человека есть свое словечко... произносится «саккер». Чтобы его правильно произнести, надо сплюнуть сквозь зубы. Точное его значение: молокосос, простак, неудачник, попавший на удочку, жертва шарлатана, которому надо заработать».

И дальше.

«Ц и ф ф е л ь. Я никому бы не посоветовал поступать по-человечески, не соблюдая величайшей осторожности. Слишком большой риск».

Речь идет об обществе, в котором существует эксплуатация. Для нее необходим человек, который дает себя эксплуатировать. Об этом с опаской толкуют между собой, оглядываясь по сторонам, герои Брехта.

Об этом совсем не толковали в те времена, когда зарождалась вся многотысячелетняя история унижения одного человека другим. Хотя именно в это время в обществе, где только-только нащупывались способы угнетения, все эти вопросы были особенно актуальны. Практически актуальны. Теоретически ничего непонятного не было.

---

<sup>1</sup> См.: Б. Б р е х т. Театр. Пьесы. Статьи. Высказывания. М., изд-во «Искусство», 1964, т. 4.



Раб есть раб. Я пригнал его, взяв в плен на войне. Пусть скажет спасибо, что не убил: раньше рабов вообще убивали. Правда, нужно заставить его хорошо работать, но ничего, заставляю. Не сумею, государство подсобит.

У меня нет денег, а у моего приятеля есть. Тем хуже для него. Я возьму у него деньги в долг, а он забудет взять у меня табличку, ведь мы друзья. Я ему не отдам деньги. Ведь таблички с печатями и свидетелей у него нет. Я ему ничего не должен. Так ему и надо. Добрый человек. Дурак.

...Помните, у Карела Чапека два матроса поспорили: один другому дал деньги в долг.

«— У кого должен быть вексель?»

— У тебя, дурья голова, чтобы ты не забыл отдать мне деньги».

Даже самый неискушенный читатель в этом месте начинает смеяться: это действительно смешно, когда люди, живущие в XX веке, не знают, кто должен хранить вексель. Конечно, не тот, кто взял деньги, а тот, кто дал. И хотя со времени Октябрьской революции эти вопросы перед нами как-то не встают, мы читали книги Бальзака и Диккенса, мы помним романы, где сюжет разворачивается вокруг закладных, внезапных банкротств и столь же внезапных обогащений — за счет удачных банковских операций. Мы помним и Достоевского, «Преступление и наказание»; старухе процентщице Алене Ивановне Родион Романович Раскольников принес отцовские серебряные часы в заклад, а она дала ему расписку. А потом он ее убил и забрал ерундовые копеечные вещицы, которые приносили ей в заклад.

...Как при зарождении литературы кораблекрушения, пираты, невероятные приключения создавали и двигали сюжет, так в период ее расцвета приключения денег стали одним из способов рассказать и показать человека в действии.

Мы смеемся над наивным вопросом героя Чапека, не особенно задумываясь над тем, что он описывает тот уровень человеческих отношений, на котором должны были бы иметь дело с расписками порядочные люди.

Впрочем, и маленькие дети, про которых принято говорить, что они в своем развитии повторяют всю историю человечества, тоже не понимают, что такое проценты, расписки и ссуды.

Диккенс, его роман «Домби и сын». К мистеру Домби пришел юный клерк Гэй попросить денег взаймы, чтобы спасти от разорения своего старого дядю. Мистер Домби решил воспользоваться случаем и преподать урок политэкономии пятилетнему сыну Полю, наследнику фирмы. Чувствительный Поль очень скоро не выдержит уроков отца и умрет от холода, который излучают отцовские капиталы. Итак:



«— Если бы сейчас у тебя были деньги,— сказал мистер Домби,— такая сумма, о которой говорил молодой Гэй, что бы ты сделал?

— Отдал бы их его старому дяде,— отвечал Поль.

— Ссудил бы их его старому дяде, так? — внес поправку мистер Домби».

И Поль, и его сестра Флоренс, и молодой Гэй отказываются принимать мир Домби, в котором деньги можно только ссудить, а не просто отдать — старому дяде, бедной девочке, нищей старухе. Они отказываются безо всяких рассуждений, без теоретической базы, без оглядки на историю вопроса. Не задумываясь над тем, когда же возникла вся эта бесконечно сложная бухгалтерия человеческих отношений, они убеждены — бухгалтерия эта несправедлива. Они, по Диккенсу, и на наш взгляд тоже — добрые люди: «Флоренс никогда, никогда, никогда не будет Домби, проживи она хоть тысячу лет».

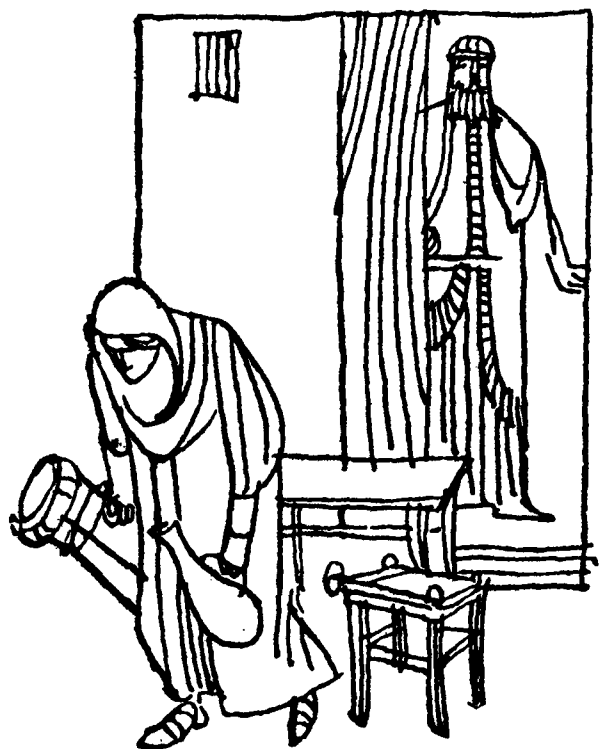
У кого должен быть вексель? С какой стати люди придумали брать друг у друга бумажки — символы, обозначающие, что они друг другу не верят?

\* \* \*

...В Вавилоне эти вопросы никто никому не задавал.

Именно в Вавилоне начали «брать». Именно в Вавилоне началось ростовщичество, торговля деньгами. Точно такое же, какое было знакомо еще современникам царя Хаммурапи, когда за несколько мер ячменя или фиников можно было закабалить голодного человека в долговое рабство. Впрочем, ростовщик эпохи Нового Вавилона был более цивилизованным человеком. Ему и не трудно было стать цивилизованным: уже была хорошо отработана внешняя форма — долговое обязательство. Она годилась для самых разнообразных сделок: ссуды, займа, кредита, заказа у ремесленника и торговца, платежа ренты, квартирной платы, пошлин, сборов, налогов, приданого. Кредитор и должник — привычные фигуры нововавилонского общества. Вавилоняне хорошо знали слово «капитал». Означало оно на их языке — «голова». Есть голова — есть капитал. Все правильно, у слова «добрый» (а доброта связана с сердцем) какой-то противный привкус. Правда, ростовщик должен был соблюдать некоторые правила игры. Скажем, самому бежать, хватать, тащить из дома вещи, самолично проверять, не прячет ли должник где-то под полом слиток-другой, считалось неприличным, хотя зазорным ростовщичество само по себе вовсе не считалось. Ростовщик давал ссуды под поручительство третьих лиц или самих должников. В случае неустойки имущество забирали поручители. Ростовщик доби-





вался распродажи имущества должника, а потом получал деньги, а не прямо вульгарно вещи — столы, стулья, покрывала, чаши, светильники. Деньги, то есть серебро, — со стороны это выглядело гораздо приличней.

Если должник начинал задыхаться под бременем долга и процентов, ростовщик вовсе не всегда торопился его разорить подчистую. Очень часто он давал ему новые ссуды, даже беспроцентные, чтобы он был в состоянии продолжать уплату процентов. Должник на десятилетия попадал в руки ростовщика. Да что там на десятилетия! Иногда дело тянулось из поколения в поколение, умирал должник, умирал его разоритель, глиняные таблички с обязательствами переходили в руки сыновей, потом внуков.

В Вавилоне была изобретена ссуда, в Вавилоне были изобретены займы, рента и кредит.

В Вавилоне уже можно было выгнать человека с работы таким образом, что потом его никуда больше не брали, ибо он подорвал свое общественное положение.

В Вавилоне уже были банкирские фамилии, пользовавшиеся огромным весом. О семье Эгиби, члены которой жили в городах Уруке и Вавилоне, написано много работ<sup>1</sup>. Там были и дельцы с бульдожьей хваткой, и авантюристы, и просто люди, наделенные редким организационным даром, и квартирные склочники.

Профессор Тураев<sup>2</sup>, выдающийся знаток Древнего Востока, пишет, что когда Вавилон завоевали персы, во главе с царем Киром, тот поставил своим соправителем сына Камбиза и положил на его имя капитал в вавилонский банк Эгиби: потеря Вавилоном независимости не подпортила дела семьи Эгиби.

В любых сложных политических ситуациях члены этого семейства, чью жизнь историки с легкостью прослеживают на протяжении четырех поколений, только выигрывали, стремительно наращивая капиталы.

От дома Эгиби осталось множество табличек, можно точно знать, кто когда умер и что кому завещал, можно даже попытаться реставрировать характеры того или иного члена этой

<sup>1</sup> См.: М. Дандамаев. Рабство в Вавилонии. М., изд-во «Наука», главная редакция восточной литературы, 1974.

<sup>2</sup> Б. А. Тураев. История Древнего Востока. М., ОГИЗ — Соцэкгиз, 1936.



необычайно энергичной семейки и все по одной причине: любая сделка, с кем бы она ни заключалась, фиксировалась на глине,— с женой, мужем, сыном, дочерью, отцом, братом, просто близким родственником.

Сильвер, Израэль Гендс и прочая пиратская шпана — наивные дети по сравнению с вавилонскими банкирами.

Головорезы-пираты вызывают некоторую симпатию простодушием и бестолковым неумением устраивать свои дела.

В Вавилоне уже были налажены четкие финансовые взаимоотношения. Вполне возможно, что эта четкость не прельщала, а, скорее, отпугивала соседние, более отсталые народы. Слишком явно бросалось в глаза, отказом от каких ценностей оно приобреталось.

Ведь еще не произошел тот обманный спектакль, который описан почти во всех пьесах Бертольда Брехта. Спустя тысячи лет он завершал дело, начатое на берегах Нила, Тигра и Евфрата. Он игрался уже в совсем иных исторических костюмах. Прямые наследники Эгиби спустя тысячи лет имели дело с иным человеческим материалом.

Когда же человеку впервые понадобилась человечность?

Ответ легок: при зарождении первых государств и первых цивилизаций.

До этого человечность была естественна. Не будешь один есть мамонта и припрятывать себе лакомые куски, если ты убивал его вместе со всеми: тебя самого убьют, коли заметят, что ты ворует еду. Не будешь обделять куском мяса чужого ребенка: не было «чужих» детей, все дети — твои. Не будешь натягивать теплую шкуру только на себя: если другие вымрут от холода, куда ты денешься, кому ты нужен? Ты вынужден быть человечным или, по Брехту, «ты вынужден проявлять возвышенные стремления, поскольку тебя вынуждают к ним обстоятельства».

Человечность каждого по отношению к каждому в Древнем Вавилоне? Да на кой черт?

Или, выражаясь словами Бертольда Брехта, «я никому не посоветовал бы поступать по-человечески, не соблюдая величайшей осторожности. Слишком большой риск».



## О круге привязанностей и круге закона

До чего непохожий мир! До чего похожие люди в нем жили! Веселые, грустные, беспечные, деловитые, завистливые. Они выясняли отношения с друзьями, ссорились с соседями, очень любили праздники — любой повод тут был хорош. Они с восторгом участвовали в общегородских и храмовых празднествах, не по принуждению — по ощущению сопричастности со всеми остальными.

Мы реконструируем их характеры не по дошедшей до нас литературе, а по источникам гораздо более достоверным. Купчие, закладные, векселя сохраняют не штрихи к портрету, а поступки, решения, выборы, итоги человеческих отношений: вздорность одних, поразительное легкомыслие других, трусость третьих, жадность четвертых.

А до чего похожи на современных ученых древние испытатели природы. Похожи и не похожи. Они с неистовой любознательностью наблюдали природу, описывали ее, систематизировали. Правда, понятия «заниматься только наукой» еще не было и не могло быть, потому что не было еще и самого понятия «наука». Какой-нибудь верховный жрец, мудрец, предсказатель, гадатель нараспев читал толпе в храме бога Мардука, главного храма бога Вавилона, поэму «Энума Элиш» — поэму о сотворении мира, читал долго, несколько часов подряд.

Это была часть храмового ритуала, поэму читали в храме на Новый год.

Это была вера, и это была наука: много, не мифологического знания о происхождении земли, воды, Вселенной не существовало. Жрец вещал, заклинал, давал советы царям, принимал участие в заботах об огромном храмовом хозяйстве, и он же низкими черными ночами просиживал на верхушке храма — зиккурата, на его седьмой ступени, смотрел на звезды, рассчитывал их ход, делал вычисления.

А может быть, вдруг подумалось мне, первые звездочеты вовсе не случайно появились на юге: южные звезды низкие, большие, влажные, кажется, поднимись на цыпочки и достанешь рукой. Это не наши северные, с их холодным, острым нечеловеческим мерцанием.

Тысячи лет спускались по ночам с неба звезды. Тысячи лет из поколения в поколение: храм, поэма «Энума Элиш», статуя Мардука, ее провозили по городу, сложные дворцово-жреческие интриги — это днем; а потом — бессонные ночи в зиккурате, премудрость, доступная немногим, загадки бытия, о которых не расскажешь на площади, сомнения, с которыми не поделишься ни с кем, и, наконец, о везенье, о милость богов! —



способный мальчик-ученик, незастывший, безопасный, ему можно передать ночные мысли и сомнения.

Тысячи лет, почти не прерываясь, зрела храмовая премудрость, жили, работали, умирали неизвестные естествоиспытатели, пока совсем в другой стране не пришел час: накопление знаний перешло в новое качество — у греков родилась наука! Родившись, она перестала быть безымянной и обрела честолюбие, совсем не свойственное вавилонским естествоиспытателям. Пробыл час: жадное любопытство Вавилона проросло в жадность научного познания свободного гражданина Древней Греции.

И сочинители, любители словесности там были, были хранители устной традиции. На глиняных табличках из библиотеки Ашшурбанипала изредка стоит в конце: «согласно уставам такого-то», «из уст такого-то». Тот, с чьих уст записывали специально разосланные в разные концы царские писцы, знал, любил, помнил поэмы и предания. Мало того, поскольку литература была безымянной, он смело дополнял и переделывал по своему разумению отдельные эпизоды<sup>1</sup>. Анонимный автор отдавал свое сочинение на волю потока жизни, на волю всеобщего разговора и пересказа — на улицу, в дом, в пустыню, где идут караваны, в храм, где сидят мудрецы, в веселый кабак, к забулдыжным гулякам. Во всеобщем разговоре неважно, кто что придумал первым, у любого автора слишком много соавторов: прежде всего боги, от имени которых человек выступает, потом мудрецы былых времен, из их наследия он черпает без всяких угрызений совести, наконец, все люди вокруг, свой род, община, город — среди них растворяется любое сочинение.

Да, все это так, все это достоверно отражает пути развития древневосточных литератур. И все-таки, все-таки... Сколько бы ни подчеркивали самые авторитетные историки древней литературы ее анонимность, трудно поверить, что все так просто. «Согласно уставам такого-то» — скорее всего, человек особенный, такой, которому больше, чем другим, интересно и



<sup>1</sup> Подробнее об этом см. С. С. Аверинцев. Греческая литература и ближневосточная словесность в сб. «Типология и взаимосвязи литератур древнего мира». М., 1971.



значительно то, что сочиняют люди о самих себе. Это тот, кто, родись он спустя несколько веков, предположим в Афинах, мог бы стать основателем нового литературного жанра.

\* \* \*

...Очень разные люди живут и действуют в этом мире — с разными склонностями, разной мерой одаренности, явно разными интересами. Мы можем только догадываться о тех, кто не попал в судебные процессы и не оставил о себе особенно ярких документов. Кое-что мы знаем только о царях, ассирийских царях Тиглатпаласаре и Ашшурбанипале, вавилонских Навуходоносоре и Набониде.

Страшен был Ашшурбанипал, стоявший во главе государства, жившего только войной и насилием, наладивший ужасающую по своей пунктуальности военную бюрократическую машину. Ассирия отличалась от других государств древности именно своей великолепно отлаженной бюрократией.

В Германской Демократической Республике выпущен недавно альбом, называется он «Ассирийские дворцовые рельефы». Ашшурбанипал и его деяния — один из главных сюжетов этого уникального издания. Как невесело его рассматривать!

Тараны, лестницы, копья, щиты, стрелы. Осады крепостей, побежденные, уже покойники, в шлемах и латах тонут в реках среди неизменных рыб. Все в движении — воины летят на конях, подминая под себя врагов, падают, наклоняются, сажают на кол противников, отшвыривают их от себя — за руки, за ноги.

А вот при первом поверхностном взгляде непонятная сцена, воспринимаемая как жутковатая фантазия в стиле Сальватора Дали: на выгнутой земле, как на блюде, куча аккуратно кудрявых голов с восточными профилями и рядом подсчитывающий их ассирийский чиновник. Первая мысль чисто ассоциативного свойства: какая метафора стоит за этим изображением? Мысль вторая: видимо, это значит лишь то, что видишь, — головы отрублены, их следует считать, чтобы иметь представление о масштабах одержанной победы. Бесхитростная гордость — весь смысл рельефа, и ничего кроме. И ничего кроме в следующей сцене, в путанице обезглавленных тел, с хорошо профилированной мускулатурой рук и ног. Дальше длинная процессия на три альбомные страницы: побежденные, будущие рабы, отправляются в плен, тянут за собой свой скот, лошадей, слонов. Ручная обезьянка бежит вприпрыжку сдаваться на милость великого царя.

И снова, оправившись от очередной победы, мчатся ассирийцы вперед, вперед, сокрушая стены, людей, страны, мчат-



ся в будущее — в пропасть, в забвение, во всеобщую ненависть, в память потомков, которая ничего не прощает.

Да и как их было простить древним? Чего только не придумывали ассирийские самодержцы!

...Однажды у ворот столицы Ассирии Ниневии путников встретили клетки, где сидели лохматые подобия людей. Это были цари покоренных стран, на которых царь-победитель уже въехал в свою столицу, запрягши их в триумфальную колесницу. После пробежки по городу под счастливое улюлюканье толпы посаженные в клетки бывшие цари занялись делом: толкли в ступах кости своих предков, выкопанные из земли. Как представить себе меру ужаса тех, кого при жизни вычеркивали из жизни не позором, нет! После упряжки в колеснице о степени позора нечего размышлять. И не измор, не медленная казнь под жестоким южным солнцем трудны. Толочь священные кости предков! Что может быть реально опаснее для древнего человека: смерть становилась по-настоящему страшной. Она не несла успокоения.

А вот сцена семейная, бытовая: царь Ашшурбанипал со своей царицей отдыхают под пальмами. Интересно подглядеть, как это все происходило две с половиной тысячи лет назад? Ничего особенного. Слуги прислуживают, птички между пальмами летают, в ногах у царицы удобная скамеечка. Пьет из высоких чаш царственная чета нечто сладостное, лучшее во всей Вселенной... А на дереве, напротив Ашшурбанипала, подвешена голова соседнего царя, чтоб уютнее пилось и сиделось, чтобы острее ощущалась редкая минута отдыха от трудов праведных, сосредоточенных на благе государства.

...И этот же царь собрал самую огромную в древнем ближневосточном мире библиотеку, этот же царь был вполне грамотным человеком, этот же царь обожал искусство и так беспокоился о здоровье своих артистов, что, когда они заболевали, требовал дважды в день отчеты об их здоровье от придворных врачей — отчеты эти сохранились. Что же, сложный человек был этот Ашшурбанипал? Да нет. Ашшурбанипал был полностью человеком своего времени, в его самых крайних и резких проявлениях. Видимо, именно такими были люди из правящей верхушки ассирийского общества.





«— Если бы сейчас у тебя были деньги,— сказал мистер Домби,— такая сумма, о которой говорил молодой Гэй, что бы ты сделал?

— Отдал бы их его старому дяде,— отвечал Поль.

— Ссудил бы их его старому дяде, так? — внес поправку мистер Домби».

И Поль, и его сестра Флоренс, и молодой Гэй отказываются принимать мир Домби, в котором деньги можно только ссудить, а не просто отдать — старому дяде, бедной девочке, нищей старухе. Они отказываются безо всяких рассуждений, без теоретической базы, без оглядки на историю вопроса. Не задумываясь над тем, когда же возникла вся эта бесконечно сложная бухгалтерия человеческих отношений, они убеждены — бухгалтерия эта несправедлива. Они, по Диккенсу, и на наш взгляд тоже — хорошие люди: «Флоренс никогда, никогда, никогда не будет Домби, проживи она хоть тысячу лет».

У кого должен быть вексель? С какой стати люди придумали брать друг у друга бумажки — символы, обозначающие, что они друг другу не верят?

\* \* \*

...В Вавилоне эти вопросы никто никому не задавал.

Именно в Вавилоне начали «брать». Именно в Вавилоне началось ростовщичество, торговля деньгами. Точно такое же, какое было знакомо еще современникам царя Хаммурапи, когда за несколько мер ячменя или фиников можно было закабалить голодного человека в долговое рабство. Впрочем, ростовщик эпохи Нового Вавилона был более цивилизованным человеком. Ему и не трудно было стать цивилизованным: уже была хорошо отработана внешняя форма — долговое обязательство. Она годилась для самых разнообразных сделок: ссуды, займа, кредита, заказа у ремесленника и торговца, платежа ренты, квартирной платы, пошлин, сборов, налогов, приданого. Кредитор и должник — привычные фигуры нововавилонского общества. Вавилоняне хорошо знали слово «капитал». Означало оно на их языке — «голова». Есть голова — есть капитал. Все правильно, у слова «добрый» (а доброта связана с сердцем) какой-то противный привкус. Правда, ростовщик должен был соблюдать некоторые правила игры. Скажем, самому бежать, хватать, тащить из дома вещи, самолично проверять, не прячет ли должник где-то под полом слиток-другой, считалось неприличным, хотя зазорным ростовщичество само по себе вовсе не считалось. Ростовщик давал ссуды под поручительство третьих лиц или самих должников. В случае неустойки имущество забирали поручители. Ростовщик доби-



коние по отношению к дальним, потенциально опасным. Жестокость без тени личной враждебности шла на чужаков.

Плоть есть плоть,  
Кровь есть кровь,  
Что чужое, то чужое,  
Чужак воистину чужак<sup>1</sup>.

Совсем недавно я случайно слышала, как одна милая московская девушка сочувствовала милому молодому индусу: «Как вам, наверное, трудно, вам же надо полюбить девушку только из своей касты!» Индус улыбнулся: «Что вы! Вы не представляете себе, до чего не просто полюбить девушку из чужой касты».

Свой род, члены своего племени, свой клан сохранялись и оберегались тысячелетиями: без коллективного самосохранения отдельному человеку невозможно было выжить.

...Древние жили необычайно тесно, гораздо теснее, чем мы, но вынуждены были проявлять по отношению друг к другу терпимость. У чукчей, например, еще в начале XX столетия потрясенные исследователи наблюдали странные сцены. Время от времени кто-нибудь из членов небольшого их коллектива устраивал то, что среди цивилизованных людей принято называть истерикой. Человек раздевался донага, выбегал на снег, последними словами ругал своих близких, бросая им в лицо ужасающие обвинения, рыдал, рвал на себе волосы, грозил покончить с собой. За ним ходили, успокаивали, потом бережно укладывали спать. Наутро поскандаливший просыпался умиротворенным и счастливым; все остальные делали вид, что ничего не произошло. Когда однажды европейский врач, наблюдавший подобную сцену, попытался вмешаться — дать бром, валерьянки, его жестко остановили: «Не мешайте! Так надо!»

Так надо, чтобы член коллектива, круглосуточно живущий на глазах у других, снова обрел душевное спокойствие, примирился со скученностью быта, освободился от накопившегося нервного перенапряжения.

Как обстояло дело с нервным перенапряжением у древних ближневосточных народов, мы просто не знаем. Но мы догадываемся, что они вынуждены были вести себя более или менее прилично по отношению к тем, на кого распространялись их законы. Правда, круг законности был у них гораздо уже, чем у современного человека. Идея подобного круга многое

---

<sup>1</sup> Lambert «Babylonian wisdom literature», Oxford.



объясняет в характере их мышления, установок, их понимания действительности.

Даже у прославленных, замечательных греков круг законности не распространялся не только на рабов, что разумелось само собой, но и на варваров.

Даже у Христа, если внимательно прочитать с этой точки зрения Евангелие, явно заметно равнодушие к чужим, которое так не вяжется с его хрестоматийно идеальным обликом: просят помочь дочери ханаанки, в которую вселилась болезнь, он отказывается, говоря, что надо сначала помочь своим, а потом идти к чужим. Его уговаривают, он все-таки помогает.

Этот маленький штрих, тонущий в многообилии невероятных чудес и невероятных исцелений, характерен, он убеждает: легендарный Христос в рассказах евангелистов полностью человек своего времени. Для него тоже в полной мере существовала идея чужака, ему надо было сделать над собой усилие, чтобы идти спасать несвоего. Хотя для него, по его учению, круг привязанностей расширился до безграничности: «Возлюби ближнего своего, как самого себя» — труднейшая, психологически переворотная мысль. Для человека Христа, каким придумали его евангелисты, она была столь же революционна и трудна, как и для его окружения.

\* \* \*

...А быть может, это глубинная особенность человека, очень сложно связанная со временем, в котором ему довелось жить? Даже самый идеальный человек вынужден в своей жизни соразмеряться с отпущенными ему природой внутренними средствами. Один за всю свою жизнь в состоянии «возлюбить» двух человек, второй — десять, третий легко растворяется в других людях. Это свойство заложено внутри нас, с ним ничего не поделаешь. Как во все времена жили храбрецы и трусы, праведники и злодеи, так во все времена рождались замкнутые, нелюдимые, мрачные меланхолики. Во все времена жили люди, для которых мука мученическая обмолвиться лишним словом с соседом по пещере или, сняв телефонную трубку, набрать номер и провести трехминутный деловой разговор. Во все времена жили люди, которые органически не могли отдать приказ другому, и люди, которые отдавали их с артистической легкостью, с той грацией естественности, что исключала самую возможность неповиновения.

Со времен древних круг человеческого общения все расширяется. Никогда он не расширялся столь стремительно, как теперь. Человек общается с десятками людей на работе, в транспорте, в окошечке телевизора. Как бы само собой под-



разумеваётся, что к этим десяткам и сотням людей человек должен относиться лояльно. Ведь все мы люди!

А запас наших привязанностей строго индивидуален: один устает от людей, другой устает без людей. Один входит в районную поликлинику и, видя очередь, начинает медленно закипать раздражением, для другого очередь — праздник, форма своеобразного общения, клуб, где можно обменяться мнениями о здоровье, врачах и жизни вообще. Он уходит, получив свой рецепт, благостный и умиротворенный. Он не зря потратил три-четыре часа, он общался, он сострадал и возмущался, он мысленно поднимался на трибуну и спускался с нее, уступив место прочим желающим, он жил в эти часы активно и открыто.

А ипохондрик мучился, нервничал, изводился и раньше времени закрыл больничный лист, лишь бы не повторялась эта мука, лишь бы не сидеть среди незнакомых людей, считая квадраты разноцветного линолеума.

А ведь оба они живут в конце XX века и прекрасно знают: каждый человек имеет одинаковые права на существование, все равны перед законом.

Ну и что? Идея равенства и идея личной человечности — разве это не разные вещи? К сожалению, каждому из нас человечность отпущена природой в строго отмеренной дозе. Кому свойственны гомеопатические дозы любви к ближнему, и никакой врач-аллопат уже не поможет. А для кого доброта естественна, как дыхание.

Вавилонянам в этом смысле было проще: круг человеческих привязанностей и круг законов был у них весьма ограничен и очень многое позволял по отношению к тем, кому не повезло попасть в тот круг.

Зато в своем кругу, пусть самом близком, дело обстояло, может быть, совсем не так уж плохо? Может быть, глиняные таблички, рассказывающие обо всех малосимпатичных семейных передрягах, лгут? Вернее, так, может быть, мы понимаем их слишком по-своему? Может быть, мы не в состоянии проникнуть в нечто, что не оставляет следов на глине: до чего трудно представить, как жили люди сто лет назад, читая газеты даже столетней давности. Были же какие-то всем понятные вещи, о которых просто не было нужды писать, были некие конвенции, как принято выражаться в социологии, то есть договоры, которые не требовали разъяснений.

Как же мы можем реконструировать психику людей и формы их общения с ближними, если их конвенции исчезли тысячи лет назад?

Что, неведомое нам, осталось за краем глиняной таблички?

На этот вопрос пока нет ответа: за краем глиняной табли-



цы начинается тот край науки, где едва появляются первые пионеры — исследователи. Основоположники ее, мальчики и девочки, еще только бегают на лекции, еще только набирают скорость, еще только мечтают обнаружить и исследовать то, что пока не ведомо никому.

За краем глиняной таблички — огромный, пока не собранный по психологическим кусочкам внутренний мир людей, ушедших, казалось бы, безвозвратно<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Эта глава могла появиться только благодаря дружескому общению и заинтересованному, внимательному отношению со стороны доктора исторических наук И. М. Дьяконова, доктора исторических наук М. А. Дандамаева, кандидата исторических наук В. А. Якобсона, за что автор чрезвычайно им признателен.



Гильгамеш! Куда ты стремишься?  
Жизни, что ищешь, не найдешь ты!

Как будто бы вечная мудрость, так давно поняло ее человечество — четыре тысячи лет назад.

Вечная мудрость, уже тогда отстоявшаяся в опыте минувших тысячелетий, дает Гильгамешу разумный совет заняться собственными делами, а не проблемами устройства мироздания и миропорядка.

Ты ж, Гильгамеш, насыщай желудок,  
Днем и ночью да будешь ты весел,  
Праздник справляй ежедневно,  
Днем и ночью играй и пляши ты!  
Светлы да будут твои одежды,  
Волосы чисты, водой омывайся,  
Гляди, как дитя твою руку держит,  
Своими объятиями радуй супругу —  
Только в этом дело человека!

Но неизбежно рождаются и действуют в мире люди, жизнью своей, своей судьбой опровергающие «разумные» советы.

В тоске моей плоти, в печали сердца,  
И в жар и в стужу, в темноте и во мраке,  
Во вздохах и плаче,— вперед пойду я!

Но ты же погибнешь, намекают Гильгамешу мудрые, опытные люди; погибнешь и во имя чего?

Судьба людская проходит,  
Ничто не останется в мире!

Гильгамеш отказывается понимать намеки, у него своя, высокая цель:

Все, что есть злого, изгоним из мира!



А ему в ответ очередное, отработанное в тысячелетиях выражение:

Человек — сочтены его годы!  
Чтоб он ни делал — все ветер!

Гильгамеш не внемлет разумным доводам. Какой гордец! — возмущается тысячелетний здравый смысл. Мы же добра ему хотим, а он что говорит!

Вечное имя — себе создам я!  
...Если паду я, останется имя!

Разумеется, падешь, соглашается тысячелетний здравый смысл, и ничего от тебя не останется, тем более что:

Ты юн, Гильгамеш, и следуешь сердцу.  
Сам не ведаешь, что совершаешь.

Гильгамеша предостерегают, заклинают, уговаривают: «Не лезь, не надо, остановись вовремя!» Тысячелетняя практика предков-шумеров вроде бы подтверждает Гильгамешу правильность «здравых» советов и предупреждений: и друг любимый у него умер, и путешествие за травой бессмертия окончилось крахом, и на родину он вернулся вроде бы побежденный.

Но нет! Неисправимый, неистовый, твердит все то же:

В темноте и во мраке,  
Во вздохах и плаче — вперед пойду я!

Тысячи лет назад он ответил всем скептикам сразу — вечный Гильгамеш, предок и современник всех нас!

\* \* \*

В течение жизни человек получает множество писем. Письмо обычно идет день, два, неделю.

Бывают письма, которые идут двести лет или триста. Попадают письма, отправленные тысячи лет назад.

Странно... почему они адресованы лично мне?



# ОГЛАВЛЕНИЕ

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| А. Б р у д н ы й. Предисловие | 3 |
|-------------------------------|---|

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| «Остров сокровищ» — лидеры и специалисты | 7  |
| «Мне кажется, что я ветер»               | 14 |
| «Быть собой — всегда и везде...»         | 21 |
| Сильвер опоздал родиться                 | 29 |

## ГЛАВА ВТОРАЯ

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Игры отменяются                   | 35 |
| Пасьянсы                          | 37 |
| Анкета                            | 59 |
| Почему...                         | 65 |
| О наших Вовках                    | 71 |
| Формула                           | 78 |
| Историческое время                | 83 |
| О силе представлений              | 94 |
| Мушкетеры — это то, чего не было! | 97 |

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Что есть событие?     | 101 |
| Разговор              | 107 |
| Моменты понимания     | 110 |
| Ряды выборов          | 117 |
| Что есть счастье?     | 126 |
| Как измерить выбор?   | 127 |
| Наука пользы и истины | 133 |
| «Сызнова бы начать»   | 134 |

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Сколько на свете Гамлетов?   | 139 |
| Сколько на свете стрессов... | 150 |
| «Я вырос на поле брани»      | 158 |
| Сколько на свете ведьм?      | 165 |



**ГЛАВА ПЯТАЯ**

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Объявление _____                            | 189     |
| На этой странной олимпиаде _____            | 194     |
| «Принеси с собой дверь» _____               | 205     |
| О злых и добрых _____                       | 218     |
| О круге привязанностей и круге закона _____ | 226     |
| <br><i>От автора</i> _____                  | <br>235 |



**ДЛЯ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА**

**Галина Борисовна Башкирова**

**ЛИЦОМ К ЛИЦУ**



Ответственный редактор  
**В. С. Мальт**

Художественный редактор  
**Л. Д. Бирюков**

Технический редактор  
**С. Г. Маркович**

Корректоры  
**Г. С. Муковозова**  
и **Е. И. Щербакова**

---

---

Сдано в набор 29/XI 1975 г.  
Подписано к печати 29/III 1976 г.  
Формат 60 X 90/16. Бум. типогр.  
№ 1. Усл. печ. л. 15. Уч.-изд. л.  
14,35. Тираж 75 000 экз. А08456.  
Заказ № 1918. Цена 61 коп. Ордена  
Трудового Красного Знамени изда-  
тельство «Детская литература».  
Москва, Центр, М. Черкасский пер.,  
1. Ордена Трудового Красного Зна-  
мени фабрика «Детская книга» № 1  
Росглавполиграфпрома Государ-  
ственного комитета Совета Мини-  
стров РСФСР по делам издательств,  
полиграфии и книжной торговли.  
Москва, Сущевский вал, 49.



---

---

**Башкирова Г. Б.**

**Б33      Лицом к лицу. Научно-худож. литература. Рис.  
В. Карабут. Оформл. В. Терещенко. М., «Дет. лит.»,  
1976.**

**238 с. с ил.**

**Книга посвящена проблемам современной психологии, раскрывает  
процесс самопознания личности и ставит вопросы взаимоотношения  
личности и коллектива.**

**Б     $\frac{70803-316}{M101(03)76}$  450—76**



ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА  
SHEVA.SPB.RU/ZA

ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ (ТЕОРИЯ)

ЮНЫЙ ТЕХНИК (ПРАКТИКА)

ДОМОВОДСТВО (УСЛОВИЯ)